



АЛЕКСЕЙ КАРПЮК

ДАНУТА

1989



БИБЛИОТЕКА
ЮНОШЕСТВА

АЛЕКСЕЙ
КАРПЮК

ДАНУТА





БИБЛИОТЕКА
ЮНОШЕСТВА

АЛЕКСЕЙ
КАРПЮК

ДАНУТА





Карпюк



БИБЛИОТЕКА
ЮНОШЕСТВА

АЛЕКСЕЙ
КАРПЮК

Д А Н У Т А

ПОВЕСТЬ

ИЗДАНИЕ ВТОРОЕ



МИНСК
«ЮНАЦТВА»

1989

ББК 84 Бел 7

К 26

Текст печатается по изданию:
Карпюк А. Данута:
Минск: Гос. издат. БССР, 1963.

Для старшего школьного возраста

Художник Е. Игнатьев

Авторизованный перевод с белорусского
Н. Кислика

СОДЕРЖАНИЕ

Часть первая — 4
Часть вторая — 94
Часть третья — 184

4803120201—108
К — 65—89
М 307 (03)—89

ISBN 5-7880-0192-7

© Иллюстрации. Издательство
«Юнацтва», 1989

Обо всем этом рассказал мне недавно в санатории один человек. Я услышал, как встречались влюбленные, рвали цветы, писали письма, ссорились... Одним словом, выслушал еще одну историю на «вечную тему». Но эта история о любви в бурное время великих событий, и поэтому она мне показалась значительной.

Повесть «Данута» — о любви, борьбе и героизме. Передаю ее на суд читателю такой, как услышал, ничего не прибавляя и не убавляя.

А в т о р.

Не хочу я гнить, как ива,
На болотных кочках где-то,
А хочу сгореть от молний,
Точно дуб в разгаре лета.

Шандор Петефи

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

В начале осени 1938 года я приехал в Вильню и поступил на вечерние курсы при женском лицее. На курсы шли те, кто не мог попасть в гимназию или были переростками, как я.

Мы не бывали в помещении во время занятий дневной смены и с гимназистками, как мы называли учениц лицея, не виделись.

Для лицея и курсов понадобился посыльный. Взяли меня. Так я получил доступ к дневной смене.

В первый день работы поручили разносить по Вильню письма.

Выполнив задание, я вернулся в лицей. В актовом зале шел концерт. Я приблизился к застекленной двери и украдкой заглянул в зал. Нет, ничего подобного мне видеть еще не доводилось. Как зачарованный я смотрел не отрываясь.

В зале выступал хор. На сцене выстроились — одна в одну — красивые барышни в новенькой униформе. Стоило раз взглянуть, чтобы убедиться, что жизнь этих барышень проходила в таком достатке и радости, какие мне и не снились.

Кончив песню, хористки поджимали губы, должно быть, очень переживали, будут им аплодировать или нет; в глазах девушек было столько страха и ожидания, что мне даже стало жаль их.

Но я тотчас же подавил в себе сочувствие. Вот таким, как они, моя мать относилась к городу молоко, все до капли! Такие обходили меня в начальной школе издали, не хотели сидеть за одной партой, словно я заразный! В мо-

ей деревне от тяжелой работы двадцатилетняя девушка выглядит на все тридцать, а в тридцать пять — старуха, а в городе — все паненки изнеженные, чтоб вам пусто было!

Одну участницу хора я узнал.

Это была моя соседка — дочь генерала. Барышня смущалась больше всех. Ее растерянность была непосредственной и милой. Когда она запела, глаза ее сделались вдохновенными, она осмелела, и полный чувства голос полился ровно, да так хватал за душу, словно шел не из ее, а из моей груди!

А еще — девушка была хороша собой. Если бы не моя предвзятость, я мог бы сразу сказать, что она — редкая красавица. Но я начал выдумывать про соседку то, чего совсем не было.

Мы, курсанты, чувствовали себя обиженными судьбой и завидовали дневной смене.

Насмотревшись сквозь застекленные двери на холеных, выпестованных на масле и сметане паненок, я только вздохнул, тихо выругался — холера! — и пошел в канцелярию отчитываться за свой рабочий день.

Сегодня носил я письма в мужскую гимназию и через открытые окна видел гимназистов. Они были не то что наши, — несмелые, тихие, вечно уставшие от работы, одетые кто во что горазд, курсанты.

Особенно запомнились их наглые физиономии, пустые глаза. Гимназистки в повенских мундирчиках не могли спокойно усидеть за партой даже несколько минут, то и дело перешептывались, хихикали, перебрасывались бумажками, вертелись во все стороны.

По дороге из лицея мне все вспоминался девичий хор. Тогда я постарался представить себе бестыжные рожи гимназистов и, словно передо мной стояла дочь генерала, съязвил: «Пой с ними, они тебе подпоют!»

Только так подумал, как тут же на улице наткнулся на самих лицесток. Моя соседка была в центре внимания. Она взволнованно рассказывала:

— Ой, девочки! Вы себе представить не можете, до чего мне было трудно выйти запевать! Как подумала, что предстану перед всем залом, ноги так и приросли к полу! Глянула профессору¹ в глаза, а он приветливо улыбается, я сразу и осмелела. Потом уже ничего не видела, только его глаза!

¹ В Польше всех учителей называли «профессор».

Увлеченная своим рассказом, она была необычайно хороша и, хотя ее глаза были направлены в мою сторону, меня она, конечно, не видела. Девушки смотрели на нее с преданным обожанием, а иные — со скрытой завистью.

Охваченная новой волной приятных воспоминаний, соседка заговорила еще живее:

— А вы не заметили, что я забыла слова песни? Шепчу вам: «Как начинается «Гураль»? Вы подумали, что шучу, а на меня, ну, словно затмение нашло! И только в последнюю секунду вдруг вспомнила! Бо-о-же, никогда в жизни так не волновалась!..

Барышни засмеялись непринужденно и громко, на всю улицу.

То, о чем они говорили, было довольно интересным, но таким недостижимым, что мне даже стало обидно.

Фу-ты! Я только теперь спохватился, что выражением своего лица подсознательно повторяю выражение лица паненки. Мгновенно погасил улыбку умиленья и оглянулся.

Нет, кажется, никто не видел.

Странно, но я словно бы завидовал паненкам!

2

Вернулся я тогда из лицей и как никогда почувствовал несправедливость жизни.

Неудачи преследовали меня в Вильно на каждом шагу.

Из моей местности тут учился и Генрик Станевский. Мать мне приказала, чтобы при крайней необходимости за помощью обращался к нему. Генрик был из соседней деревни. Прадед его перебрался в наши края из Померании и женился на местной девушке. Отец Генрика вел хозяйство по-научному, и его семья жила лучше других, хотя земли имела совсем немного. Мальчишками мы вместе с его сыном пасли коров, потом перед каждым учебным годом я всегда покупал у него учебники: Генрик учился классом старше меня, считался отличником, учебники у него были без пятнышка.

И вот в Вильно мы встретились. В первый же день. Я с узелком тащился с вокзала по одной стороне узенькой улочки, а он навстречу шел по другой. Станевский вел под руку девушку.

— Генек! — радостно закричал я.

Земляк и головы не повернул в мою сторону — будто

не слышал. Сначала я ничего не понял, побежал за ним. Теперь уже не кричал, а — кашлял. Затем обогнал и снова пошел навстречу. Все напрасно! Снекнув наконец, в чем дело, удивленный и обиженный, я долго стоял на опустевшем тротуаре.

Успокоившись, стал читать на телеграфных столбах объявления о сдаче квартир. Мое внимание привлекла бумажка, на которой было кое-как нацарапано: «Здам бисплатно фатеру студзенту, если согласицца намагать хозяйстве вдова...» Это мне как раз и нужно было!

Договорившись о жилье, оставил я вещи у хозяйки и отправился в столовую. Мне еще никогда не приходилось бывать в таких заведениях. Официантка принесла первое и второе, мило и вежливо предложила перец и горчицу. Я, пожалуй, и не вспомню, что бы какая-нибудь девушка так со мной разговаривала. Захотелось как-то и ей оказать внимание. Пообедав, я аккуратно составил тарелки и понес на кухню. Увидев меня, официантка заорала:

— Охломон, кто тебя просил?! Сейчас же поставь на стол!

Еще больнее отхлестал меня ксендз.

На Заречной улице размещался закрытый интернат ордена незунтов. Из сельских семилеток сюда набирали парней, изъявивших желание стать духовными пастырями.

Ксендзом стать мог не каждый: юношу два года внимательно изучали.

В интернате ребят одевали, кормили, днем отправляли на работу в типографию католических изданий, а вечером — заниматься к нам на курсы. Большинство из них незунты пристраивали туда, где им нужны были свои люди. И только самых способных, проверенных и преданных посылали учиться на ксендзов.

У некоторых незунтских воспитанников, учившихся на наших курсах, были не в порядке документы, и секретарь через меня посылал им письма.

— Прошу в помещение! — пригласил меня в дежурку ксендз, одетый в длинную сутану, принимая из моих рук конверты.

Я двинулся за ним.

Ксендз отправил парня за проштрафившимися, сел к столу и усадил меня напротив.

Комнатка была чистенькая и строго обставленная: непокрытый дубовый стол, две табуретки, этажерка с ватиканскими журналами, а над этажеркой — распятие. На

столе я заметил блюдце с черносливом. Еще на столе лежали французские и латинские книжки, пож для бумаг да принесенные мною фирменные конверты.

В ожидании учеников мы молча друг друга изучали.

Мне пришли на память слова Луцевича, работника белорусского краеведческого музея. Рассказывая историю Вильно, он читал наизусть отрывки из статута иезуитских колледжей XVII столетия. «Ученик должен быть послушен, как труп, как воск или как посох старца...» Меня даже передернуло — ну и учителяшки тогда были; не дай бог попасть к таким коновалам!

Но в этом ксендзе не ощущалось иезуитской сухости. Наоборот! В нем было что-то светское, даже аристократическое.

Старательно ухоженные пальцы иезуита торопливо сложили мои конверты в аккуратную стопку, потом начали выстукивать на столе какой-то музыкальный такт.

— Работаете посыльным? — первым нарушил молчание мой новый знакомый, доброжелательно улынувшись.

— Ага.

— Так, так, — подхватил он, словно то, что я сказал, было для него значительным и приятным.

Я уже хорошо успел присмотреться к собеседнику.

До сих пор видеть так близко ксендзов мне не доводилось. В моем представлении это были люди, из глаз которых так и били фальшь и хитрость — все то, чем они опутывают и запугивают темный народ.

Но передо мной сидел симпатичный интеллигент. Черная, безукоризненно выглаженная сутана, краешек белого накрахмаленного воротничка приятно гармонировал с розовой шеей молодого и сильного мужчины.

Лицо у ксендза тщательно выбрито, волосы аккуратно причесаны, загорелый, открытый лоб, умный открытый взгляд карих глаз. Весь его облик и манеры располагали к откровенности.

Взгляд мой остановился на польской книжке, по корешку которой было вытиснено золотом: «Гинекология. Женские болезни. Проф. Гутенберг». Я стыдливо поднял глаза на ксендза.

Он объяснил:

— Наша профессия, шановный пане, такова, что мы должны знать все, даже женские болезни. Пошлют в деревню на работу, обратится к тебе женщина за советом, что ты ей посоветуешь?

Гм, и у него «работа», «профессия»! Комедия!

— Откуда вы приехали? — вежливо спросил он мягким баритоном. Его карие глаза светились неподдельным дружелюбием, от него приятно пахло одеколоном.

Я ответил. И, чувствуя необъяснимое волнение, в свою очередь спросил, кем он работает.

— Воспитателем в интернате, — охотно сообщил ксендз. — Под моей опекой двадцать юношей.

Осмелев еще больше, я решил действовать.

Я давно припасал этот вопрос и намеревался задать его первому попу или ксендзу, какого доведется встретить с глазу на глаз. Вздрагивая от нетерпения, сбиваясь на панвико-доверчивый тон простачка, я начал:

— Простите... Я хотел спросить... От кого-нибудь узнать...

— Да, да... Пожалуйста! Прошу вас, говорите! — приветливо поощрил он.

— Вот скажите, как это вы, образованный человек, в наше время можете посвятить свою жизнь такому бессмысленному делу? — бухнул я.

Волнение лишило меня на минуту способности что-либо видеть и слышать.

Когда я посмотрел ему в лицо, то увидел выражение удивления и незаслуженной обиды, мне стало его жаль. Постепенно лицо ксендза становилось отчужденным.

Только теперь мне пришло в голову, что такой разговор может быть для меня опасен. Ведь в этом городе у меня нет ни одной близкой души. И я потерял уверенность. Мне даже стало страшновато.

— Вы о чем? — ксендз посмотрел на меня уже ледяным взглядом.

Он прекрасно понимал «о чем», но спрашивал, чтобы выиграть время.

Вся моя «идеология» в то время держалась больше на чувстве, чем на логическом мышлении.

Изложить свои политические взгляды словами, да еще по-польски, я не умел. Кулаками — дело иное! Короче говоря, вести словесный поединок с ксендзом мне было не под силу. Но если уж взялся, нужно было продолжать! И вспоминая слова студента, который когда-то выступал в нашей деревне с политическим докладом, я начал:

— Наука об экономике утверждает, что выход не в том, к чему вы призываете людей... Народ надо уравнивать, сделать всех богатыми, а не...

И я беспомощно умолк. На большее ни слов, ни аргументов у меня не хватило.

Мы с минуту помолчали.

— Наивный! — наконец снисходительно промолвил иезуит, сделав гримасу, с какой уверенный в своем превосходстве педагог поучает школьника, когда тот ошибается. — Пан слишком все упрощает, — продолжал он. — Природа человека такова, что одно материальное богатство еще не смиряет страстей. Если бы так было просто, то все богачи стали бы идеальными людьми и счастливыми!

От легкости, с какой лились слова из его уст, и от глубины мысли, заложенной в них, от напряжения, с каким я старался что-нибудь придумать, чтобы защититься, у меня закружилась голова.

— Вы сами видели вблизи богатых людей? — продолжал он.

— Видел...

— Все они, думаете, идеальные? — очень даже понимая, что я сказал неправду, и милостливо не замечая этого, спросил он.

— И все они, думаете, счастливы в личной жизни?

— Видимо, нет...

— А-а! Значит, выход не в том, чтобы все были равны и богаты, не так ли?

Я что-то промычал, а ксендз безжалостно уставился на меня и умышленно держал некоторое время в растерянном состоянии. В отчаянии я почувствовал, что под этим властным взглядом моя воля растаяла окончательно.

Выдержав паузу, иезуит постепенно меня добивал:

— Пан где-то что-то слышал, но все это у него несерьезное, не свое. А знаете ли, — говорил он дальше уже мягко и доброжелательно, — что на свете еще есть зависть, ревность, властолюбие? Имеет все это влияние на человека или нет?

— Конечно, имеет... — поддался я убеждающей силе, с какой говорил собеседник.

— А-га! — обрадовался он. — И это в человеке не искоренит никакая экономическая доктрина! Это можно вытравить, только развивая в людях интеллект... Так вот, шановный пане, не через нивелировку и бунтарство нужно нам идти. Необходимо помогать костелу очищать людей от природной скверны, а уж тогда строить им воздушные замки!

Разумеется, ксендз не убедил меня, но с толку сбил основательно. У меня не хватало аргументов. Но я чувствовал: любые аргументы он — опытный спорщик — с такой

же легкостью и опровергнет. Но мальчишеское упрямство не позволяло признать себя побежденным. И я в бессильной злости молчал.

Иезуит ни единым словом не намекнул, что я позволяю себе крамольные речи и что он может использовать их против меня. И только отхлестав как следует, снисходительно посмотрел на меня и приветливо улыбнулся, словно между нами все уже выяснено и он взял верх. Пододвинув блюдо, гостеприимно предложил:

— Отведайте слив, прошу вас!

Кажется, ударь он меня по лицу, и то так не унизил бы.

Я ушел из интерната сам не свой.

«Постой, постой! — вдруг прояснилось у меня в голове уже на улице. — Когда я ходил за пять километров в школу, меня же не каждый сосед, даже когда он ехал порожняком, подвозил?! Курица одной тетки забежит в огород к другой, и ругани женщинам уже хватает чуть ли не на всю жизнь!.. А богатые небось на мелочи не размениваются, они внимательны и вежливы друг к другу!»

Вспомнил и другие случаи из жизни моей деревни, какие вряд ли происходят среди людей интеллигентных, сытых. Но ведь богачи и не могут служить примером! Это же — дармоеды, чванливые, напыщенные! Совсем иначе вели себя трудовые люди, имей они вдоволь всего. Уж они-то были бы по-настоящему счастливы!..

И государство, придет время, отомрет само по себе. Говорили же об этом студенты! Тогда и люди, стремящиеся к власти, исчезнут, как исчезла профессия лучника, когда перестали пользоваться луками.

И меня снова подмывало схлестнуться с ксендзом.

«Не надо нивелировки, по-твоему?! Надо сказать людям: „Господа, будьте добрыми, а вы, невольники, — терпеливыми и совершенствуйте свой интеллект!..“ Так, по-твоему? Ах ты, панский холуй! А дулю хочешь?..»

«Эх, и всегда у тебя так! Умна твоя тупая башка каждый раз задним умом!» — ругал я себя.

«Но ничего. Когда в другой раз принесу письма, я тебе задам, только держись! Вот, иезуит проклятый! Набрал смиренных хлопчиков из глухих деревень и одурманивает!.. Еще и теорию подводит!..»

Долго я тогда не мог успокоиться. Весь день чувствовал себя, словно побитый щенок.

У меня сложилось убеждение, что я в Вильно — непрошенный гость и если бы собрался да поехал домой, никто бы этого и не заметил. А еще казалось, что я совсем ничего не стою.

Зашел я как-то в белорусский краеведческий музей. Он был крайне беден. Экспонаты висели на гвоздях, лежали на столах, а то и просто валялись на полу. Денег за вход в музей не брали, поэтому я бывал здесь уже не один раз. Меня влекла таинственность древних экспонатов.

Возле груды ноздреватых мамонтовых костей стояла какая-то крестьянка и разочарованно приговаривала:

— Точно такие же наш батя, покойный, когда еще были живые, приволокли однажды с Вилин! Вода их пригнала...

— Ну и что вы с костями сделали? — сразу заинтересовался работник музея.

— Клали под кровать, чтоб хлопцы родились.

— Ну и как?

— Были и хлопцы...

— Наверное, рождались и девочки?

— Конечно, были и девки.

— А что потом с костями сделали?

— Крошили в кружку и пили от живота, когда ранней весной, бывало, хватит кого-нибудь.

— Помогало?

— Однажды только, — вполне серьезно ответила женщина.

Когда все вокруг рассмеялись, женщина, полная собственного достоинства, лишь удивилась: чего, мол, зубы скалите?..

Я смотрел на тетку и ее собеседников и тоже удивлялся: стоят рядом, а как же они далеки друг от друга...

Почему-то эта женщина напонила меня самого. Вот и я тоже не понимаю окружающих меня людей, как и они не понимают меня. Во мне было много наивности, деревенской темноты, незнания жизни и просто — невежества.

Особенно проявилось это на концерте.

Как-то на курсах подошел ко мне преподаватель физики и приветливо спросил:

— Ну, как, кавалер, чувствуешь себя в нашем городе?
— Скучно временами бывает, пане профессор, — признался я.

— Ну-у, вам, молодому, скучать нечего! Сходите куда-нибудь, рассейтесь. На концерт или в кино...

— Денег нет, пане профессор.

— А-а, это уже хуже... Идея! — хлопнул себя по карману преподаватель. — Вот вам билет на сегодня в театр. Там будут сливки города, послушаете, посмотрите!

— Ну зачем же, не нужно... — мялся я.

— Сходите, а то у меня не будет времени, и билет пропадет...

— Благодарю, пане профессор... — покраснел я.

Недавно в Варшаве проходил Всемирный конкурс пианистов имени Шопена. Первые места заняли советские музыканты — Яков Зак и Нина Тамаркина. Их выступления мы слушали в деревне по детекторному приемнику с наушниками. Странно, но наши девочки никак не могли станцевать под эту музыку.

— А-а, я знаю, — обрадованно закричала одна девушка. — Он же «На реченьку» играет, но только под вальс-бостон!

И только уловила такт, даже притопнула, чтобы пойти кружиться, как Яков Зак начал играть что-то уж совсем непонятное — и девушка осеклась.

Однако бранить музыку тогда в нашей деревне никто не посмел. Ведь если уж даже буржуи признали, что советские здорово играют, значит, они играют действительно хорошо.

— Паны, сволочи, передают игру нарочно так, чтобы отбить у людей охоту слушать советских музыкантов, — решили тогда наши мужики.

А иные умники добавляли:

— Если хочешь получить настоящее удовольствие, пужио на музыканта смотреть, когда он играет. Потому что буржуи, пока пустят музыку в свет божий, испоганят ее как захотят.

В Вильно приехал из-за границы известный пианист.

И вот, благодаря доброжелательному физику, я тоже буду иметь возможность видеть и слышать знаменитого маэстро.

Пришел я в театр, сел среди господ.

Начался концерт. Люди замерли. Пальцы пианиста ловко забегали по клавишам. Установилась такая тишина, что казалось — в зале никого нет, и мне даже стало

страшновато. Я тоже весь превратился в слух, собрал волю и напряг внимание.

Со сцены до меня доносились переборы, словно пианист просто так развлекался на инструменте, перебегая по клавишам быстрыми пальцами то влево, то вправо. Мне казалось: допусти и меня к пианино, я сыграл бы не хуже — в этой же игре нет никакого смысла! Подбери несколько тонов, и попеременно нажимай на клавиши!

Вот он берет ноты: первую-пятую, снова первую-пятую и третий раз первую-пятую. Потом меняет ноты: первую-третью-шестую, первую-третью-шестую, затем вторую-четвертую-седьмую. Потом раздражается потоком звуков — вверх-вниз, — словно показывает на инструменте фокус, затем наигрывает какую-то мелодию, но, словно дразнясь, прерывает ее на самом интересном месте и опять — три раза первую-пятую ноты, затем первую-третью-шестую...

И так без конца! Никакого удовольствия!

А названия произведений, которые играет пианист: Шуман. Ре мажор, или Девятая соната, Четырнадцатая соната... Это напомнило выставку модернистов, где я вот так же ничего не понял, а картины назывались «Ном. 118», «Блок Ном. 112»... И зачем люди ходят на такие концерты? Буржуи, сволочи, делать им нечего!

Я зевнул и стал оглядываться.

Пржекторы бросали косые снопы света на сцену. В одном таком снопе лучей появилось маленькое живое существо, торопливо махавшее серебряными крылышками. Это летела моль, которую я впервые увидел в Вильно. Я знал от своей хозяйки, что моль питается одеждой. Но чем кормится она здесь, в зале? Ага, бархатом на креслах. Теперь вот полетела к плюшевому занавесу! — догадался я, когда крохотная бабочка растворилась на сцене.

Передо мной торчала лысина. Волосы у мужчины росли только над ушами. Чтобы прикрыть голову, он отрастил бакенбарды сантиметров на двадцать и зачесывал их веером на голый череп. А чтоб волосы не распадались, мужчина их смачивал. Бедный, каждые полчаса, наверное, бегают под край смачивать их. Ну и жизнь у лысого, не дай бог!..

Слева от меня сидел пожилой человек с мальчиком. Слушая музыку, господин этот смешно шевелил пальцами, словно что-то хватал в воздухе, шумно дышал, будто ехал на велосипеде и ему тяжело было крутить педали.

Мое поведение ему не понравилось, он поменялся местами с сыном, посадив мальчика рядом со мной.

Справа сидела женщина. Когда в зале зааплодировали, спросила:

— Неужели вам не нравится?

Я пожал плечами:

— Что тут может нравиться?

— Не понимаю, как вы можете так говорить?! — удивилась она. В ее голосе я уловил искреннее сострадание. — Вы только вслушайтесь хорошенько! Это же не музыка, а гул леса во время бури! Слышно, как журчит родничок!

— А вы бывали во время бури в лесу? И слышали, как он гудит?.. Слышали, как журчит настоящий родник? — грубо оборвал я женщину.

Уходил я с концерта сам не свой. Все не мог забыть выражения искреннего удивления и сочувствия на лице женщины и интонацию ее голоса. В Варшаве, оказывается, присуждали премии именно за такую игру, так неужели там все дураки? Конечно, я не дорос еще до уровня слушателей в зале. Чем-то я напоминал ту тетку из музея.

«Вырвусь ли когда-нибудь из этого?» — спрашивал я себя с тревогой.

Правда, нечего слишком приbedняться. На протяжении недели было уже два случая, когда я почувствовал свою силу и увидел, что есть люди, которым я даже нужен. Вот так это случилось.

5

Однажды на первый урок не пришел преподаватель. Погода была прекрасная, и курсанты высыпали во двор. У волейбольной сетки как раз тренировалась группа гимназистов из соседней гимназии.

Волейболисты в темно-фиолетовых спортивных костюмах были все рослые и стройные. Они легко и красиво перебрасывали друг другу мяч, а всем своим видом словно кричали: вот какие мы удалцы! Но, должно быть, им было досадно, что их всего шестеро и не с кем сыграть по настоящему. Мы их обступили тесным кольцом.

— Хотя бы еще кто подошел! — огорченно проговорил самый статный из них, даже не глядя в нашу сторону. Конечно, говорил он это, чертяка, нарочно, чтобы мы слышали.

Как ни владела нами гордость, но мы не преодолели

в себе искушения. Пять курсантов, не сговариваясь, оказались сразу на противоположной стороне сетки. Мой земляк, Генрик Станевский, приказал мне:

— Становись-ка и ты, длинный, а то одного не хватает!

Я и стал, испытывая благодарность к приятелю.

Редко, должно быть, на этой площадке встречались такие неравные команды. С одной стороны, тренированные и опытные волейболисты, портреты которых даже печатались в виленских газетах, а с другой, — настоящий сброд, с бору по сосенке — нескладные, одетые кто во что. У одного шея обвязана грязным бинтом, у другого торчали худые плечи, один маленький, другой огромный — все у нас было шиворот-навыворот! Только Станевский не уступал гимнастам своей уверенностью и спортивным видом.

И вот началась игра.

Наши противники не играли, а словно писали мячом в воздухе, — так он у них легко и точно летал.

— Чок! Чок! Чок! — только звенел мяч и после третьего удара, перелетая на нашу сторону, падал на землю.

— Что же вы! — шипел Станевский.

Напрасно! Мы не могли взять даже простой подачи.

В нашей команде я был самым плохим игроком. Проходила минута за минутой, а мне все не удавалось отбить ни одного мяча. Ой, проклятый, летал, как привидение, у меня перед носом, между рук, только не попадал никак на пальцы. Я беспомощно махал руками. Что ж, фактически играл я в волейбол первый раз в жизни.

Тем временем сбежались гимнасты-болельщики. Через минуту их стало больше, чем курсантов.

— Смотри, как длинный мух голяет! — ржали они.

— Его вместо чучела в огород поставить!

Я это слышал и свое неумение старался замаскировать — стал прикидываться, что, мол, фокусничаю.

Появился судья. Подача уже пошла по свистку. Всякий раз, когда мы не могли взять простой подачи, гимнасты-болельщики поднимали хохот и свист. Что касается наших противников, то они не проявляли никакой радости. С благородным спокойствием они продолжали игру, ибо были уверены, что так все и должно быть.

Но тут случилось непредвиденное.

Бог меня не обидел ростом и силой. Поменялись мы местами, и я оказался у самой сетки. Вдруг вижу — прямо на меня летит, а вернее, опускается мяч. Сначала я не поверил своим глазам, а тем временем мяч снизился

на уровень вытянутой руки, что меня и разозлило. С какой-то суетливой поспешностью я ударил по нему, да так, что кулак мой как бы сплющил его. Врезал я по мячу и удивился: в чем дело? Мяча нигде нет, а гимназист напротив меня за сеткой поднимается с земли, держась за щеку, словно у него вдруг разболелись зубы.

— Го-о! — победно загудели наши курсанты-болельщики.

— Грубиянство! — закричали гимназисты.

— Переиграть!

А игрок, держась за щеку, уходил с площадки, вместо него поставили замену.

Достали из кустов мяч, и судья приказал переиграть подачу.

Только взлетел мяч вверх, — бах! — его с силой срезал Станевский. Подали ему мяч еще раз, а он его опять срезал! Молодчина все-таки земляк, ловкости у него хватало!

И тут наступил неожиданный перелом — противники наши растерялись.

Гимназисты-болельщики начали подавать какие-то таинственные знаки, пытаюсь писком и шумом вывести нас из равновесия. Но ничего уже не помогло. Мы вдруг овладели чувством локтя, в каждом из нас была сила взрослого мужчины. Мячи, как снаряды, летели на ту сторону, и гимназисты уже толпились подальше от сетки.

Испытав приятное чувство прикосновения к тугому мячу, я еще не раз азартно перебрасывал его через сетку.

С волейбольной площадки нас провожали оскорбительными выкриками, но они не могли заглушить чувства гордости в наших сердцах. А я тогда ощутил, в сущности, первую победу над чужим городом.

6

Другой случай произошел над Вилией.

Искупался я в реке и вылез на берег. Меня сразу обступили мальчишки.

— Ай-я-яй! — восхищались они.

— Ух ты-ы!

— Что, правится? — не без удовольствия спросил я.

— А что нужно делать, чтобы иметь такие мускулы? — ободренные моей доброжелательностью, заинтересовались ребята.

Вопрос был неожиданным. Это люди считали меня

силачом, но сам я таким себя не чувствовал и никогда над этим не задумывался. Я стал, подражая преподавателю физкультуры, советовать им то, чего сам никогда не делал.

— Нужно обтираться холодной водой каждое утро. Вы обтираетесь?

— Не-ет...

— Ну!.. А еще нужно делать каждое утро гимнастику, есть сахар, ложиться спать и вставать в одно и то же время...

Мальчишек я разочаровал. Эти истины им, должно быть, опостытели, они хотели от меня услышать что-то новое.

Подошли два господчика и тоже начали меня разглядывать. А потом, извинившись, начали мерить да ощупывать. Я очень боюсь щекотки, достаточно показать палец, чтобы я тут же почувствовал неприятную дрожь во всем теле. Мужчины были довольно вежливы, и я, собрав всю волю, позволил им произвести над собою все эти манипуляции.

Незнакомцы делились впечатлениями.

— Давно не видел такого могучего тела!

— Не только могучего, но и гармоничного!

— Отличный экземпляр атлета. А сколько пану лет? — спросил один из них у меня.

— Восемнадцать, — говорю.

Тогда они поинтересовались моим ростом.

— Сто восемьдесят восемь сантиметров.

— Всего?! — разочаровался господин. — А я думал больше!

— Это потому, что у него очень правильные пропорции, — объяснил другой. — Такие люди всегда кажутся выше...

— А сколько пан весит?

— Пять пудов и десять фунтов.

— ...фунтов? — словно передразнил меня мужчина и усмеялся приятелю.

Я пошмал, чему они усмеялись. В городе меряют вес на килограммы, а у нас на пуды и фунты. Ну и что?

Мужчины оказались скульпторами из Художественной академии. Они спросили, не хочу ли я заработать. Я, разумеется, хотел. Только было боязно: не хотят ли эти господа втравить меня в какую-нибудь авантюру?

Незнакомцы уговорили меня пойти в академию. Предложили позировать студентам и пообещали:

— Постоишь один час, получишь золотый, два часа — два золотых!

— Голым стоять не буду! — твердо заявил я, сообразив наконец, в чем тут дело.

— И за деньги?

— И за деньги! — твердо стоял я на своем.

— Чудак! У нас даже барышни позируют. Пойдем посмотришь!

Впрочем, чего мне упираться? Быть может, там что-нибудь и стоящее? Если что не так, повернусь и — будьте здоровы!

Когда мы очутились в студии, меня даже передернуло. Под стеной, как дрова, свалены были руки, ноги, головы с отбитыми ушами и носами.

Меня подвели к ширме и велели заглянуть. Там стояла совершенно голая деваха, а какой-то старикашка, бесстыдно уставясь на нее, лепил из глины женскую фигуру. Я отскочил как ошпаренный и выбежал из мастерской.

Нет, даже за миллион я бы на такую работу не согласился.

Но внимание художников подсказало мне тогда: значит, и я чего-то стою!

В течение нескольких дней после этого случая я был в хорошем настроении. Вечером, бросив дома учебники, спешил на улицу Мицкевича — виленский Бродвей. Ее заливало море света, а по тротуарам фланировали два встречных потока молодежи. Я присоединялся к одному из них. Хорошего платья у меня не было, свободными манерами я не владел, но сразу же обратил на себя внимание гимназисток своим ростом. Выбрав себе какую-нибудь из них, я проходил мимо и неожиданно оборачивался. Так и знал — гимназистка смотрела мне в спину! Поймав растерянный взгляд, я самоуверенно шагнул дальше, чувствуя свое явное превосходство.

И вот только теперь, посмотревшись через застекленные двери на поющих гимназисток и потом еще подслушав их на улице, я почему-то ощутил недовольство собой, а победа на улице Мицкевича показалась смешной, ничего не стоящей.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В тот же день, когда увидел на сцене лицейсток, я пришел домой и, чего со мной никогда не случалось, прилип к зеркалу.

Кто я? Пастух! Лоб и челюсти широченные, нос — картошкой! А брови!.. Где-то я вычитал, что они служат человеку для прикрытия глаз от дождя. Если так, то мои не пропустили бы и капли влаги к глазам, хоть бы даже лило как из ведра. Сросшиеся на переносице, мохнатые, порыжевшие, колючие, как усы ячменя, они топорщились, словно дикий кустарник. В чертах моего лица не было той мягкой симметрии, которая, как мне тогда казалось, так нравится девочкам: выпирала какая-то угловатость, а в серых с желтизной глазах — неприязнь и отчужденность.

— Глянет, словно гвоздем к стене прибьет! — говорили обо мне девчата в нашей деревне.

Я осмотрел одежду. Рукава пиджака короткие, лацканы покособились, на ногах — здоровенные, за двадцать злотых, на резиновой подошве башмаки чехословацкого Бати. Из них всегда торчали проклятые портянки.

Несколько последних месяцев я не стригся, и у меня начал отрастать чуб. По этому случаю я даже купил первую в своей жизни расческу. Но чертов чуб ни за что не причесывался. Волосы росли вниз и напоминали свисающую с крыши старую, раздерганную ветром солому, поэтому на улицу без шапки я не выходил.

Рассматривая меня, один из скульпторов, причесав меня своей расческой, сказал приятелю, что так мне лучше. Теперь я об этом вспомнил.

Я пошел на кухню, смочил над ведром волосы, вернулся к зеркалу и провел несколько раз расческой по голове. Когда мой чуб послушно лег набок, я чуть не ахнул! Не хотелось верить, что в зеркале — мое изображение. Оттуда смотрел на меня парень, у которого над высоким лбом белел аккуратный, неведомый мне до того пробор. От пробора налево покорно легли густые пряди, потемневшие от воды и ставшие шелковистыми. На меня повеяло такой новизной, что я не мог на себя наглядеться.

Хозяйка на кухне звякнула посудой, и я отскочил от зеркала. Потоптался. Появилось желание похвастаться своим видом. В комнате было так тесно, словно меня втиснули в маленькую клетку.

Без шапки я выскочил на улицу, то и дело украдкой касаясь чуба, стараясь поймать его изображение в оконных стеклах. Весь мир стал словно каким-то новым. Мне показалось, что все Вильно переживает мое второе рождение!

...Еще когда я учился в «повшехной школе»¹, там почти каждый чем-нибудь да выделялся. Например, Станевского ребята выпускного класса приглашали к себе в команду, когда играли в волейбол, у одного ученика был шрам на щеке, другому вырезали слепую кишку и «зашивали» живот. Тот со шербиной в зубах, этот носил очки или умел лаять по-собачьи. Только я ничем не выделялся, не имел никакого таланта. Я долго ломал голову над тем, чтобы и мне как-то выбиться в люди. Наконец и мне повезло.

Крыльцо в нашей школе было обшито досками. Придумали забаву: кто сильнее стукнет затылком о доску! Я выбрал место, где стена пружинила, и так затылком саданул, что все рты поразевали, потому что доска заскочила за доску. У меня помутилось в глазах, но я стукнул еще раз. Доска стала на место.

Единогласно присудили: у Бартошевича самая крепкая голова!

Каждую перемену меня водили на крыльцо, заставляли показывать фокус. Так в школе и я стал героем. Радости моей не было предела — ведь я был самым счастливым человеком на свете.

Похожее состояние я переживал и теперь в Вильно. Ожило впечатление победы над волейболистами, а еще вспомнилось, как скульпторы над Вилией восхищались моей мускулатурой...

2

Впервые выйдя на улицу с зачесанным набок чубом, я встречался с такими, как сам, хлопцами как равный с равными и независимо посматривал на людей.

Навстречу шагал молодой рослый офицер — адъютант генерала. Чтобы казаться выше, офицер неестественно вытягивал шею, будто ему жал воротник, и старался смотреть только вверх. Офицера остановила маленького росточка барышня. Целуя ей руку, чванливый офицер

¹ «Повшехная школа» — семилетка в Польше до 1939 г.

даже не наклонил головы, и бедняжке пришлось стать на цыпочки.

Я поравнялся с ними. Расшитая серебром конфедератка приходилась только на уровень моих глаз!

Дальше на липовой аллее встретился мне действительно высокий мужчина. Он был даже выше меня. Хочу вам открыть секрет: каждый высокий человек всегда замечает такого же высокого, украдкой следит за ним, мысленно примеряется. Я говорю чистую правду!

Этого человека не только на нашей улице, но и в Вильно я встретил впервые. Он, должно быть, приезжий, а судя по шапке — как у Тельмана, — вероятно, литовец.

Чаще всего рослые люди, которых мне приходилось видеть, казалось, никак не могли привыкнуть к своему росту и не знали, что с собой делать. Они вечно горбились, волочили ноги, будто на них висели гири, устало морщились, словно их тело было им в тягость. Похоже, что они чувствовали себя почти несчастными, а свой рост считали физическим недостатком. Над такими я всегда посмеивался.

Для моего тела природа подобрала подходящую душу и соответствующее количество силы. Я себя чувствовал ловким и статным спортсменом.

Литовец потешно переставлял ноги, словно кто-то впереди не давал ему прохода, отчего казался неуклюжим. Я преисполнился чувством собственного достоинства.

Длина плиток, которыми выложены тротуары, — пятьдесят сантиметров. Обойдя незнакомца, я начал перешагивать сразу через две плитки и с удовольствием почувствовал, как приятно напрягаются мускулы.

Тогда я и повстречал соседку.

Она возвращалась из лицея. Вместе с ней шли студент с ушками иничкой и подруга. Они говорили ей о чем-то, но моя соседка не слушала. Шла лениво, держа одним пальчиком ручку портфеля, ударяла по нему коленками и со скукой озиралась. Разумеется, меня она даже и не заметила. Ее взгляд безразлично скользнул по моей фигуре. Я присмотрелся к ней. Это уже была не та гимназисточка, которую я недавно видел на сцене, а самоуверенная барышня, знавшая себе цену.

— Подумаешь! — хмыкнул я, минуя компанию.

Когда студент проходил под липой, его расшитая серебром форменная шапочка на целую пядь не доставала до лшты. Подойдя к тому же самому месту, я вытянул шею и почувствовал, как ветки царапают меня по затылку.

— Вот это совсем другое дело!

И забыл о гимназистке.

Показалась Виленка.

У Заречанского моста обратил внимание на обелиск. Я не мог равнодушно пройти мимо любой надписи, начал читать и эту.

«Памятник поставлен благодарными жителями Вильно польскому гимназисту Мечиславу Додику, который здесь утонул в 1933 году, спасая во время паводка еврейского мальчика Хацкеля Хармеца».

Бедняга. Видимо, плавать не умел. А может, бревном оглушило...

Смотри ты, жили здесь мальцы что надо!..

Хоть на граните была высечена и мать божья, но я — воинственный безбожник — тем не менее почувствовал к памятнику уважение. Настороженно посмотрел на бурливую, ядовито-зеленую воду реки, прикинул, на какую высоту поднимается вода во время паводка и как тут все бурлит и клокочет, и не так уж бойко пошлагал дальше.

Меня понесло в старые кварталы Вильно.

Что здесь было тысячу лет назад? Что за люди ходили здесь? Какая на них была одежда? Какие заботы одолевали их, о чем они мечтали?..

Должно быть, тут было поле. Неужели и тогда вот так же светило людям солнце? Ну, конечно же, и жажда их мучила, и песок пересыпался под копытами их коней. А почему не верится? Потому что прошлое мы представляем себе часто по картинам художников, больше похожих на сказку.

Потом появились эти каменные стены и другие люди. А потом и тех людей не стало.

Теперь из седых стен местами выкрошились кирпичи, остался только окаменевший раствор, отчего чернеют четырехугольные дыры, откуда, того и гляди, вот-вот вылетят гнездящиеся там птицы.

В другом месте два могучих атланта держали на плечах балкон. Балкон был массивный, вероятно, тяжелый, а скульптор так здорово выразил напряжение мускулов, что хотелось остановиться и предложить бородачам:

— Я за вас немного подержу его, а вы, ребята, побегайте по сквернику, пусть отдохнут ваши плечи!

Балкончики, галереи, узенькие улочки.

Словно для того, чтобы одна сторона улицы не налезала на другую, вверху между ними перекинуты арки...

Глядя на эту древность, я почувствовал, как у меня

захватывает дух от сознания, что хожу по местам, о которых пишут в книгах.

«Неужто я в Вильно? А может, сплю? И все-таки я в Вильно! Эх!..»

От избытка силы и чувств мне захотелось взбрыкнуть, как тому теленку в поле, когда он под жарким солнцем, наевшись травы, вдруг, задрав хвост, начинает носиться как угорелый.

Ходил я в тот день долго. Наконец спохватился, что уже поздно, и огляделся. Какая-то незнакомая улочка. За мной двигались две женские фигуры. Я прислушался. Судя по голосам, одна из женщин — взрослая, а другая — еще девчонка.

— Ты чего упираешься, дурочка! — уговаривала старшая, — ну, иди — не бойся!

— Хи-хи-хи!

— Ну, быстрее! Видишь, остановился и оглядывается, думаешь, ждать будет?

— Хи-хи-хи!

— Опять хочешь прозевать? Иди к нему, идиотка, ну! В чем дело? Для чего я им нужен?

Я тогда был еще настолько наивен, что ничего не понял. Но когда увидел, что одна из них подталкивает другую в мою сторону, меня охватил какой-то ужас, и я бросился бежать со всех ног.

Выскочив на центральную улицу, я остановился возле лотка. Потоптался в нерешительности, осмотрелся, словно хотел убедиться, не видит ли отец, что собираюсь транжирить деньги, а уж тогда попросил порцию мороженого.

Неудобно есть у людей на глазах. Я повернулся лицом к витрине и начал слизывать стожок в вафельном стаканчике.

Не успел съесть и половину порции, как вдруг насторожился. Рядом стояла широкоскулая девушка. Мутно-синего цвета глаза ее смотрели на меня с готовностью и словно говорили: а вот и я! Девушка шагнула ко мне.

Мороженое застряло у меня в горле.

Я с трудом проглотил его и растерянно заморгал глазами. Посмотрел в витрину: может, мне померещилось?

Нет, не померещилось! В стекле витрины, как в зеркале, я увидел то же самое широкоскулое лицо. Глаза девушки оттуда настойчиво старались поймать мой взгляд. Она снова сделала шаг в мою сторону. Стало так страшно, как тогда, когда приснилось, что на меня наезжает паровоз.

Я втянул мороженое в рукав и нырнул в поток прохо-

жих. Только отбежав шагов тридцать, я с облегчением вздохнул и осмотрелся.

Девушка все еще стояла на том же месте, повернувшись ко мне спиной. Вся ее фигурка выглядела поникшей, словно кто-то ее сильно обидел. Не то из жалости к ней, не то из любопытства, я какое-то время еще постоял, наблюдая за ней. Девушка прошла враз-вперед по тротуару и растворилась в толпе.

Вернулся я в тот вечер домой, разделся, лег, а заснуть никак не могу. Еще долго ворочался, скрипел кроватью, вздыхал. Впервые обратил внимание на свое тело, тугое, с тонкой и белой кожей, и почувствовал, что мне это приятно. Меня вдруг начали томить неясные желания, охватило какое-то волнение.

3

Конечно, чуб — мальчишеская фантазия, форс. Я к нему быстро привык, он послужил только маленькой ступенькой на пути к самостоятельности. А таких ступенек было много.

Люди в меня верили. Великая это сила — вера людей! Все хорошее, что во мне тогда было, шло от этой веры. В какие бы не попадал переплеты, я помнил, что от меня чего-то ждут. Это подтягивало и, должно быть, служило главным стимулом в моей жизни.

А еще люди меня уважали. И не только за то, что я их редко подводил, но и из-за моей молчаливости. Молчаливые всегда вызывают к себе интерес.

Уважали еще и за рост. Да и вообще считали серьезным, вдумчивым человеком. Они не знали, чего это мне стоило!

Несколько часов мне и вправду удавалось побыть серьезным, и я себе говорил: к черту все, я приехал сюда не глупостями заниматься, буду поступать так и так!.. Но проходил час-другой, я увлекался чем-нибудь посторонним и спешил туда, куда меня тянуло.

Нет, не учеба была моим увлечением.

Как-то мать прислала мне в Вильно вышитую рубаху. На уроке языка и литературы наш профессор Залесский, обращаясь к классу, сказал:

— В Африке есть народы, которые любят цветные стеклышки, камешки. Дай им мыла и соли, они съедят их просто так, как мы — шоколад. У нас на «кресах»¹ подоб-

¹ Территория Западной Белоруссии в Польше до 1939 г.

ная дикость выражается в том, что местные крестьяне расширяют свою одежду разноцветными нитками.

И холеной рукой он показал на меня:

— Смотрите, вот перед вами живой пример!

Легко себе представить, как после таких слов я относился к тому «профессору» и его науке.

В свое время учителей «повседневной» школы я считал своими врагами, а все то, чему они учили, было мне чуждо. С таким убеждением я пришел в школу из дому, и год от года оно во мне крепло. Так что выходка Залесского не явилась для меня неожиданностью.

Мое учение проходило где-то между уроками — на улице, дома. Из семилетней школы я не вынес особой любви и навыков к учебе. Наоборот! В моем представлении каждый, кто получал пятерки за их науки, был панский подлиза, холуй!

Я поехал в Вильно, потому что туда отправлялись многие поколения нашей молодежи — повидать свет и вернуться домой хоть порою и без диплома, но признанным человеком.

В Вильно я готовил уроки без удовольствия и энтузиазма, и только тогда, когда чувствовал, что меня обязательно вызовут.

Вся душа моя была взбудоражена событиями, которые происходили в городе и во всем свете. Вот, к примеру, сенсация одного дня.

— Слышали? В Лукишкской тюрьме сегодня венчание! — передавали в этот день из уст в уста. — Сенсация столетия, такого еще не было!..

Студентка университета имени Стефана Батория выходила замуж. Она тоже сидела в Лукишках, где и познакомилась со своим будущим женихом. Ее выпустили раньше. Завязалась переписка. Девушка стала посить передачи, а через год они договорились пожениться. Власти разрешили им венчаться в тюрьме.

Газеты сообщали, что сегодня в подвенечном платье, вместе с капелланом она направляется на Лукишки. Могли я не прийти к тюрьме? Стоя в толпе, я волновался, что-то выкрикивал, был весь переполнен гордостью.

«Люди, поверьте, и мы способны на нечто подобное!» — было в подтексте наших выкриков.

В ту пору было от чего волноваться.

Газеты пестрели снимками новых иностранных бомбардировщиков и схемами бомбоубежищ Лондона и Парижа.

На улицах и переулках Вильно с палками в руках стояли пикеты эндеков¹. Они не пускали клиентов в еврейские лавки.

Еврейские парни на перекрестках продавали карикатуры на Гитлера, за это их сажали в тюрьму или в концлагерь Картуз-Березу.

В цирке я видел, как борцы, выйдя на манеж, вытягивали правую руку в сторону публики, кричали:

— Хайль Гитлер!

Всем было известно, что это агенты гитлеровской «пятой колонны», но они свободно разъезжали по Польше и делали свое черное дело. Польское панство вроде бы и поругивало Гитлера, но явно ему симпатизировало, даже подражало.

Риббентроп домогался колоний для Германии, этого же требовал в Лиге наций и польский министр иностранных дел Бек. В Германии построили концлагерь, и сразу же паны сделали то же у себя, да еще пригласили Гиммлера: мол, посмотри, дорогой друг, точно такой же?! А если что-нибудь мы упустили, окажи любезность, подскажи?!.

Люди были возбуждены событиями. Возбужден был и я.

Неведомая сила поднимала меня по утрам с жесткого матраца и гнала на Замковую улицу. Там, в витрине своего здания, редакция вывешивала свежую газету. Хоть это и было «Слово» виленского монархиста Цата-Мацкевича, но все-таки газета, да к тому еще и бесплатная. Через головы таких же, как сам, я жадно всматривался в свежие страницы. И когда вычитывал, что албанцы снова разбили итальянскую дивизию или что китайская восьмая народно-революционная армия гонит японцев, я возвращался домой счастливейшим человеком. Нет, такой гордости и восторга я не ощутил бы, даже получив сразу десять пятерок или если бы вдруг все виленские паненки обратили на меня внимание.

В деревне не успели принять меня в подпольный комсомол, но среди комсомольцев я считался своим человеком. Приближалась буря. Ее готовили в верхах. Я неясно ощущал, что в событиях свою роль будут играть такие же, как я, люди. Ради этого я даже запасся наганом и часто брал его с собой в город. Холодное железо оттягивало мне карман, но вскоре наган нагревался и словно сливался с телом: каким же сильным казался я тогда себе!

Моя тайна поднимала меня в собственных глазах,

¹ Эндекки — национал-демократы, партия польских шовинистов.

вселяла уверенность и чувство превосходства над мужчинами, которые куда-то бежали, спешили, суетились. Душа жаждала окунуться наконец в вихрь событий. В такие моменты мой интерес к дочери генерала казался мелким, ничтожным.

И все же я не мог забыть ее пения. Тогда, в зале, мне почему-то казалось, что я один ее понимаю, что такое впечатление она производит только на меня. Казалось даже, что в зале тогда мы были только вдвоем.

4

Но все мое поведение, не будет понятным, если не признаюсь и еще в некоторых своих грехах.

Тогда в наших деревнях сильно ощущалась национальная неприязнь. Посеяли ее черные силы много лет назад и поддерживали до наших дней.

У моей бабки висела икона с изображением мальчика в длинной белой рубашонке. Нам, малышам, бабка рассказывала, что якобы когда-то евреи, поймав этого мальчика, увезли в город, зарезали, а на его крови напекли мацы. И будто бы евреи делают это ежегодно.

Я часто смотрел на этого мальчика, в такой же, как и у меня, рубашке, мне хотелось скорей вырасти, освободить свой народ от кровавой дани евреям и жестоко им отомстить.

Но и это еще не все.

Я жил на границе Польши с Белоруссией. В моей местности существовала ненависть между двумя народами, одурманенными шовинизмом и суевериями, водкой и религией. Ненависть эта в некоторых местах принимала дикие формы. Кровавые расправы были обычным явлением при смене властей, которые за последние двадцать лет менялись шесть раз.

Провожая меня в Вильно, мать давала такой наказ:

— Кого хочешь выбирай себе, сынок, в жены. Даже за жидавку ничего не скажу. Только не смей брать польку. Ее нога не ступит на мой порог, пока я жива! Так и знай!..

Встречались люди, ходившие в домотканом платье, в лаптях, но смотревшие на бедняков-поляков, как на низшие существа. Правда, молодежь жила новыми идеями. Однако и тут попадались парни и девушки с «родимыми пятнами».

Вот и у меня тоже были такие «пятна». Я никак не мог

избавиться от чувства отчужденности к симпатичной соседке не только из-за того, что она — дочь генерала, но и потому, что она — полька.

5

И все же со дня выступления хора лицесток я стал слишком много времени уделять соседке.

Я вовсе не собирался в нее влюбляться. Просто начал мечтать, как заставлю ее уважать себя. Придумывал разные варианты для достижения своей цели. Постепенно это превратилось в какую-то манию: я не спускал глаз с соседского двора.

Двор был обнесен металлической сеткой, сквозь которую виднелся необычный, похожий на куб, дом, с большими, в одну раму, окнами. Возле дома росли пихта, лиственница, американский клен, а на клумбах — цветы. Стены были увиты диким виноградом. Среди ветвей лип с вечера до утра горели лампочки. Стекло, бетон, чистота и порядок, электричество, южные растения — все великопанское, недоступное, таинственное. Недаром горожане гордились, что на их улице живет сам генерал.

Я так внимательно следил за соседским домом, что недели через две уже знал кое-что о его обитателях.

Когда я однажды сидел на крыльце с книгой, на соседнем дворе появился генерал с адъютантом.

— Юноша, почему ты так горбишься? — громко проговорил он.

Я с удивлением оглянулся.

— К тебе обращаюсь, к тебе! — подтвердил усатый военный в расшитом серебряными галунами мундире. — Не наклоняйся так, давай груди доступ к кислороду — тебе еще солдатом быть!

— Так точно, господин генерал! — вскочил я, но он уже исчез за дверьми, и только его адъютант измерил меня не то завистливым, не то любопытным взглядом, оставив меня в недоумении.

У генерала было несколько человек прислуги. Больше других запомнилась служанка — пожилая женщина с почтенным морщинистым лицом. Однажды я встретил ее в галантерейной лавке. Женщина рассматривала детскую рубашонку, очевидно, решала, купить ее или нет.

— Своему племяннику в деревню, — доверчиво призналась она продавцу.

Было видно, что в лавке ее хорошо знают.

— Так берите! — подсказал продавец. — Не хватает денег? Так займите у своей хозяйки, пани генеральши!

— Очень уж этого не люблю. Кто занимает, потом просит милостыню... — она положила рубашку на прилавок, еще раз посмотрела на нее издали и медленно пошла к дверям.

За лето на генеральских деревьях развелось много галок, и служанка пришла к своей хозяйке спросить, не знает ли та хлопца, который взялся бы разбросать гнезда. Через открытое окно я услышал:

— По пятьдесят грошей¹ за гнездо дает генеральша!.. Акыш, окайшны! Сколько их расплодилось, что нет никакого спасения!.. Как-то генерал вышел почитать газету, а одна плутовка ка-ак ему плюхнет!.. Ах, вредители!.. Пани Вацлава хотела еще весной их истребить, но он не разрешил. Сказал — пусть выведут птенцов, тогда...

Я схватил книжку и прикинулся, что углублен в чтение.

— А вы, соседка, почему не стираете сегодня? — спрашивала служанка.

— Как не стираю! Белье на плите кипит, а я вышла воздухом подышать! — ответила хозяйка. — Кухонный воздух из себя выдыха-аю, а свежий полной грудью дыха-аю!..

— А я думала вы культурой решили заняться сегодня.

— Займешься, как же! Мой жилец приносит домой журналы с картинками. На прошлой неделе взяла один посмотреть, но не нашла очков, видно, дети куда-то уволокли. И вся моя культура на этом кончилась. Когда-то, когда еще был жив мой мужик, хоть он не давал мне в праздник стирать. Не любил очень, когда на-таскаю белья на воскресенье. Бывало, пьяный, расшвыряет все, порвет, потопчет!..

В голосе хозяйки слышалось восхищение и гордость за мужа и неизбывная тоска по нему.

Кто-то осторожно заглянул в окно. Я догадался, что это служанка. Потом она почти набожным шепотом спросила:

— Ваш все вот так над книжкой сидит?

— Ага, высиживает!

— А я подумала, может, он захочет заработать?

— Времени у него нет. Работающий хлопец. Наносит мне воды и — за книжку!..

— Наша паненка тоже мало куда ходит. Все сидит, читает — сохнет и сохнет над книгами. Или играет на

¹ Грош — мелкая монета, 1/100 злотого (польск.).

партофьяне... Боже, какое время настало, как мучаются молодые! Недаром теперь все так болеют чахоткой! Ой, мне же работать надо идти!

— Не пригорело ли мое белье там? — бросилась на кухню и хозяйка.

Уходя, служанка генерала закричала на птиц:

— Акыш, заразы! Нет на них погибели! Ох и доберусь до вас!..

Я же со злостью швырнул книжку на стол: тоже придумал!.. Жди теперь, когда она снова заглянет!..

Я вышел во двор. Долго не думая, перелез через сетку и нырнул в густые кусты сирени, росшие возле генеральского дома. До белой бетонной стены — метра три. Напротив — широкое окно. Оно открыто. Я притаился, замер.

Тишина была такая, что я услышал, как бьется сердце. Любопытство смешивалось во мне со страхом, от которого мутилось в голове.

Наконец в комнату вошла знакомая мне женщина и повесила липучку, на которую сразу же села муха и пронзительно зажужжала. Тетка, протирая зеркало, добродушно проворчала по-белорусски:

— А што, папалася? Ага? Чаго ж з двара ляцела? Лётала б сабе па сонейку, колькі б хацела, а так — во, маеш!..

Доброта женщины приободрила меня. Вспомнилась и доброжелательность генерала. Казалось, что в этот таинственный дом для меня перекинут мостик.

Выросли мои симпатии к служанке, когда заметил, что ее любит и генеральская дочка, о которой я вскоре кое-что узнал.

6

Как-то субботним вечером я снова сидел на крыльце. Вдруг в генеральском доме неслышно открылись парадные двери и на крыльце появились три девичьих фигуры. Наверное, среди них была та, кого подстерегал, потому и поспешил за калитку.

Вскоре я нагнал девушек и пошел следом.

Не доходя до Заречной улицы, они остановились. Одна из них обратилась к моей соседке:

— Дануся, куда пойдём, к Вилин?

— Ай, не хочу! Там пан Бронислав будет! — как-то раздраженно ответила та.

— А куда же?

Девушки все еще топтались на одном месте, как вдруг моя соседка воскликнула:

— У меня идея! Давайте сходим в кафе «Штраля», там чудесные пирожные.

— А хватит ли у нас денег? Считай и ты свои, Дана!

Начали подсчитывать финансы, но, увидев меня, притихли.

Чтобы они не заподозрили, что слежу за ними, я вынужден был пройти мимо. В этот вечер впечатлений мне хватило с лихвой.

Я узнал, как зовут мою соседку. У нее было красивое, не то литовское, не то польское имя — Данута, а еще можно было обращаться к ней: Данка, Дана, Дануся...

Дануту я часто видел с немолодым студентом, а теперь своими ушами услышал, что ей этот студент — не иначе он и есть тот самый Бронислав — не люб, потому что она не хочет его видеть, и у меня словно бы кто снял с сердца тяжкий камень.

Я был уверен, что генеральским дочкам нечего беспокоиться о деньгах, потому что в их комнатах этих денег — целые мешки. Перед глазами так и стояла девушка, считавшая при свете электрического фонаря монетки.

И последнее. Удивляло, что на свете есть люди, которые ходят в кафе просто так, полакомиться пирожными.

— Вот кровопийцы! — проговорил я вслух.

Но возмущения в этот раз не почувствовал.

Все это было для меня необычно, и я до глубокой ночи проходил по городу. Нет, не разговаривал сам с собой, не рассуждал, как зрелый человек, — для этого не хватало ни слов, ни опыта жизни. Впервые познанные истины сами собой укладывались в моей голове, отчего меня, взволнованного и возбужденного, носило, будто на крыльях. Это был тоже процесс мышления: у молодых, видимо, так накапливается опыт.

7

Назавтра было воскресенье. С самого утра я взялся за работу.

Водопровод на нашей улице был только у генерала. Прачка сдавала мне комнатенку, главным образом, из-за воды, ее требовалось много, а носить приходилось издалека.



В это утро я наполнил бочки и лохани. Потом приготовил себе поесть. Позавтракав, взял свежий номер журнала «Море и колонии», принесенный накануне из лицея, и пошел в город. Вот уже который день, как в польском переводе появилась очередная книга «Тихого Дона». Я направился в городскую библиотеку.

Там стоял длиннющий хвост. Здесь была обычная городская публика: в аккуратной и модной одежде они для меня все были паны, дармоеды и буржуи.

Люди вели себя уверенно, разговаривали свободно. Сделалось обидно: я же первый имею право на Шолохова!.. Но, понаблюдав за очередью, я великодушно решил: черт с вами, еще прочитаю, а пока читайте вы, да знайте наших!..

Я вышел на улицу и повернул к костелу святой Анны: сюда каждое воскресенье приходила молиться семья генерала.

Я уже несколько минут прохаживался по тротуару, листая журнал, когда издавка показался знакомый мне студент с усиками ниточкой.

«Теперь ты мне не страшен!» — воскликнул я мысленно, вспомнив, как вчера неприязненно отзывалась о нем Данута.

Чтоб меня не заподозрили, что умышленно поджидаю генеральскую дочку, я закрыл журнал и начал рассматривать стройные готические вертикали изящного костелика из красного кирпича. Три легких ажурных башенки так и стреляли в небо. Между ними — выгнутые луки. Все сделано словно из тонких кружев...

Вместе со студентом шел наш курсант и мой земляк Генрик Станевский. У нас на курсах он выдавал себя за истого поляка, хотя я хорошо знал, что у них в доме никто сроду не произнес ни одного польского слова. Чтоб не сомневались в его национальности, он всегда вел шовинистические разговоры, за что я его возненавидел.

Станевский долго притворялся, что незнаком со мной, и заговорил, когда на меня обратили внимание другие. На уроке латыни преподаватель начал вызывать нас по журналу, каждый вставал и громко откликался: — Присутствую!

Когда черед дошел до меня, я покраснел оттого, что такой высокий и что поднял на себе парту. Это всех развеселило, а преподаватель долго расспрашивал — кто я и откуда. Когда на перемене надо мной стали дружелюбно посмеиваться, подошел Станевский, начал фамиль-

ярно похлопывать меня по плечу. Счастье его, что я тогда был растерян, а не то турнул бы его...

Станевский теперь был в новом костюме и фетровой шляпе. О-го, откуда у тебя деньги?..

Студент тоже был разодет, словно денди лондонский — элегантный, с черным бантиком под подбородком. Оба шли не спеша. До меня долетел обрывок фразы:

— Если не придушить жидокомму — завладеет всей Европой! — с наигранным пафосом разглагольствовал Станевский. — Восточные орды уничтожат нашу цивилизацию, как это в свое время сделали гунны...

Вот гадина! А еще мать наказывала обращаться к нему за помощью!

Ответа Бронислава я не услышал, но тон его слов уловил. Говорил он вяло, нехотя, через силу, словно это причиняло ему невесть какую боль. Ясно, что политика для него — дань моде.

Генрик хотел продолжить свою фразу, но неожиданно увидел меня и прокричал:

— Сервус, пане Бартошевич!

Я растерялся. Разумеется, при других обстоятельствах земляк ко мне так бы не обратился. Ему очень хотелось поднять себя в глазах богатого приятеля и показать, что в Вильно у него на каждом шагу знакомые. А один из них — вот какой богатырь! Я тут служил в роли некоего объекта, это меня оскорбляло. Чтобы сохранить свое достоинство, мне нужно было холодно ответить на приветствие и уйти. И самое странное, что все это я хорошо понимал, а сделать ничего не мог. Меня захлестнула волна безволия, нерешительности, и ноги словно приросли к тротуару.

Тем временем Генрик отрекомендовал меня студенту:

— Мой коллега. Из одной местности. Вместе почти кончали «повсехную» школу...

— Бронислав! — нехотя протянул тот мягкую руку и отвернулся, чтобы не видеть моей растерянности.

Вообще студент делал вид, что он все на свете испытал и повидал. Глядя на него, казалось, что ему наскучило жить среди таких ничтожеств. И он делает одолжение нам, замухрышкам, что еще существует.

«Подумаешь, какой ты важный, — поиздевался я в душе. — Небось за «Тихим Доном» тоже в очереди стоял!..»

— Прощу! — студент протянул серебряный портсигар. Я отказался. Генрик глянул на меня, как на чудака,

и жадно потянулся к портсигару. Противно было смотреть, как этот ладно скроенный парень лебезит перед паном.

— Прощу, берите еще про запас! — подбадривал студент.

— Благодарю! — с почтением ответил мой однокурсник и осторожно, словно это была бог весть какая ценность, спрятал папиросу в карман. Так и хотелось дать по рукам земляку.

Я, если уж невзлюблю человека, то стараюсь показать ему это всем своим видом. Не мог я и студенту смотреть в глаза, поэтому вперился ему в грудь. А грудь была узкая, и если даже легонько ткнуть в нее кулаком, панок перевернулся бы семь раз. К людям, слабым телом, у меня тогда вообще было отношение презрительное, а к Брониславу я испытывал лютую ненависть. И панного ведь сильнее его и способней, а хозяин тут он, потому что богат!..

Довольно бесцеремонно Генрик взял у меня номер «Море и колонии» и только тогда спросил:

— Позвольте!

Разумеется, ничего иного не оставалось, как только позволить.

Правительственные круги выход из экономического застоя видели в колониях и домогались их на международных конференциях. Правительство было уверено, что добьется своего, а потому даже выпускало специальный ежемесячник «Море и колонии». Сынки чиновников и помещиков в поисках приключений уже собирались ехать на Мадагаскар, как только этот остров отдадут Польше. А пока Лига наций в Женеве раздумывала, давать или не давать Польше колонии, «золотая молодежь» уже распевала песни о знойной и дикой Африке и воображала себя героями.

Генрик и Бронислав заинтересовались фотографиями, на которых Муссолини провожал итальянские семьи на жительство в Абиссинию. Долго они смаковали снимки, восхваляли талант дуче, завидовали «макаронникам», так они называли итальянцев, совершенно забыв обо мне. Я понемногу успокоился. Во мне начало зарождаться чувство непримиримой враждебности к ним.

Вдруг Бронислав изменился в лице, забыв о своей маске пресыщенного человека. Извинившись, он быстро убежал.

Но заволновался не только студент. Задрожали колени и у меня: приближались генеральша, ее дочка и знакомая мне пожилая служанка.

Барышня ступала скромно, словно примерная школьница, держала черный молитвенник в золотом тиснении и тайком поглядывала на нас. Дануся вела себя так, как порой дети при чужом покойнике — со смешной кропотливостью и смирением.

Мне уже тогда бросилась в глаза разница между матерью и дочерью.

Чванливая шляхтянка с явными чертами кавказского происхождения совсем не походила на Данусю — милое, привлекательное дитя. Враждебность, которую я перенес с Бронислава и Генрика на девушку, исчезла.

Генеральша сдержанно улыбнулась студенту, словно одаривая, подала руку, а Бронислав, сняв шапку, поклонился и торопливо чмокнул в разрез темной перчатки.

— Это князь Любецкий, — с почтением, как бы оправдываясь, сообщил Генрик.

— Князь?

— И вечный студент, — добавил таким тоном, словно это было великой похвалой Любеckкому. — За границей окончил институт, а в Вильно защищает польский диплом. Нареченный генеральской дочерью!

— Та-ак... Какой из него нареченный, я слышал из уст самой Дануси. И чего ты этак выпендриваешься перед панями, Генек?!

— Напрасно ты на меня... — растерялся он. Поднося к моим глазам папиросу, похвалился. — Вот «Пласке», даже с монограммой! Ему фабрика выпускает по спецзаказу...

Я присмотрелся. На мундштуке тоненькой папиросы были отгиснуты золотом инициалы — «БЛ», год выпуска и какой-то герб.

— Ишь ты! — не удержался я от искреннего изумления.

Тем временем генеральша, ничего не замечая, поплыла в костел. За ней двинулись барышня со служанкой и студент.

У входа сидели нищенки. Когда генеральша холодно, даже не нагибаясь, раздавала им монеты, Дануся вся сжалась, от неловкости.

Я даже вздохнул с облегчением, когда наконец за ними закрылись массивные двери из кованого железа.

Еще недавно я выдумывал истории, как становлюсь

известным чемпионом, например, борцом или боксером, слава моя расходится по всему свету и генеральша сама, словно с Мартином Иденом, ищет со мной встречи, чтоб отдать мне свою Руфь. Но присмотревшись теперь к этой госпоже, я почувствовал, что генеральша — не миссис Морз. Эта чистокровная аристократка ни за что не сочла бы меня достойным человеком, если бы даже я стал миллионером! К Данусиной матери я почувствовал даже почтение: открытых врагов я уважал. От этого мне, однако, легче не стало. Со своими мечтами я выглядел очень смешным и наивным.

Но все равно я не сдавался.

В присутствии генеральской семьи Любецкий сделался покорным, как связанная овца. Мой земляк только из-за того, что с ним дружит и беседует сам «князь», не знал, как перед ним плясать и подхалимничать. А мне что?

Ну и черт с вами, если вы такие уж важные господа и не считаетесь со мной. И не надо! Плевал я на всех вас, потому что хожу себе по той же самой, что и вы, улице, дышу тем же самым воздухом, греюсь под тем самым солнцем! Даже могу бывать там, где бываете вы. В кармане у меня шестьдесят грошей, вот возьму и пойду в ваши рестораны! Вы себе небось обед не готовите?!

А захочу, пойду даже в ваш костел вслед за вами! Что, может, выгоните?

9

Словно бы только для того, чтобы полюбоваться храпком, я потащил Станевского внутрь: с ним я чувствовал себя уверенней. Станевскому, видимо, было неловко передо мной. Он как бы очнулся и стал самим собой — нормальным деревенским своим хлопцем, только таким, который приехал в Вильно на год раньше и лучше знает, что тут к чему. Он даже достал из кармана пачку халвы, разломил ее и большую половину дал мне. И вообще был со мной предупредителен и вежлив.

Бывало, мы, пастухи, сговоримся, отгоним коров подалее от людских глаз и давай стравливать быков. Не принимал в этом участия только Генрик. Когда я перед матерью высмеивал его, она Генрика защищала:

— Хорошо тебе, сынок, дурачиться. Если бык сломает рога, ты от батьки только ремня и получишь, потому что пасешь свою скотину. А он, бедняга, пасет чужую. Хозяин узнает и тут же прогонит такого пастуха...

Бог его знает, может, и правда, что жизнь заставляет некоторых людей угождать другим. В конце концов, теперь мне было важно, что Станевский меня слушается.

Он начал шептать, что костел этот построен еще в 1395 году на месте языческой молельни жены князя Витовта. Будто бы восхищался им во время похода на Москву Наполеон и сожалел, что не может взять его на ладонь и перевезти в Париж. Но я больше смотрел, чем слушал.

В строгой перспективе стояли два ряда массивных дубовых скамей. В переднем ряду, словно за высокой школьной партой, сидели генеральша с дочкой. Рядом, набожно сложив руки лодочкой, стоял студент. Две светлые косы Дануси спадали на черный блестящий шелк передничка. Я так всматривался, что даже разглядел у нее на затылке непокорные кудряшки, у студента — лысину, в шляпе генеральши — зеленые перышки, а в седых волосах служанки — простой гребень.

Вокруг сидели костлявые старухи и иссохшими руками, похожими на куриные лапы, перебирали четки. Могучие звуки органа хватали за душу и навевали тоску.словно из потустороннего мира доносились слова ксендза:

— *Pater noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum!*¹

Пахло сыростью. У меня было такое ощущение, будто я в могиле.

Впервые я совсем не почувствовал неприязни к Дануте, и меня даже охватила непонятная тревога за нее, братское сочувствие. Стало жаль девушку. И еще — глядя на то, как Дануся искренне молилась, ни разу не оглянувшись, не повернув головы, я даже восхитился такой невинной верой, наполнился желанием ее защитить от чего-то и уберечь.

10

«Ковыряются, ковыряются в тарелках, будто еда для них — так, забава! — злился я, рассматривая господ за соседними столиками. — И зачем люди садятся есть, если им этого совсем не хочется. Врезал бы, кажется, по рукам, выбил бы у них эти ножи и вилки, пусть бы не портили продукты! Или взял бы за шиворот, ткнул носом в тарелку и сказал:

¹ Отче наш, иже еси на небесх, да святится имя твоє!.. (лат.)

— Знаете, вы, паны чертовы, сколько деревенские бабы, моя мать в этих кур, которых вы тут зря переводите, вложили труда, души и надежды?

Эх, согнать бы вас, буржуев, на гумно, дать бы цепи в руки да и приказать: а ну, беритесь молотить!.. Этот ваш лоск и фанаберия мигом бы улетучились! И аппетит бы появился отменный!»

Такие приблизительно были у меня мысли в ресторане.

На столах перед господами лежали ножи, вилки, ложки. Этих блестящих предметов тут было столько, будто где-то поблизости стояли их целые ящики. Мне вспомнился единственный обломок ножа у моей прачки. Им, должно быть, пользовался весь ее род с незапамятных времен. Почти каждый день вдове приходилось искать этот обломок где-нибудь во дворе, потому что дети вечно что-нибудь им строгали и всегда оставляли в песке. Мой бы хозяйке хоть один такой нож, вот была бы радость в доме!

— Ваш заказ! — прервал мои размышления рослый официант с усами бантиком.

Такой здоровенный парень, а занимается неподходящим делом!

На две тарелки принес мне суп. Потом — второе, как коту...

Не поправилось мне обедать в ресторане. Я все время боялся как бы не пролить, не капнуть на белую скатерть, на которой стояли тонкие высокие рюмки. Не дай бог зацепить ножку стола ботинком — рюмки разлетятся вдребезги.

Я так нервничал, что даже не почувствовал вкуса пищи, пошел домой доедать.

В вестибюле ресторана я встретил барышень в платьях с большим вырезом на груди и спине. Женское тело оставалось для меня заманчивой, жутко-прекрасной тайной. И вот теперь я имел возможность рассмотреть его вблизи. Барышни неприятно удивили меня своей оголенной белизной. Бледную кожу покрывал какой-то рыжеватый пушок. Явственно проступали худющие ключицы... Исчезла тайна. Больно кольнуло разочарование, словно я навсегда потерял то, ради чего жил. Подавленный, я вышел на улицу.

В центре города меня кто-то схватил за плечо:

— Подожди!

Я оглянулся. Сзади стоял наш курсант Альбинас Суткус. Он тяжело дышал. Только теперь я увидел, что у него

точно такой же бантик черных усов, как у официанта, который меня обслуживал.

— Бартошевич... — начал он и замялся.

— Ну? Чего хочешь, говори!

— Я работаю в ресторане, где ты обедал...

— Работаешь, ты-ы-ы?

— Ага...

Я сразу понял, что он от меня хочет. Почувствовал, что краснею, и схватился за карман.

Несколько минут мы молчали.

— Идем сюда, за ворота! — потянул он меня подальше от людей.

— Ты там работаешь? — лепетал я, идя за товарищем в какой-то пустой двор. — Официантом?

— Ну да! — Суткусу было тоже неловко.

— Если бы я знал, что ты там, то...

— Ничего, ничего...

— Поверь, я не знал, честное слово...

— А я тебя сразу узнал. Ты даже сел за мой стол. Но я не хотел встречаться и послал вместо себя другого официанта. Он тебе подавал мои приборы. Я их потом подсчитал и вижу — о! р-р-ропуже вельный грибнету!¹ Я быстро переоделся и за тобой...

— Я не знал, что это твой...

— Ладно, чего уж там... Только отдай, потому что у нас высчитывают, сволочи, из получки...

— ...

— Если бы не высчитывали, сам раздавал бы своим ребятам, а так...

Никогда в жизни я так сильно не краснел, как в эту минуту. Кровь ударила мне в голову, зашипало в мочках ушей. Непослушными руками я достал из кармана проклятый нож:

— На...

Суткус заговорил сочувственно и словно оправдываясь:

— Если бы это у моего хозяина, то черт с ним. Еще и помог бы своим хлопцам! Да ведь знаешь, хозяева хитрые. Наш даже за разбитый стакан высчитывает, гад. Не так он, как его баба. Просмотрит все, пересчитает пять раз... А он хитрый, гад! Вчера, когда шла демонстрация рабочих к магистрату, он портреты Пилсудского и президента убрал, чтобы витрины не побили камнями...

— ...

¹ Черт возьми!.. (лит.)

— А ты где живешь? — видя, что я весь сгораю от стыда, спросил Суткус.

— Там...

— А сколько вас в комнате? Один в комнате?! Да это же королевская жизнь! Дай свой адрес, зайду переночевать как-нибудь. Пустишь?

— Заходи, когда захочешь...

— Только, чур, уговор! На курсах никто не знает, что я работаю официантом. Не говори никому, хорошо? Холуйская работа, я — временно.

— Не скажу...

— Сегодня вечером будешь дома? Прямо с курсов зайду!.. Иван, не обижайся на меня... Знаешь, я на работе... Ну, пойду. Встретимся в школе, салют!

Ой, как же мне было неприятно!

Взять что-нибудь в лесу или у папа у нас в деревне кражей не считалось. Наоборот! Глуп был тот, кто этого не делал, если выпадал случай! И все равно, было так стыдно, что я охотно провалился бы сквозь землю, если бы она расступилась. Зачем мне нужен был этот проклятый панский пож?! Обошлась бы прачка обломком.

— Тьфу! — я со злостью пнул башмаком пустую консервную банку.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Над Вилией должно было состояться гулянье. Городской магистрат заказал одной фирме пароходик в честь какого-то исторического героя, уроженца Виленщины. И вот в воскресенье предполагался спуск пароходика на воду.

Несколько дней кряду виленские газеты рекламировали на разные лады это событие. Сообщалось, что крестной матерью пароходика будет жена генерала Янковского — пани Вацлава. Я знал, что туда обязательно придет Данута, ждал этого дня с нетерпением.

Наконец наступило воскресенье. Пробираться сквозь толпу к берегу я не посмел из-за проклятого ножа. Там стояла Дануся, а мне казалось, что она знает про случай в ресторане. За всей церемонией я наблюдал издали.

Генеральше подали бутылку шампанского. Дама уда-

рила ею о борт парходика, но бутылка не разбилась, а плюхнулась в воду. Рядом со мной раздалось несколько голосов:

— Эх, корова! Не могла даже бутылки разбить! Зря добро переводит...

— А что ей? Не свое!

— Она не виновата. В таких случаях шампанское привязывают к веревке.

— Защитник нашелся! Панский подлиза!

Пока бегали в магазин за другой бутылкой, бедная Дануся стояла и чуть не плакала. Мне тоже сделалось не по себе.

«Куда ты лезешь со своими чувствами, ты, который позарился на нож!» — тут же одернул я себя.

...Словно зная о моем искреннем сочувствии ей тогда, у реки, на следующий день симпатичная соседка меня неожиданно вознаградила.

Спускался я по лицейской лестнице и лицом к лицу столкнулся с Данусей. Запыхавшаяся и раскрасневшаяся, она поднималась на пятый этаж. Поравнявшись со мной, Дануся доверчиво и просто, словно мы старые знакомые, промолвила:

— Уф-ф, как тяжело!

И пока я нашелся, что ответить, игриво засмеялась, упруго соскочила с последней ступеньки на паркет и легко побежала по коридору.

Не веря своим глазам и ушам, я остановился.

Нет, я не спал! Действительно, минуту назад она со мной говорила! И сама — я же ее за язык не тянул. Вот даже и теперь звучит ее смех — мелодичный, шаловливый.

Я долго стоял как зачарованный. Во мне поднялась целая буря. Я уже забыл, что видел в ней врага, причину всех своих бед. Нужно было идти, но я словно боялся ступить на место, где только что прошла она. В воздухе еще слышен был запах ее духов. Со светлой радостью и непонятной тревогой я почувствовал, что становлюсь пленником этой очаровательной полячки.

С того дня все мои мысли были только о Данусе. Ради нее я даже начал поступаться своей совестью.

Однажды я помогал нашему швейцару, пану Войцеху, расставлять в зале стулья. Стульев не хватало, и мы послали их с чердака. Сели отдохнуть. Пан Войцех спохватился, что нет курева, и попросил меня спуститься на первый этаж, купить в киоске папирос. С ужасом предста-

вив себе, что могу в перепачканной известью и паутиной одежде встретиться с Данусей, я не знал, что ответить. Старик обиделся.

— А я и не думал, что ты такой скверный парень, — укорил он меня.

— Почему?

— Потому что, когда будешь богатым, а к тебе придет батька в лаптях так ты его на улице Мицкевича, само собой, не признаешь.

— Еще чего выдумайте!

— А я тебе говорю — не признаешь! Побонься, чтоб не увидели тебя паненки с каким-то деревенским дядькой!

— Будьте уверены, не побоюсь... — сказал я больше самому себе, чем швейцару, пряча глаза.

— Я лучше знаю! Не одного такого субчика встречал за свою жизнь.

Меня поразило замечание старика. Вспомнился Станевский. Неужто и я за один месяц в Вильно ухитрился стать таким?

Стало стыдно. Однако пойти в грязной одежде за папиросами я так и не решился. И за это сам себя возненавидел.

2

Поляки со свойственным им умением налаживать массовые торжества устраивали их довольно часто.

Люди еще не забыли о празднестве на Вилни, а уже готовилось новое — День поминовения солдат, погибших в 1920 году, в войне с большевиками.

Собирались воздать почести legionерам, воевавшим за враждебное мне дело и имевшим прямое отношение к несчастью моего народа. Может быть, один из тех, кого будут чествовать, полосовал шомполом моего отца или убил того красноармейца, чья безымянная могилка сиротливо возвышается в поле под грушей неподалеку от моей деревни.

Приближался чуждый мне праздник.

Душа моя раздвоилась. Я ощущал презрение к новой забаве панов. Но Дануся, я знал, не могла дожидаться этого дня, волновалась и радовалась. И я переживал и радовался вместе с ней. Это была измена своим убеждениям, своей совести, посправиться с собою я не мог.

Идя на занятия, я встретил на улице соседку и еще одну лиценстку. Барышни держали заплombированные ур-

ны и приглашали прохожих жертвовать деньги на вооружение армии.

«Если хочешь, чтобы твоя армия была застегнута на все пуговицы, не пожалей злотый!» — кричали плакаты со стен.

Странно и непонятно звучало самовосхваление военной клики. Генералы заявляли, что польская армия разгромит в один день и немцев, и большевиков! Но как? Кавалерия была вооружена допотопными пиками. Боевых самолетов, как потом выяснилось, имелось всего 377, а польские истребители летали медленнее немецких бомбардировщиков. Маршал Рыдз-Смиглы хвастал, что вымуштрованный польский солдат проходит за день с полной выкладкой семьдесят километров! Государственная казна дышала на ладан. Правительство представляло собой сочетание военной клики пилсудчиков с наглой диктатурой полиции и правами шляхты XVIII века. Чтобы спасти положение, необходимы были радикальные меры, а не сбор денег на улицах. Все это так. Но при чем тут Дануся? Мне понравилось, с какой верой и самоотверженностью она обращалась к людям:

— Граждане, не пожалейте на пулемет для войска! — Пан уже отдал злотый на пулемет?

Она при этом кокетливо улыбалась, и почти каждый раскошеливался.

Увидев меня, паненка как будто растерялась. Ее подруга подошла с урной:

— Пожертвуйте, если можете!

— Янина, с этого пана не пужно!.. — шепнула ей испуганно Дануся.

Почему не пужно? Потому что у меня нет денег? Откуда это ей известно? А если не так, чего же она испугалась, увидев меня?

Значит, я для нее не такой, как все. И я обрадовался, как тогда, когда встретил Данусю в коридоре лицея.

3

В воскресенье вечером на поле за кладбищем Роса выстроились воинские части. Отдельно стояли гимназисты и студенты. Собрались тысячи жителей Вильно. Пришел туда, разумеется, и я.

Сперва делегация молодежи должна была передать армии несколько станковых пулеметов, купленных на собранные деньги.

Хорошо быть высоким. Возвышаясь над толпой, я глазами поискал генеральскую дочку.

С группой гимназисток она стояла возле тачанок и неосторожно вертелась около лошадей. У меня даже возникла надежда, что лошадь вот-вот вздыбится и тогда нужно будет спасать девушку. Поэтому я протолкался поближе, чувствуя себя счастливым: бедный князек, наверное, вынужден стоять где-то далеко отсюда, в колонне!

Началась церемония.

Гимназистки, среди которых была и Дануся, в лихо сдвинутых набок беретах с орлами, видно, этим паненки хотели придать себе боевой вид, подошли к командиру полка. Дануся начала рапортовать. Усатый полковник выслушав ее, добродушно усмехнулся и показал рукой на солдат, которые должны были принять пулеметы. Дануся запнулась. Всем стало неловко, а больше всех мне.

Наконец Дануся взяла себя в руки, подошла к пулеметчику, поднялась на цыпочки и... чмокнула его в щеку! Одетый в длинную, как юбка, шинель, солдат смутился, покраснел и стал еще более неуклюжим. В толпе засмеялись.

— Какая отважная гимназисточка! — промолвила какая-то дама.

— И грациозная — как артистка! — добавила вторая.

Мне было приятно это слышать.

К гимназисткам подошли элегантные офицеры и о чем-то заговорили. Разумеется, особенно вытанцовывали они перед генеральской дочкой.

В тот день я увидел и ее отца.

Когда стемнело, перед колонной солдат появилось несколько всадников. Среди них — Янковский. На генерале и его вороной лошади так блестели серебряные галуны, ремни и металлический набор сбруи, что лошадь и всадник как бы искрились в электрическом освещении. Дануту окружили подруги, и все паненки любовались живописным всадником.

Послышалась команда:

— Смир-но-о!

Стало тихо-тихо. Погасли фонари. Снова послышалась команда:

— На-ачи-най!

Тревожно прозвучали фанфары, мелкой дробью забили барабаны. И, когда они вдруг смолкли, голос офицера торжественно произнес:

— Поручик первой роты третьей бригады Довбор-

Мусницкого легionsа — Станислав Лещинский!

— Пал на поле славы! — отозвался в густой тьме и мертвой тишине голос дежурного.

— Честь его памяти!

— Бум-м-м! — раздался, полыхнув огнем, залп орудий.

Вновь прозвучали трубы и барабаны. И так несколько раз. Зрелище было и впрямь торжественное и захватывающее.

Я поглядывал на солдат, на подтянутых офицеров, на их повенькие мундиры, завидовал врагам и утешал себя:

«Ничего, и мы, придет время, будем такими. Даже еще лучшими!»

Понемногу, но настойчиво меня начал точить бунтарский червячок.

Года три тому назад нас с секретарем подпольной комсомольской ячейки Степаном Романовичем вызвали в постерунок¹. Меня, пятнадцатилетнего подростка, немного поугадили и отпустили. Уходя, я увидел: за массивным полированным столом, напротив коменданта, сидит Степан. Комендант, на котором все блестело: лакированные ремни, серебро галунов и такого же, как и у офицеров на поминках, фасона сапоги с прямыми задниками, показывает Степану жгут проволоки, цинично усмехается и, как будто ему очень весело, говорит: «Не признаешься — эта проволока будет у тебя в животе еще сегодня!»

Степан молчит. Только скрипнул под ним стул да на краю стола, где брался он пальцами, остались потные пятна: в одном месте четыре и четыре в другом.

Через несколько дней труп товарища полицай выдал матери со свидетельством врача:

«Степан Романович покончил самоубийством: съел сорок восемь сантиметров проволоки железной, трехмиллиметровой...»

Перед глазами предстала несчастная Степанова мать, как она, горемычная, бегала по деревне и у каждого спрашивала:

— Люди, послушайте, разве может человек съесть железную проволоку?

Загубили хлопца, гады! Бывало, в лесу соревнуемся: кто самый ловкий. С завязанными глазами, по запаху, надо было угадать, из какого дерева прут. Степан никогда

не ошибался, даже если мы вырезали палочку совсем сухую. А то войдет в лес и скажет:

— Тут кто-то был. Должно быть, лесник!

Мы начинаем присматриваться — никаких следов!

— Как ты узнаешь? — пристаем.

— Птицы не так себя ведут, разве не слышите?

Встречаем ягодниц, а те нам:

— Ну, ваше счастье! Тут лесник вас с коровами искал! Пошел в ту сторону, не попадитесь!

И такого человека!.. Эх!..

В самый разгар враждебного мне праздника я ушел с Росы.

Револьвер, о котором я уже упоминал, достался мне в наследство от Степана. Это был старый, сильно тронутый ржавчиной, семизарядный наган, которым мы в нашей деревне еще до роспуска компартии и комсомола пугали штрейкбрехеров и предателей.

На наших полях в то время валялось множество винтовочных патронов, порох в которых годился в дело, особенно если высушить его. В местечке из-под полы продавались пистоны для охотников — полтора гроша за штуку. Пистоны были чуть великоваты, но их можно было обрезать ножницами. Пулей служили три оловянные дробины, а чтобы они туже проходили в стволе, их нужно было расплющить.

Найдя пустую гильзу от нагана лесника, я, бывало, шилом доставал из нее старый пистон, закладывал новый, насыпал сухой порох, сверху загонял три дробинки, и тогда выстрел получался громкий, словно из пушки.

С наганом я не разлучался. Уезжая в Вильно, положил его в чемодан. Сперва повсюду носил с собой, потом стало боязно... Теперь я прятал его, аккуратно обернув в тряпицу, в кустах на ближней горе.

Вернувшись с Росы, я полез на гору и достал наган. Сжимая холодную рукоятку, осмотрелся, прислушался. Внизу, насколько хватало глаз, мелькали огни, оттуда долетали приглушенные таинственные звуки, шелест, словно вздыхали тысячи людей или кишели муравьи в гигантском муравейнике. А над четвертьмиллионным городом — темень осенней ночи.

Мне вдруг захотелось выкинуть какой-нибудь фортель, потревожить это могучее и враждебное окружение. Я поднял наган, взвел его и нажал на спусковой крючок.

— Гах! — сверкнула в небо молния.

— Гах! — повторила выстрел соседняя гора.

¹ Полицейский участок.

— Гах-гах! — словно коротко вздыхая, передавали друг другу сдвоенные звуки отдаленные холмы.

Оглушенный, я больше ничего не слышал — звенело в ушах. Казалось, город смолк, будто испугавшись выстрела и затаившись. Охваченный дикой радостью, опять сунул наган в кусты и помчался вниз.

4

Дома меня ждал Суткус.

Альбинас предупредил, что придет ночевать. Родителей у него не было и помощи ниоткуда не получал. Днем работал в ресторане, вечером посещал курсы, а почевал по очереди у своих однокурсников. Ночевал как-то и у меня. Хозяйка моя пускать человека без прописки боялась, поэтому в прошлый раз мы дождались, пока она заснет, а утром Альбинас ушел, когда женщина еще спала.

Так же условились мы сделать и сегодня.

— Ты слышал? — встретил меня товарищ вопросом. — Глянь сюда! — подал он мне газету. — В отделе литературы, видишь? Про вас, белорусов!

Я развернул газету. Бросилось в глаза напечатанное жирными буквами:

«НА БЕЛАРУСИ ВЕЛИКОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ! В БЕЛОРУССКОМ САДУ РАСЦВЕЛА АГАВА, КОТОРАЯ ЦВЕТЕТ РАЗ В СТО ЛЕТ! НА БЕЛАРУСИ ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ПОЭТ — МИХАСЬ ГРАНИТ!»

И дальше подробно описывал вечер у воеводы — пана Ботянского, на который был приглашен этот поэт. Среди гостей там находился и генерал Янковский. Всех присутствующих Михась Гранит покорили своими стихами.

— Вот так, знай наших! — с гордостью посмотрел на меня приятель.

Взволнованный не менее Суткуса, я достал все свои запасы и стал потчевать гостя.

— Если выступает Гранит, — схо-одим! Обязательно!

Я снимал маленькую комнатенку без кровати. В углу лежал свернутый сенник. Раскладывая его, я заявил:

— Хозяйка уже спит. Можем и мы на боковую. Ложись, Альбинас!

Потушили свет. Легли. Но еще долго не могли заснуть. И не только потому, что то и дело кто-нибудь из нас скатывался на пол. Такой мелочи мы не заме-

чали. Нас просто распирала радостная гордость. Неведомый поэт укрепил в нас чувство собственного достоинства, веру в будущее.

Когда Альбинас был у меня в прошлый раз, не помню, кто первый из нас подал идею — бежать в СССР! Там бы спокойно учились, были бы людьми. Мы сразу загорелись: а почему бы и не попробовать? Много убегало туда хлопцев, девчат. Но, оказывается, можно и тут своего добиться и свое доказать.

Перед глазами возникала квартира воеводы, полная виленской знати, которая собралась слушать не кого-нибудь, а нашего поэта. Выпустили райскую птицу из клетки!.. Выпущены были выпустить, а теперь смотрите на нее, слушайте!.. А называется как — Михась Гранит!.. Нам уже казалось, что не он, а мы выступаем перед этими панами.

Мы, белорусы, литовцы, малые нации! Дания еще меньше, а вот благодаря Андерсену о ней знают даже дети во всем мире! И Болгария маленькая, а появился Димитров и один прославил ее на весь мир! Тут дело не в площади!

— Даже Янковский пришел послушать, — воскликнул я, не замечая даже, что думаю вслух.

— То-то! Вынужден был уважить нашего брата! Интересно, какие у панов были в ту минуту физиономии? Вот бы поглядеть! — радовался Альбинас, словно поэт был литовцем.

— Знай наших! Тебе, вельможному пану, видишь ли, мешают даже бедные галки. Присылаешь служанку и думаешь, что я так и полезу разорять тебе гнезда за пятьдесят грошей! А дулю не хочешь? Сам полезай!

Я резко повернулся от возмущения, и Суткус брякнулся об пол.

— Слон! Не толкайся!

— Тс-с-с! — зашикал я, боясь, чтобы не услышала хозяйка.

— Давай спать!

5

Не помню, говорил ли я вам раньше о своих соседях Залкиндах.

Трухлявый домишко пращки, в котором я жил, словно втиснули между двумя гигантами: каменными строениями генерала и крупного торговца Залкинда.

Торговец владел в Вильно одним из богатейших магазинов одежды. Помню, когда я проходил мимо магазина, мне каждый раз становилось неловко из-за бюстгалтеров, выставленных бесстыжим Залкиндом в витринах.

Сквозь огромные окна поглядывал я на красивых продавщиц. Однажды, набравшись храбрости, зашел.

— Добрый день шановному пану! — едва я переступил порог, приветствовала меня красавица в фирменном халатике, и я остановился, обалдев от такого к себе внимания. — Припадаю к панским ножкам! К вашим услугам! Чего пан желает? — многозначительно улыбалась она, словно что-то обещала.

В ту минуту я уже простил выставленные бюстгалтеры и, кажется, все бы отдал, только бы иметь деньги и хоть что-нибудь купить у этой красавицы.

Да, Залкинд торговать умел!

И во всем он старался не отставать от своего соседа Янковского. Такой же самой сеткой огородил свой двор. Перед домом разбил клумбы. За домом посадил груши и яблони. Но все это он делал только ради моды. Поэтому неухоженные яблони одичали, стояли с необрезанными сухими ветками. Между пнями росли крапива и дикий малинник, а сорняки заглушили все цветы на клумбах.

Во дворе можно было часто видеть двенадцатилетнюю дочку Залкиндов Бети — ученицу частной гимназии¹.

В доме богача жила еще его мать — совсем седая старушка. Вероятно, чтобы показать, что недаром ест сыновний хлеб, она старалась создать впечатление, будто очень заботится о внучке. Довольно часто старуха появлялась на веранде со стаканом сметаны и кричала:

— Бети! Кум а гер!²

Еще хуже бывало, когда старухе казалось, что на улице холодно, и она начинала гоняться за девочкой по двору с шарфиком или жакеткой. Тут уж хоть уши затыкай.

Капризной и избалованной была Бети. Я однажды наблюдал, как она топала ногами, кричала на служанку, когда та случайно пролила какао из стакана на блюдо!

И вот однажды виленские эндеки организовали свой очередной «день без евреев». Пикеты молодых хулиганов, вооруженных палками, блокировали с утра еврейские ма-

¹ В буржуазной Польше дети даже богатых евреев почти не принимались в государственные лицеи и гимназии.

² Бети, или сюда! (свр.)

газины, частные дома, даже целые улицы. На стенах намалевали жирными буквами: «Не покупай у жида!», «Не нанимай квартиры у жида!», «Не сиди за одной партией вместе с жидом!»...

В этот день, как обычно, Бети Залкинд шла в гимназию. Эндеки загородили ей дорогу, но гимназистка с упрямством настаивала на своем.

Спеша в лицей, Дануся наткнулась на пикет как раз в тот момент, когда негодяи избивали ее маленькую соседку. Не раздумывая ни минуты, Дануся отважно бросилась на хулиганов, вырвала у них из рук окровавленную девочку, отвела к себе домой, вызвала доктора.

Все это наделало много шума. В тот же день вышли экстренные выпуски газет, в которых все подавалось сенсационно, с разными невероятными подробностями.

Назавтра в газетах появилось имя одного из командиров времен восстания Костюшко, еврея Берки Еселевича, приводились и другие примеры из польской истории, когда евреи гибли вместе с поляками в борьбе за независимость Польши. Депутаты в Сейме поднимали вопрос о борьбе с антисемитизмом.

Несколько дней подряд о Данусе писали газеты, ее одолевали настырные корреспонденты, поэтому она даже не выходила из дому.

В потасовке с эндеками Дануся разбила колено. Эта царапина под пером газетчиков превратилась в опасную рану, даже подсчитали, сколько литров крови потеряла отважная польская паненка, защищая еврейскую девочку. Ежедневно публиковался бюллетень о состоянии здоровья героини. Даже сообщалось, сколько Дануся и Бети за минувшие сутки съели апельсинов, какие книжки читали, сколько времени спали.

После этого случая Дануся еще больше выросла в моих глазах. Я сразу забыл о своем решении, принятом на поминках легионеров. Даже вырезал из газеты ее фотографию, обернул целлулоидной обложечкой и стал с того дня носить с собой портрет девушки, то и дело тайком любуюсь ею.

Постепенно шумиха вокруг случая с дочкой Залкинда улеглась. Делегации евреев с подарками перестали посещать генеральский особняк. Героини пошли в школу. Сняли и полицейский патруль, почти неделю стоявший

на нашей улице, — власти опасались, что эндеки будут мстить за арестованных.

Я внимательно следил за соседями.

Несколько дней подряд стояла чудесная погода. В прозрачном воздухе пахло вырытым картофелем, папой листвою. Плавали ниточки-паутинки бабьего лета, цеплялись за ветки и заборы.

На дворе у Залкинда, как обычно, царил заустыение, а за сеткой у генерала садовник сгребал сухую листву, жег сучья и высохшие стебли, укрывал матами южные растения. Вместо некогда пышных кроп торчали голые ветви с галочьими гнездами: их было и впрямь много. Из-за кустов за домом виднелись яблони и привязанные к стволам забытые гамаки. Какой же из них Дануси?

Следя со своего крыльца за соседним домом, я старался представить себе, как в нем уютно и красиво. Меня пленяла таинственность жизни за его стенами. Захотелось проникнуть в этот сказочный замок, рассмотреть его вблизи, подышать его воздухом. И я начал придумывать способ, как осуществить это желание.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Однажды, когда я, по обыкновению, занял свой наблюдательный пункт на крыльце, из боковых дверей генеральского дома вышла служанка, неся табуретку и корзину с бельем. Это была знакомая уже мне женщина. Двигалась она неторопливо, но делала все старательно. Наверное, и служила преданно, как только могут служить трудолюбивые, честные и одинокие старухи, прижившиеся в чужой семье.

Женщина поставила доску из гофрированной жести в корытце и принялась стирать. Она ритмично терла по ребристой поверхности, а белье поскрипывало, словно мокрая резина.

Такую доску я впервые увидел здесь, в Вильно, у моей хозяйки. Вспомнил свою мать, подумал, каким это было бы облегчением для ее натруженных рук. Удобный повод заговорить с женщиной, а прислуга — народ разговорчивый.

Я уже упоминал, что возле генеральского дома росли

пышные кусты сирени. Недолго думая, забрался в них. Но, к сожалению, теперь белье стирала уже другая служанка с тупым, прыщеватым лицом. Разочарованный, я подался назад.

Вдруг из кухни вышла генеральша с белым платочком в руках. У меня теперь была возможность хорошенько рассмотреть ее вблизи. Первое, что я заметил, это черные волоски над верхней губой, отчего пани казалась усатой. Видом своим генеральша показывала, что все окружающее существует только для нее.

— Эпиметей, это ты испортила? — недовольно спросила она, показывая платочек.

Испуганная служанка покраснела и, уставившись в корытце, молча начала снимать мыльную пену с рук.

— Это ты его гладила? — уже со злостью повторила дама.

— Агы...

— «Агы»! — с презрением передразнила генеральша. — Я так и знала, что это работа моего Эпиметей!

Дама швырнула платочек в корзину с грязным бельем и направилась к дому.

На курсах мы проходили мифологию, и я вспомнил: Эпиметей — брат Прометей, полная ему противоположность, приносил людям только беды.

— Прощу пани, — пролепетала служанка, — вы меня не называйте так. Зовите просто Просей. А то Эпи... Эмапи... И не выговоришь!..

На лице генеральши не дрогнул ни один мускул.

— Делай, что велят!

И правильно ее назвали тогда, возле реки, мегерой. Бедной девушке здесь, должно быть, горше, чем в тюрьме!

Чем-то чуждым и враждебным дохнуло на меня от этого дома. Ну что с того, что Дануся спасала еврейскую девочку? Все равно она из семьи мироедов!..

Но, как всегда, для таких рассуждений меня хватило ненадолго.

2

По нашей улице пронесли покойника. За похоронной процессией побежали прачкины дети — пятилетний Юра и шестилетняя Валя.

Вернувшись домой, они очень хотели поделиться впечатлениями. Я сидел на крыльце, дети, несмело потоптавшись, подошли ко мне.

— Дядя, — наконец заговорил мальчик, — а вы там несли неживую тетю в синем платье, и так ее в платье и закопали!

— Ну и что? — буркнул я, недовольный тем, что прервали мои наблюдения.

— Ничего, мы просто так... — ответил малыш и начал бить о стену поздней автоновкой.

Только недавно я разобрался, что прачка моя была слишком старой, чтобы быть матерью этих детей. Она растила внуков, детей умершей дочери. Эти сироты, вечно перемазанные, были мне неприятны, потому что всюду лезли, кричали, часто дрались, таскали у меня карандаши, журналы. Но вдруг подумалось: ведь от них я могу многое узнать о генеральском доме и о тех, кто в нем живет.

— Слушай, Юра, это яблоко у тебя не генеральское? Мальчишка замотал головой:

— К нему в сад не залезешь. Это мы у Залкинда. Там их бери сколько хочешь...

— Дядя, а Юрка ест только побитые яблоки. И говорит не побитое, а — замученное! — не то пожаловалась, не то похвасталась сестра.

— Ну и что? Конечно, замученное! — невозмутимо ответил мальчуган, высасывая сок.

— А вы у генерала когда-нибудь были? — вернулся я к интересовавшей меня теме.

— Только на елку ходили туда зимой! — ответила девочка.

— На елку? — обрадовался я.

— Угу.

— И много детей было там на елке?

— Много-ого! Со всей улицы!

— Вот та-акой дала нам пани Вацлава пирог! — мальчик описал в воздухе большой круг.

— Такой большой?

— Ага!.. А еще у них есть кот Мурек!

— Кот?

— Ну да! Белый! Его тетя Антося купает и причесывает гребнем!

— Купает?

— Ага! А наша мамка говорит: «Вот бы нашему Юреку такое житье, ничего бы другого и не хотела: и молока лакает сколько хочет, и мясо каждый день жрет!»

Мальчик только шмыгал носом. Больше дети ничего сказать не могли. Спасибо и на том — вот сколько я узнал. А теперь — действовать!

Пошел в ближайшую лавку и завел беседу с хозяином — старым евреем. Если б он только захотел, мог бы очень много рассказать о порядках в доме, который меня интересовал.

Я стал неодобрительно говорить о генерале, стремясь вызвать старика на откровенность. Он некоторое время вежливо слушал, а потом, глядя на меня мудрыми глазами, дипломатично ответил:

— Мы люди маленькие, бедные торговцы, пане шановный! Кто нам платит, тому продаем. Всем. Будь это генерал или кто другой, абы давал деньги. Да и какие там деньги и какая плата — одни слезы! Налог плати, штрафы плати! Ой, а эти эндеки, чтоб холера на них, каждый день бьют окна: не навставляешься...

Ушел я из лавки ни с чем.

— А что, должно быть, у генерала электричество не портится? — осторожно повел я разговор с монтером, исправлявшим в нашем доме проводку.

— Всюду оно портится. И у простых людей, и у генералов. Вот вчера даже у архиерея испортилось! — проворчал неохотно монтер. — Позвонили из консистории — вынужден был идти...

Я стал перед ним заискивать. Распрашивал о профессии, о жене, детях, удивляясь тому, что могу быть таким подхалмном. Потом, напустив на себя безразличие и прикинувшись простачком, осторожно подлюбопытствовал:

— Должно быть, у генерала очень много интересного? Заходишь к нему, а он встречает тебя в дверях строгий, надутый, как Пилсудский, с крестами на груди...

Затаив дыхание, я ждал ответа.

Монтер перестал прибивать изоляторы, опустил молоток, слегка помахал в воздухе затекшей рукой, потом вынул изо рта гвозди, вздохнул и признался:

— А я его ни разу не видел! Чему удивляться, пан? Нашего брата встречает там прислуга или адъютант, потому что мы ходим через парадные двери. Всех, кто заходит через парадные, встречают слуги...

Но, словно догадываясь, что мне нужно, посоветовал:

Чтобы увидеть самого генерала или генеральшу, нужно войти через черный ход, с кухни... — Монтер хотел еще что-то сказать, но раздумал, махнул рукой, мол, ну их, времени нет! Слова взял гвозди в рот, глазами

показал, чтобы я покрепче держал лестницу, и опять начал прибивать к стене изоляторы.

Я был безгранично благодарен этому человеку за сведения. Стал думать над тем, как мне проникнуть в генеральский дом.

Найти повод для посещения при моей должности было несложно. Достаточно, например, прикинуться, что имеешь по этому адресу пакет или письмо, и, пока все выяснится и тебе будут растолковывать твою ошибку, хорошенько рассмотреть все, что нужно.

А еще можно постучать в дверь и, когда откроют, войти и спросить, не тут ли живет такой-то, назвав при этом какую-либо выдуманную фамилию. Главное — придумать подходящий вариант, набраться смелости, разыграть задуманное, как по нотам.

Но я был тогда как раз в том возрасте, когда желания и мечты не в ногу шагают с разумом, а разум часто не имеет влияния на строптивую душу. И, разумеется, я выбрал вариант самый худший.

Если бы хоть немного пошевелил мозгами, мог бы предвидеть, что из этой затеи получится. Но для меня тогда вся жизнь кончалась на моменте, когда я захожу в Данусин дом.

4

С трепещущим сердцем подошел я к генеральской калитке. Она была из толстых железных прутьев, с начищенной до блеска медной щеколдой. Взялся за ручку. Калитка подавалась неожиданно легко и бесшумно. Сначала я даже замер и заколебался. Но отступить было поздно. На ватных ногах двинулся вперед.

Выложенная бетонными плитками дорожка вела прямо к парадным дверям — большим и массивным, как в костеле. Я сошел с дорожки и направился к черному ходу.

Уже подходил к гранитным ступенькам с железными поручнями, как откуда-то появилась огромная собака, и я с ужасом увидел совсем близко от себя ощеренные зубы и вздыбленную на загривке шерсть.

— Гыр-р-р-р! — тихо зарычал пес, словно говорил: — Ага, голубчик, попался? Мне тебя как раз и надо!

От неожиданности и страха я в головокружительном прыжке, перескочил через все ступеньки, ударил плечом в дверь и очутился на генеральской кухне.

Посреди кухни, над тазом с водой, стояла Дануся.

Она была в одной только черной юбке. Я непроизвольно уставился на маленькую белую грудь с темными, смешно торчащими вверх сосками.

— О-ей! — взвизгнула девушка, не то удивившись, не то испугавшись, и прикрыла грудь ладонями.

Обалдев, я во все глаза смотрел на нее. Разглядел даже тоненькие синие жилки возле ключицы.

Мне даже не верилось. Неужели это та самая героиня, о которой вздох писали газеты?

Неужели именно к ней — генеральской дочке, меня так влекло, что я чуть не свернул себе шею, повсюду ее высматривая?

— На, детка, оденься! — знакомая мне служанка подала ей халатик.

— Я от собаки убежал... — вырвалось у меня.

По выражению их лиц я понял, что они сами догадываются, почему я так неожиданно ворвался сюда, и потому не сердятся, а только спешат привести себя в порядок для встречи гостя, то есть меня.

Дануся отвернулась — я увидел смуглую гибкую спину и туго затянутый на затылке узел блестящих волос — и поспешно накинула халат. Девушка знала, как она хороша, любит себя и позволяет то же делать другим. Все это у нее выглядело скромно и естественно.

— Тут живут Янковские? — наконец спросил я и испугался своего голоса.

— Здесь, — ответила она, рассматривая меня уже с любопытством.

— Кто там, тетка Антося? — донесся из глубины комнат строгий женский голос.

— Не знаю, папи Вацлава. Какой-то человек, — послушно ответила Антося, погасив материнскую улыбку, с которой смотрела на Данусю.

Два месяца живем по соседству, приходила к прачке напирать меня сбрасывать галочки гнезда, я уже собрался с ней здороваться на улице, а вот, говорит обо мне так, словно первый раз видит!

— Успокойся, мамуся! Это наш посыльный из лица! — прокричала Данута.

В пестром кимоно из японского шелка она словно хвасталась: вот какая я! Мол, знаю, ты пришел по делу, но неужели не полюбишься?..

— В чем дело? — спросила генеральша, появляясь в дверях.

Совесть моя была нечиста. Под пристальным взгля-

дом дамы я почувствовал, что становлюсь как будто меньше ростом.

— Вам письмо из лица, — сказал я, краснея: врать был не мастак.

— Мне-е? — ничего не понимая, удивилась дама и подозрительно глянула на дочку.

Та смело выдержала взгляд матери.

Пока генеральша разрывала конверт, я рассматривал кухню, выложенные белой плиткой стены, начищенные кастрюли, посуду и неведомые мне пружинки на палочках, жестяные выкрутасы — все блестящее, выставленное, словно напоказ.

— Что они пишут?! — гневно воскликнула генеральша, бросив взгляд на бумажку. — Что, они там у вас с ума посходили? — обрушилась уже на меня. — Это мы не заплатили за учебу?

— Вероятно, не заплатили, если посылают такое письмо... — произнес я глупейшее из того, что только можно было сказать в данный момент.

Мало того, я даже поверил сказанному и словно почувствовал себя директором лица.

— Нужно вносить деньги вовремя. А то не платите, а потом ищите виновных да еще обижаетесь, когда вам напоминают! Знаем таких хороших!

Дануся весело прыснула.

Генеральша смерила меня презрительным взглядом, резко повернулась и вышла из кухни.

— Лицей! Лицей! Прошу немедленно дать лицей! — слышно было, как орет генеральша в телефон.

Меня охватил страх. Надо было исчезать, но я словно прирос к полу. Стою столбом и глупо ухмыляюсь.

Обнявшись, как подруги, Дануся с Антосей смотрели на меня, ждали. Мой визит затягивался, и в глазах женщины я заметил неудовольствие. Но я не двигался с места, только переминался с ноги на ногу.

Меня озадачило поведение Дануси. Любая другая паненка в подобных обстоятельствах меня вообще не заметила бы. Она же как будто зангрывала со мной: прищурив глаза, смотрела с лукавой улыбкой и вызовом. Но я, дурак, в этих хитростях тогда не разбирался и думал, что она надо мной издевается. Было такое ощущение, словно я стою перед женщинами голый.

— Слыхали, в зале Снядецких наш поэт сегодня выступает, — с ужасом и будто сквозь сон услышал я опять свой голос.

— Кто-о? — поинтересовалась Данута со снисходительным удивлением.

— Тот самый... Михась Гранит...

Она попыталась что-то вспомнить. Затем в ее глазах появилось недоумение, испуг, и я отчетливо в них прочел: «Ага, ты ненормальный!..»

Но я сдержать себя уже никак не мог и конфузился еще больше.

— То за человека его не признавали, то теперь — нарасхват...

— Да-а?

— Выступает, — выдавливал я из себя, чувствуя всю бессмысленность своих слов. — В зале Снядецких. В универсitate зал так называется. Пойдете?..

— Ес никуда не пускают! — вмешалась Антося.

В соседней комнате злилась генеральша:

— Дежурный, капрал, сколько я должна ждать? Я вам велела — подключить лицей!

Нет, больше такой пытки выдержать я не мог.

— Бывайте! — с каким-то даже облегчением, будто проигравшийся картежник, которому уже терять нечего, сказал я.

— С богом! — сказала Антося.

— О-ей, что это? — удивилась Дануся.

— Работа Гектора! — подсказала Антося.

Я оглянулся.

О, черт! У меня была так располосована штанина, что виднелась икра ноги. Из ботинка отвратительно торчала серая портянка.

Брюки у меня были одни.

— Как он так пойдет, нужно зашить! — благожелательно решила Антося. — Данка, принеси черных ниток из комода, сметаю кавалеру штанину!

— Я сейчас! — паненка бросилась в комнаты.

— Что вы, я тут рядом живу! — прокричал я ей вслед. Но девушка уже исчезла за дверью.

Мне стало жарко.

— Проводите меня, там собака! — взмолился я, не желая еще верить, что все произошло наяву, что я потерпел полный крах.

— Идем, парень! — сжалилась старуха.

Я уже был не рад, что затеял эту авантюру. Шел за служанкой униженный, словно в генеральском доме меня оплевали.

«И куда лезешь? Который раз дают тебе по носу, за-

чем тебе все эти фокусы?» — пытался образумить меня кто-то рассудительный во мне. Но тут же охватила злость. «Ну, погоди ты, буржуйка!..» — сжал я кулаки.

5

По тогдашнему обычаю, если солдаты несли по улице полковое знамя, мужчины должны были снимать головные уборы. Но я этого никогда не делал. А чтобы не поплатиться за такое молодечество и не попасть в каталажку, воинские части обходил издали или пропускал их, спрятавшись в первые попавшиеся ворота.

И пужно ж было случиться, что, выходя из генеральского дома, я сразу наткнулся на солдат. Впереди колонны несли знамя, шли офицеры с обнаженными шашками, поднятыми к правому плечу. Мужчины на тротуарах уже снимали головные уборы. Бежать куда-нибудь во двор не было возможности да и охоты. Нет, на этот раз — дудки! Прятаться не буду, пусть тащат в постерунок.

На меня уже шикали мужчины со шляпами в руках, а я упорно двигался вперед.

— Ой, пане, снимите шапку! — предупредила меня какая-то встревоженная женщина.

Я — словно не слышу. Колонна приближается.

— Здэйм чапке, галгане едэн!¹ — подскочил ко мне молоденький поручик.

Сверкнула сталь шашки.

Решительная поза офицера говорила о том, что он не шутит и может полоснуть взаправду. Но на меня все смотрели, и я теперь, конечно, снять шапку уже не мог, даже если бы пришлось поплатиться головой. Присутствие людей меня окрылило, стало совсем не страшно. Инстинкт самозащиты подсказал слова:

— А мне нужно туда...

— Хи-хи-хи-хи!.. — засмеялись в толпе.

— Я посыльный из лица! Мне нужно пакет отнести срочно Малиновским!.. — твердил я с каким-то детским упрямством и даже сам начал верить, что мне надо было идти туда, а меня вот не пускают.

Офицер посчитал меня придурком.

— Идиот! — поручик изо всей силы ударил меня плашмя по плечу и сбил с головы шапку.

Не подняв с тротуара головного убора, я продолжал

¹ Шапку долой, болван! (польск.)

путь. Было неловко, что прикидываюсь дурачком, и я снова почувствовал презрение к себе, как некогда в лицее, когда носил стулья с паном Войцехом. От злости хотелось реветь. Я стал думать, как бы и чем отомстить за издевательство. И вспомнил о соборе Свята Духа.

Митрополит Варшавский и Волынский Дионис, выслуживаясь перед правительством, приказал попам читать проповеди и петь молитвы в церквях да соборах на польском языке. Узнав об этом, православное Вильно зашевелилось. Сегодня с утра к моей хозяйке приходило несколько взволнованных богомолков.

Старухи, увидев у меня на стене портрет Толстого, вообразили, что это икона, и долго молились на Льва Николаевича, били ему поклоны. На этих теток я утром не обратил внимания. Теперь же в их протесте мне почудилось что-то бунтарское — как раз то, чего жаждала моя душа. Я направился в собор к вечерне.

А там уже назревала буря. Обычно пустовавший в будние дни, храм теперь был битком набит. Люди угрожающе шушукались, нервно ожидая начала молебна. Чужа беду, у алтаря неуверенно толпились молодые попики.

Наконец из царских врат вышел бородатый священник в блестящей ризе, махнул на собравшихся серебряным крестом и с виноватой улыбкой, не очень правильно произнося слова, затянул что-то по-польски. Люди онемели, потрясенные святотатством, ожидая божьего гнева. Потом опять загудели. Для взрыва нужна была искра. Я почувствовал наэлектризованность толпы, набрался смелости и гаркнул на весь собор:

— По-русски говори!

На мгновение наступила тишина, с улицы даже долетел автомобильный гудок.

Сказать по правде, я и сам немного испугался. А когда пришел в себя, то увидел, что молоденькие попики ищут меня глазами и подмигивают, мол, молодчина и мы за это, да нас заставляют молчать.

— Говори по-русски! — крикнул я уже более уверенно.

И тут — будто прорвалась плотина. Люди дружно начали орать, наступать на попу, неистово махать руками.

— По-рус-ски! По-рус-ски! — проскандировали гимназисты.

Толпа вмиг поймала такт, и собор весь аж задрожал. Попы говорить не дали.

Вышел я из собора победителем. Однако и этого мне показалось мало.

В день своего «визита» к генералу я на курсы не пошел. В этот день в университете Стефана Батория в зале Снядецких должен был состояться вечер белорусской поэзии. Говорили, что там будет Гранит, о котором писали газеты. Я готов был принять участие в любых действиях, направленных против ненавистных властей. А тут выдался такой случай и как раз под горячую руку — разве можно было от него отказаться? И я отправился на вечер.

Приближаясь к университету, заметил, что там уже собрались молодчики и никого не пропускают, а сюда все шли и шли студенты, гимназисты, некоторые, разумеется, просто полюбоваться бесплатным зрелищем — всем было ясно, что скандала не миновать. Между прочим, среди «большаков» я увидел и Бронислава.

По тогдашним польским законам, полиция доступа на территорию университета не имела, и эндеки могли сорвать вечер. Энергичный студент, один из организаторов встречи, крикнул, обращаясь к нам:

— Хлопцы, кто не боится, что фашисты набьют морду, стройся в колонну!

Среди добровольцев, разумеется, был и я.

— Товарищи, — командовал уже другой студент, которого звали Яцкевичем, — сами видите, что надо прежде всего разогнать этих маменькиных сынков, могут все дело испортить! Дадим им как следует!

— Пошли-и! — прокричал друг Яцкевича — украинец Шиманский.

— Веди нас! — подхватили другие.

— Ого, какой прыткий! Может пролиться кровь, лучше не начинать! — заметил какой-то маловвер.

Он только молодежь подзадорил:

— Идеи лучше осуществляются, когда скреплены кровью!

— «Но где, скажи, когда была без жертв искуплена свобода?» — слышал такие слова?

— Нас меньше!

— Зато у нас руки крепче!

— Хлопцы, за дело! В атаку!

— No passaran!¹

— No passaran! — мы дружно подхватили лозунг испанских республиканцев и, сжав кулаки, шагнули во двор.

¹ Не пройдут! (исп.)

Наши души и тела давно жаждали действий. Построившись клином, мы ринулись на «золотую молодежь», раскололи ее, прижали к стенам и начали бить.

Я выбирал себе достойного партнера, но гимназистки разлетались от меня, как от чудища. И вот тогда-то я и наткнулся на Бронислава. Князь уже не был нейтральным. Группа молодчиков колотила палками парнишку в вышитой рубахе, а вечный студент выкрикивал:

— Так ему! Та-ак! Еще! Бардзо добже!

— Спасайся, верзила идет! — крикнул один из эндеков, и компания словно ветром сдуло.

Однако я успел схватить князя за шиворот и с необычайным наслаждением ткнул ему кулаком снизу в нос, а потом с размаху швырнул обмякшее тело на мостовую.

Вспомнился сегодняшний поход к генералу и пережитые оскорбления, вспомнилась шашка поручика, и оттого, что так основательно влепил Брониславу, стало сразу легче.

— Кому еще, ну-у?! — закричал не я, а вся моя душа.

Передо мной возник верткий гимназистик. Этот мне не противник. Его можно просто свалить одним пальцем. И я, глупец, стал искать более достойного партнера.

Пока я осматривался, гимназистик неожиданно подскокил, ткнул двумя пальцами мне в глаза и, ослепив, ударил в переносицу. Поплыли звезды, потемнело в глазах, и я упал. Уже не видел, как возбужденные радостью победы парни пронесли на своих плечах к университетским дверям (которые, возможно, помнили еще Франциска Скорину) поэта.

...Когда я поднялся, выложенный гранитной брусчаткой двор уже опустел. Пробегали блики света по брусочкам гранита, отшлифованного подошвами многих поколений студентов, а какая-то студентка прикладывала мне к переносице мокрый платочек и, как маленького, утешала:

— Ничего, ничего, это скоро пройдет!..

Подошел известный мне уже украинец, посмотрел и бросил:

— Дотащится сам домой, а мы пойдем караулить опять!

Студент исчез.

— Ну вы же их и молоти-или!.. — продолжала девушка. — А Любеского разделали как — «скорая помощь» его увезла!.. Вам бы теперь полежать немного дома!..

— Ладно, хватит мне зубы заговаривать! На себя лучше посмотри! — бросил я резко, отстраняя ее.

Злился я на себя, и на эту девушку, и на весь мир.

— Куда пан! Подождите! — испуганно прошептала студентка.

Я оглянулся. Девушка неловко, двумя пальцами держала револьвер, который вывалился у меня из кармана.

Болван, забыл даже о нем. Стоило только выстрелить вверх один раз, и вся банда маменькиных сынков разбежалась бы. Да я, словно тот осел, которому были известны семь способов плавания, а он, упав в воду, позабыл все и утонул.

— Спрячьте! А Гранит в зале выступает!..

Ей очень хотелось поговорить. Но я со злой и виноватой благодарностью взял проклятый наган и пошагал.

7

Проснулся я рано, глянул в зеркало и ужаснулся. Переносица распухла и посинела, под глазами — страшные фиолетовые «фонари».

Стараясь не попадаться людям на глаза, добрался до ближайшего телефона-автомата и сообщил в лицей, что заболел.

— Явиться немедленно! — грозно ответил секретарь.

По его голосу я понял: что-то произошло, ибо до сих пор чиновник этот ко мне относился доброжелательно. Что могло случиться? Возможно, квитанции на заказные письма неправильно выписали на почте? Но не мог же я показаться в таком виде. Я стал отговариваться:

— Пан секретарь, едва на ногах стою...

— Не явитесь, позвоню в полицию! — пообещал мне голос на другом конце провода.

Переулками, пряча лицо от прохожих, я пробрался в лицей.

— Это что такое? — секретарь, отводя в сторону глаза, наливался злобой.

Я похолодел. Чиновник держал в руках злосчастную бумагу, которую я вчера носил генеральше. Только теперь понял, до чего глупой была моя выходка. Погорел безнадежно! Мне стало дурно.

— Что это значит, я тебя спрашиваю? — распаляясь от собственных слов, прокричал секретарь, впервые называя меня на «ты».

Разглядев мои «фонари», он замялся.

Из коридора в канцелярию заглянул преподаватель физики. Он мне симпатизировал и даже завышал баллы, когда я слабо знал урок. Это он дал мне билет на концерт



пианиста. Мы еще собирались с ним, когда выдастся ясный вечер, пойти в обсерваторию и посмотреть в телескоп на звезды и луну.

— Пане Кунцевич,— начал он, но тут же переменял тему:— Ого, кавалер в чем-то провинился!

— Полюбуйтесь, пане Кастальский, на этого...— тут секретарь, не найдя слов, окинул меня презрительным взглядом.— Самовольно взял чистый бланк, выписал генералу Янковскому напоминание о неуплате за учебу и отнес на квартиру. Вчера генеральша устроила мне такой тарарам, что хоть из школы убегай! Ну, как пан профессор расценивает это?

— Возможно, кавалер ошибся...— стал заступаться за меня преподаватель. Но, увидев синяки, сразу смолк, отступил от меня как можно дальше и растерянно спросил:

— А он заплатил?

Преподаватель, как видно, все еще не понимал, в чем дело.

Секретарь промолчал. Только еще раз смерил меня взглядом, постучал себе пальцем по лбу и пожал плечами.

Физик вышел. Пропало, так и не посмотрю в телескоп.

Кунцевич долго не мог решить, что со мной делать. То брался за ручку, то бросал ее и, опершись на спинку стула, рассматривал меня.

Хотя на этом средних лет мужчине и был хороший костюм, модный галстук, а из рукавов торчали крахмальные твердые манжеты с запонками, но лицо у него крестьянское, словно его только вот сейчас побрили, умыли, одели и посадили за стол с бумагами.

Если бы рассказать правду этому весьма добросовестному чиновнику, он, может быть, все бы уладил. Но мог ли я признаться?

— Ну, так зачем же ты это сделал, я спрашиваю тебя в последний раз. А? Зачем тебе понадобилось подделывать мою подпись и читать госпоже Янковской нотации? Что это за блажь?

Я упорно молчал.

— Ну, знаешь, разных приходилось мне встречать типов,— вздохнул он,— но такого экземпляра Вильно еще не видывало...

Кунцевич некоторое время нерешительно вертел в руках бумажку. Желая принять справедливое решение, он колебался. Видимо, еще симпатизировал мне и сейчас, стараясь внушить себе, что для расправы со мной фактов пока недостаточно, искал последний убедительный довод,

который мог бы склонить чашу весов в ту или другую сторону.

Озабоченно взглянув на меня и еще раз внимательно осмотрев мои «фонари», Кунцевич заговорил уже более уверенно:

— Еще и подрался? А завтра что выкинешь?.. Нам доверили своих детей лучшие семьи города, таких типов подпускать к ним нельзя. Здесь лицей. Разбойники нам не нужны...

Я молчал.

— Ну что ж, — вздохнул он с сожалением и уже официально сообщил: — За подделку документов тебя увольняем...

— Ну и увольняйте! Очень мне нужна ваша должность... — проговорил я упрямо, а у самого мороз пробежал по коже.

— Вижу, что не нужна, эх! А еще сам рекомендовал тебя директору! Вот и заступись за своих, они тебе потом отплатят!

Было такое впечатление, будто из-под меня выбирали грунт. И если я в эти секунды ничего не предприму, — провалюсь в яму.

— Не отп!.. Кхе!.. Не потр!.. — чтобы отвести его от рокового решения, начал я издавать какие-то звуки.

— Что, что-о? — насторожился Кунцевич.

— Ничего... — проглотил я комок.

— Все. Можешь идти.

Тащился из канцелярии, уже не пряча лица. Прямо на меня весело бежали две лицеистки в форменных передничках из темно-синего блестящего шелка. Одна из них была Данута! Пробегаю мимо, она меня толкнула, но даже не заметила этого.

— Яня-а-а, все равно догоню-у! — услышал я.

— Ха-ха-ха-ха!

Беззаботные голоса паненок показались пустыми и неуместными.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Генеральский дом мне опротивел. Стало бросаться в глаза то, чего раньше не замечал. Только теперь рассмотрел, что водосточная труба на доме висит криво. За домом

стояла будка, которую смастерили для летнего душа. Железная бочка, торчавшая сверху, поржавела, стала отвратительно рыжей.

Я привык уже, что время мое занято полностью. Два месяца жил по строгому расписанию: разносил письма, потом возвращался домой, варил обед, готовил уроки, спешил на вечерние занятия и каждую минуту все думал о Данусе. Теперь весь день не знал, что с собой поделать. И последние остатки интереса к учебе пропали. Начал ходить по городу, искать работу.

Отец мой был не из малоземельных. За ним числилось много гектаров, но в основном голого торфяника и бесплодных песков, поросших тощим сосняком и можжевельником. На отцовскую помощь я и не рассчитывал. Нашу землю как ни обрабатывай, как ни унавоживай, а больше, чем на прокормление одной семьи, не возьмешь. Когда был лишний пуд ржи, десяток яиц или откармливали кабана, покупали керосин, одежду, платили налог.

Однако родители каждую неделю выкраивали для меня продуктовую посылку. Таким образом, голодным я не был. Как-то раз в мешочке с крупой я обнаружил пять злотых, в другой — в буханке хлеба лежало десять злотых. Но этого хватало на мелкие расходы: соль, сахар, баню, почтовые марки...

Служа посыльным, я не платил за учебу. Теперь нужно было ежемесячно подрабатывать, чтобы внести пятнадцать злотых за курсы. Однако работы все никак не попадалось.

Суткус обещал поговорить обо мне в ресторане. Я уже старался подавить в себе отвращение к обедкам и к грязной посуде — готовился в официанты. Утешал себя тем, что на столах в ресторане всегда много свежих газет, даже зарубежных. Туда приходят люди и побогаче генеральской дочки. Вспомнился американский фильм, где миллионерша влюбляется в своего лакея, и моя фантазия создала подобную же историю, героем которой был я сам. Тогда-то уж я отомщу паненочке! Лопнет от злости, когда узнает! Начнет за мной бегать, попытается ближе познакомиться, да — поздно!

2

Но не было надобности в моей жертве. Возвратился с работы огорченный Альбинас и, не ожидая расспросов, стал рассказывать:

— Подал сегодня одной стерве чай и пошел к другим столикам. Слышу, зовет меня. «В чем дело?» Оказывается, на дне стакана — сахар. Мои нервы не выдержали, говорю: «Возьмите ложечку и размешайте сами, не велика беда!» А она подняла на весь ресторан скандал. И, понимаешь ли, говорить о тебе не было подходящего момента, — самого чуть не поперли!..

— Понимаю...

— И знаешь, Ваня, ты туда не подойдешь из-за своего роста. Я только теперь вспомнил, что мой хозяин подбирает в официанты одних только брюнетов, а ростом не ниже ста семидесяти пяти и не выше ста семидесяти семи сантиметров. Жена его вычитала, что такой порядок в каком-то парижском ресторане... Это она велела нам отрастить усы... Ничего, найдешь что-нибудь, потерпи... Возьми-ка вот лучше газету. Тут есть объявления, изучи...

Категорически на этот раз отказался Суткус бежать в СССР. Нанять проводника нам было не на что, а переходить границу на свой риск — опасно. Мы оба были допризывниками, если поймают, попадешь под трибунал.

Альбинас был прав. Но я этого тогда не понял, крепко обиделся, обозвав друга предателем, и решил больше с ним не разговаривать, а дальше действовать самому.

Навырезал из газет объявлений о работе и стал ходить по указанным адресам. Теперь о генеральской дочке нечего было и думать.

Но, как на зло, Дануся не шла из головы. Девушка словно привязала меня к себе невидимой веревочкой. Чтобы отогнать мысли о ней, я старался изобразить ее в черном свете.

Вспомнил свою хату — с поросшей мохом соломенной крышей, с крапивой у забора, с топором в колоде среди двора. Мать там доживала свой век, а так и не научилась употреблять слово «километр». Когда незнакомые люди спрашивали о расстоянии до какой-нибудь деревни, она говорила «близко», «далеко» и, в зависимости от расстояния, еще добавляла «совсем», «очень». А если нужно было сказать, например, в каком году случилось то-то и то-то, говорила:

«Это было за неделю до пилипповки, в том годе, как пьяного Сабесева Езика черти в болоте утопили...»

«Это случилось на великой пост, летошний год, когда на свиней мор напал, а Концевая Верка выходила замуж...»

И, разжалобив себя таким образом, я вспоминал Данусин дом.

Эх, если бы произошла революция, прогнали бы панов, в доме генерала оборудовали бы библиотеку или отдали его, например, белорусскому музею. А то еще — подселили бы к нему и нас с Суткусом... Генеральская семья и их дочка заговорили бы со мной иначе.

Только кто-то внутри меня подсказывал, что революция тут ни при чем, что моя хата и моя мать ни при чем тоже. Ни при чем и Дануся, потому что родителей себе не выбирают...

Так прошло несколько дней.

3

Как на зло, я стал часто встречать Данусю с Брониславом.

Вот и теперь, возвращаясь с очередных поисков работы, я встретил князя в сопровождении группы гимназисток. После драки на университетском дворе я Любецкого встречал неоднократно. Он, как и подобает шляхетному пану, мне не мстил, даже не показывал вида, что между нами что-то произошло. Это мне нравилось.

У Любецкого была подвязана черным платочком рука, забинтована голова, а лицо оклеено пластырем. Все это он с деланной скромностью выставял напоказ, а паненки одаривали его шумным восторгом, словно героя, который возвратился из-под Аустерлица или из-под Рацлавиц.

— Выбегаю на площадку, а их — сотни! — с подъемом рассказывал Любецкий лицейским. — Я первого кацапа с левой — раз! Тогда правым хуком — нокаут! Пока падал — ему еще — раз! раз! раз! Затем вскочил в самую гущу и — налево! направо!.. Уложил их там, попомнят меня большевики-и!..

— О-ей! Пан Бронислав громил их, как Володыевский татар на Украине!.. — со смехом заметила Данута.

Как всегда, Дануся меня не заметила.

«Небось не признается ей, кто его так разрисовал!..»

Очень хотелось, чтобы паненка узнала, что именно я разделал ее принца.

«Вот тебе твоя Данута! А ты думал: она лучше других. И когда уже ты станешь самостоятельным человеком? Недоносок!.. Сама, должно быть, такая же никчемная, как и этот бездарный франт!.. Зато дал ему, пусть знает наших!»

Но самоутешение это — не очень утешало.

Я понял, что все мои старания выбросить из сердца

Данусю напрасны. Ругал себя, опять придумывал причину, чтобы зайти в генеральский дом, мысленно продолжал разговор с Данусей и ее матерью. И сколько в моей голове родилось вариантов того, что могло случиться, если б я тогда вел себя иначе. Что ж, задним умом я всегда был умен.

Ясно, Дануся не хочет со мной знакомиться не потому, что дочь генерала. Не выдуманные же истории в книжках, когда дочки богатых родителей влюблялись в простых хлопцев.

Грызло самолюбие, что мною пренебрегают. Я сердился на себя:

«Вот всегда у тебя не все слава богу. Неудачник!»

Вспомнилось детство. Как-то ворона утащила цыплят. Мать пошла в лес, нашла воронье гнездо на сосне, позвала нас. По гладкому, как заводская труба, стволу я не смог подняться и на метр, а бедный сирота, деревенский пастух Мишка, снял пояс, привязал его к босым ногам и, как обезьяна, ловко полез вверх. Мать посмотрела на меня с укором...

У нас на курсах каждый парень — даже самый западный — имеет девушку, ходит с ней в кино, готовит вместе уроки, только я один гляжу на девчат волком...

В моем возрасте отец целую семью кормил, хату поставил, другие люди научные открытия успели сделать, на войне прославились, а я? Сажу у родителей на шею!..

Разминувшись с Любецким и компанией, я бездумно остановился у самого большого в Вильно книжного магазина. Постепенно до меня дошел смысл объявления, красовавшегося за огромным стеклом витрины:

«Внимание, граждане! Читайте американского Шолохова — Роберта Кентса. Вышла в свет его книжка «Лесные люди!»

Но теперь ни это объявление, ни напоминание о библиотеке с очередью за «Тихим Доном», не тронули меня.

Забрел в краеведческий музей, где был частым гостем. Знакомый работник музея как раз проверил рыцарские латы, кольчуги и протирал их машинным маслом.

— Позвольте примерить! — обратился я к нему.

— Пожалуйста!

Я снял пиджак и стал натягивать на себя железяки. Что за черт, не лезет!

— Напрасно! — рассмеялся работник музея. — Вам ни один комплект не подойдет!

И верно. Перепробовал я с десятков панцырей, коль-

чуг — все малы. И я сделал интересное заключение: средневековые рыцари совсем не такие богатыри, как мы себе представляем.

— Они даже были меньше современных людей среднего роста! — пояснили мне.

Но и эта новость заняла меня только на минуту. Выйдя на улицу, сразу обо всем забыл. На душе было по-прежнему мутно, и таким ненавистным стал город, что я не знал, куда деваться!

4

Едва, охваченный невеселыми мыслями, отошел от музея, как меня окликнули

— Здорово, верзила!

Я вздрогнул. Передо мной стоял Яцкевич — знакомый студент.

— Ну, как твоя переносица?

— Зажила... — недовольный тем, что мне помешали остаться наедине со своими мыслями, проворчал я.

— Э-ге, уже почти ничего не видно! Остальное до свадьбы заживет, правда?

Студент говорил со мной тоном человека, перед которым хоть и славный деревенский парень, но все же большей недотепа в сравнении с ним, городским тертым калачом.

— Да что с того, что заживает...

— А чем ты недоволен?

С памятного вечера возле университета человек этот стал для меня авторитетом и, пожалуй, единственной близкой во всем Вильно душой, не считая Суткуса. Мне как-то стало легче, и я готов был разоткровенничаться.

— За учебу нужно платить, а нечем. Работу ищу, — и тут я сразу почувствовал, что всей правды рассказать не сумею.

— Гм! А как же ты жил до сих пор? Гм, а теперь не можешь. В таком случае сходи на Немецкую улицу. Там есть для таких благотворительное общество, — бросил он не то в шутку, не то всерьез.

Студент, должно быть, хотел видеть меня сильным, и я его разочаровал. Он вдруг потерял ко мне интерес и думал о чем-то своем.

— Не горюй! Будет и на нашей улице праздник, увидишь!

— Сам знаю, что будет, только — когда?!

Студент вдруг оживился:

— А ты парень — хват! Только прикидываешься овечкой! Даже револьвер имеешь! И кто бы подумал, а? Такой тихоня, да еще из глухой деревни...

И в ответ на мое удивление добавил многозначительно:

— Как видишь, знаем даже и об этом! Хорошо! Когда-нибудь и ты со своей пушкой нам понадобишься... Придешь?

— Могу...

— Буду иметь в виду. А револьвер храни. Только будь осторожен, а не то — тюрьма! И не падай духом. Будь здоров!

— Бывайте!

— Да! — вдруг вспомнил он и задержался. — Ты знаешь, кто мне рассказал про револьвер?

— Понятия не имею...

— Студентка, которая тебя спасала. Кстати, это она венчалась в тюрьме, читал в газетах?

— Не только читал, а и был тогда на Лукишках! Так это она? — вырвалось у меня.

— Ну, я пошел, салют!

Студент исчез, а я еще несколько минут стоял разочарованный: значит, это была тогда та самая героиня? Такая обыкновенная?! Гм...

Но вскоре забыл я и об этом случае.

«Расплакался, как баба, — стал я себя ругать, — шел перед кем... — понемногу ко мне возвращалась уверенность. — И чего ты с каждым ведешь себя так, словно он бог, а ты — ничто?»

Я зашагал дальше более решительно.

Вспомнил, как час назад какой-то прохожий наступил мне на ногу, и не он у меня, а я у него попросил прощения. Захотелось разыскать того человека и поругаться.

Вспомнил слова студента про благотворительное общество. А правда, почему бы не сходить на Немецкую? Обязаны помочь! Не возвращаться же домой!

5

На сжатой сырыми средневековыми стенами узенькой улочке, где когда-то поймали Кастуся Калиновского, я отыскал вывеску с надписью:

«Благотворительное общество женщин-католичек».

Когда вошел, какая-то старая пани спросила у меня, кто я и что мне нужно.

— Где-нибудь заработать пятнадцать злотых в месяц, чтобы заплатить за учебу... — напустив на себя виноватый и покорный вид, признался я.

— А ты — католик?

Я понял, что для фанатичной кликуши вопрос этот принципиален.

— Ну... — не то подтвердил, не то спросил я, ибо сам был из православных.

Я старухе явно понравился. Чтобы не разочаровываться, уточнять она не стала.

— Подумаем, детка, и что-нибудь сделаем, — пани записала мою фамилию.

Все время называя меня деткой, старуха пригласила обедать.

— Спасибо, — промямлил я, уставясь в пол.

Вскоре я очутился в мрачном зале с низким потолком. Маленькие ниши-оконца были занавешаны марлей, окрашенной в линялый зеленый цвет. От сырости на занавесках выступили белые пятна. В зале уже сидели пожилые неопрятно одетые мужчины. На столе перед каждым стояла проволочная корзиночка с хлебом и белая миска. Бедняги держались чинно, с напускной скромностью и не сводили глаз с посуды, от которых сильно бил в нос запах горячего фасолевого супа с перцем и лавровым листом.

Пани, которая, как оказалось, была председательницей общества, указала мне место за столом, велела всем встать, забубнила:

— Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя твое, да придет царствие твое...

Люди повторяли за ней хором. Ха, точно та же молитва, что у православных?! Тогда какого черта они не поделят между собой?!

Удивленный открытием, я терпеливо стоял и думал: дай только работу, и больше меня не увидишь!

— Вот, пожалуйста, детка, адрес члена общества, пани Курпёвой, — сказала мне старуха после обеда. — Ей нужен работник на несколько часов. За это у нас платят злотый.

Я отправился разыскивать пани Курпёву. Что мне придется делать? Пилить дрова, носить с рынка картошку? Но не угадал.

Бабуле вздумалось перебираться на новую квартиру. Я должен был перевезти на двуколке старухины вещи. А всего-то вещей было — ведро с посудой, две картонки и сверток бумаг. Бумагу я снимал со стен: карту Польши

1792 года, плакат фирмы «Юнион», рекламировавший бульон в концентрате, и картинку: святой Иосиф с коровами. Все грязное, потемневшее.

Пока я с отвращением укладывал вещи, пани Курпёва держала на поводке японского пинчера и часто дергала меня нелепыми советами. Но я терпел, так как испытывал удовольствие от неожиданно легкого заработка. «И что бабе за польза от меня, если любой извозчик за провоз ее со всем барахлом и с собакой взял бы каких-нибудь пятьдесят грошей!» — удивился я.

Укладывая коробок на двуколку, я вдруг услышал, как старуха хвалится соседке:

— Ладный кавалер, а? Над ним, пани Василевская, наше общество взяло опеку. Он несколько дней куска хлеба во рту не имел! Пришел к нам в столовую, пани Василевская, да так ел, так ел, что мы не могли надивиться!

— Езус Христус, чего только не бывает на свете!

— Як бога кохам! Три тарелки супу, бедняжка, опустишил!

— Матка боска! Я всегда говорила о вашем добром сердце.

— Записывайтесь, пани, в наше общество!

— Нужно подумать...

Тьфу, черт бы вас побрал! Они даже подсчитали, сколько я съел! Старухи просто играют в благотворительность, и им нужно, чтобы все об этом знали.

Так вот почему в бесплатной столовой не было молодых мужчин! Не всякому охота потакать впавшим в детство старым бабам! Ну и влип же я в историю! Яцкевич пошутил, советуя сходить на Немецкую улицу.

Вся прелесть легко заработанного злого рассеялась. Но теперь я не терял надежды. Какой-то заряд, полученный пару дней тому назад, давал уверенность: быть того не может, работу найду.

6

— Есть ли у вас немного свободного времени? — остановил меня на улице сотрудник краеведческого музея Луцевич, когда я возвращался от Курпёвой.

— О, чего-чего, а этого добра достаточно. Могу им торговать!

— Нужны вы мне до зарезу. Я веду опыты, да нет уже той силы, что у вас, молодого. Помогите, буду очень благодарен.

В музее я — частый гость, отказываться было неудобно. Впрочем, с Луцевичем и общаться интересно:

— А что надо?

Я уже говорил, что белорусский краеведческий музей в Вильно был крайне беден. От государства средств не получал, существовал на энтузиазме частных лиц. Фактически содержал его мелкий помещик Луцевич, который вложил в это дело все состояние. Сам Луцевич жил как попало, да еще вел в музее научную работу, забиравшую у него последние гроши. Теперь он загорелся одной идеей.

В ученом мире в то время существовала гипотеза, что люди каменного века изготавливали орудия труда очень медленно. Считали, что, например, топор наш предок тесал из гранита целых полгода, костяной нож — несколько месяцев. Такие взгляды Луцевич находил ошибочными и собирался это доказать.

Идея захватила и меня. Я сразу же начал фантазировать, как сделаю научное открытие и стану знаменитостью. С камнем имел дело — высекали с отцом жернова и за один день управились. Не на много больше времени займет и эта работа.

Утром следующего дня мы с Луцевичем выбрали кусок гранита и полую кость. Костяную трубочку я сжал в ладонях, приставил один ее конец к камню и стал вертеть, а Луцевич сыпал мне на камень песок и лил воду.

Без особых усилий за три дня просверлили в камне дырку для топорика.

— Ты себе представляешь, что натворил? Представляешь? — тихонько, словно боясь, чтобы нас кто-нибудь не подслушал, радовался старик.

— Всего-навсего дырку в камне! — смеялся я, довольный.

А через три дня камню с дыркой я придал вид топора — просто обточил по бокам, и все. Потом взялся за топорик. На него затратил целых два дня. Топорик никак не хотел держаться. Стоило взмахнуть изо всех сил, как топор срывался. Каким образом наши предки привязывали ручку к топору, — великая тайна! Я дома сплел немало корзин, и ивовые прутья в моих пальцах были послушны. Но наши предки, видимо, умели вязать их особым узлом.

Старик принес от хирурга бычьи жилы:

— Попробуй, Иване, их! Вполне возможно, такие жилы тогда выделявали...

Я заклинил топорик косточками, залил смолой, привязал сухими жилами.

Получилось!!

— Золотые у тебя руки, сынок! — чуть не расцеловал меня Луцевич, сравнивая мой топор с тем, который лежал в экспозиции. — Ты и сам не понимаешь, что сделал!

Сам-то я даже очень понимал. Теперь в каждом учебнике истории придется указывать, что изготовить каменное орудие — дело нелегкое, но все же не такое трудное, как считали раньше.

— Странно, что никто из ученых не догадался проверить на практике простую вещь?! — дивился я и ловил себя на том, что стараюсь представить лица людей, когда они узнают о моем открытии.

— Великие открытия всегда просты! — поддавал жару старик, протирая старомодное шербатое пенсне.

Еще я сделал для Луцевича костяной нож. Потом мы отправились в лес, и там, выбрав дерево, я стал его рубить самодельным топором. Не советую никому заниматься чем-либо подобным. Это был труд дятла. С меня вытекло семь потов, и каждой своей клеточкой я чувствовал, что означает технический прогресс.

Результаты эксперимента радовали. Однако на одной радости далеко не уедешь. Луцевич не имел возможности опубликовать статью в ближайшее время, и пользы от моей работы пока не было. Парадокс! Такой пустяк, как развод артистки Лясоцкой с адвокатом Руцелем напечатала каждая из тринадцати виленских газет — польские и белорусские, еврейские и литовские, русская и немецкая, но ни одна не проявила интереса к информации Луцевича.

Ну и порядки на белом свете!

Натежившись новизной факта, через две недели я бросил музей и опять стал искать работу, а поглядывая на коробку бетонного здания за проволоочной сеткой, все чего-то ждал и ждал.

7

Слоняясь по улицам, в середине ноября я увидел объявление: «Виленская спортивная школа записывает в секции футбола, тенниса, бокса...»

Дальше шел еще длинный список разных видов спорта, но глаза мои остановились на заманчивом слове «БОКС», полном мужества и притягательной силы.

А почему бы мне не стать боксером?!

Я напряг мускулы и ощутил в себе огромную силу. Кажется, раскинь я руки и вертись как следует — про-

хожие полетят во все стороны, как яблоки, сбитые с веток вихрем. Недаром Луцевич, здороваясь со мной за руку, раньше приседал и цыкал, боясь, чтобы я не раздавил ему пальцы.

Объявление висело на высоком заборе из толстых досок. Я оглянулся, нет ли кого поблизости, и саданул по забору кулаком — раз! другой! третий! Дощатая стена зашаталась, за ней тревожно загалдели индюки, а с крыши вспорхнули голуби.

Действительно, как это мне не пришло в голову раньше?! Нет ничего проще этой профессии, а я — прирожденный боксер!!

Через минуту я уже представлял себя героем ринга, известным всему Вильно. В пять минут свалил своего противника на брезент — и тогда генеральская дочка заговорит со мной иначе, ого! Всем известно, как паненки любят хороших спортсменов!

Я и сам не заметил, как очутился в спортивной школе и у меня уже измеряли объем легких.

— О, Езус коханы! Пане Левандовский, взгляните, — целых семь литров! — с неподдельным удивлением воскликнула лаборантка, указывая тренеру на шкалу прибора. — Такого у нас еще никогда не бывало, як бога кохам!

Я виновато подал барышне конец шланга, через который вдувал воздух.

— Ничего себе! — еле сдерживая восторг, промолвил и тренер, жадно ощупывая мои ноги, грудь, руки и шею.

— А ты серьезно решил стать боксером? — за внешне безразличным тоном тренера я различил нотки симпатии, доброжелательности и восхищения.

— Серьезно...

— А тебе известно, что бокс — прежде всего тяжелый труд на тренировках?

— К тяжелому труду мне не привыкать.

— Гм. Верю. В таком случае — приходи заниматься!

— Когда?

— А сегодня вечером!

В тот же вечер состоялось мое крещение. Его стоит описать.

8

Тапочек и майки у меня не было. Выйти на ринг пришлось в одних трусах и в носках.

— Болек, принимай новенького! — крикнул тренер ка-

кому-то рыжему в полной боксерской форме.

Тот только глуповато ухмыльнулся.

— Ну, надевай, Бартошевич,— подал тренер перчатки.— Посмотрим, что у тебя получится. Главный наш девиз — не трусить.

— Ладно,— послушно стал я натягивать на руки неуклюжие кожаные перчатки. Хотел зубами зашнуровать, но от того, что на меня смотрели, растерялся и забыл, что нужно делать.

— Вот, правильно! Зачем завязывать? И так получишь, еле унесешь! — крикнул кто-то.

Я растерялся окончательно: чего они от меня хотят? Желая угодить публике, я снова ухватился зубами за шнурки, но тут же оставил.

Вдоль каната выстроились парни, пришедшие на тренировку. Их заговорщицкие взгляды, мои необычные рукавицы и выставленное всем напоказ обнаженное тело окончательно сбили меня с панталыку и лишили последней уверенности. Чего они на меня так смотрят? Я же им ничего плохого не сделал!..

Все выглядело так, словно я тут — главное лицо какой-то издевательской комедии, которую специально подготавливали, и она вот-вот начнется. Это отвлекало мое внимание, и я плохо рассмотрел противника, хотя и видел, что именно на меня движется рыжее существо: неуклюжее, с узким лбом и огненным ежиком волос.

В самом ли деле кто-то шел на меня или показалось?

— Бокс! — я тогда и не понял, что значит эта команда тренера.

Не успел я и шагу ступить, как вдруг в голове помутилось, поплыли в глазах круги, какая-то могучая сила обрушилась на меня, и я опомнился на брезенте. Сильно болела скула. Только теперь дошло — это узколобый так меня саданул.

— Так я еще не... — пожаловался я с удивлением и обидой, поднимаясь с брезента.

— Ха, слышали?! Он «еще не»! — повторяли окружающие с издевательским хохотом.

В затуманенной голове стало расти обидное сознание, что я доставляю развлечение этим зубоскалам. Но почему, что я им плохого сделал?!

Потрясенный открытием, начал оглядываться. Серьезным оставался только тренер. Но и он словно не замечал моего взгляда и безжалостно бросил:

— Ну, чего стали? Пошли, бокс!

Опять передо мной вырос узколобый. Я инстинктивно заслонил кулаком лицо, и локти мои машинально приподнялись. Боксер это использовал и больно двинул меня в грудь. От падения на этот раз спасли канаты.

Пока я, ошеломленный, висел на веревках, узколобый с наслаждением бил меня и бил.

— Подождите! — вырвалось у меня не то просьба, не то возмущение.

Вокруг загоготали еще сильнее. Зрители впали в какой-то зверский экстаз.

— Разрисуй его, Рыжий! Так ему!

— Давай, Рыжий, давай!

— Захотел бокса? Получай!

— Пусть не суется в другой раз! — летели со всех сторон злорадные выкрики.

На такой открытый цинизм способны были только мешанские бездельники, воспитанные в городских трущобах без каких бы то ни было моральных основ.

— А-га-а, попался? — радовались они.

Только теперь до меня окончательно дошло, что весь спектакль действительно подготовлен, а я для публики — кролик, которого заманили в клетку льва — свирепого, бессердечного и кровожадного.

В какой-то миг я осознал всю наивность своего намерения посредством бокса сделаться героем. Стало обидно, что мои мечты никогда не сбудутся, что все останется прежним. Но эти мысли узколобый тотчас же из меня вышиб.

— Рыжий, не отпускай кацапа! — кричали в зале.

— Держи его, не давай убежать! — крики теперь доходили до меня, как сквозь сон.

Боксер все не давал мне передохнуть. Едва только я поднимался, как раздавалась команда — бокс! И я, как сноп, валился на брезент, вызывая новый взрыв веселья. Я ослеп на один глаз. Потер его рукой и увидел на руке кровь. Мельком глянул себе на грудь. Она была в красных пятнах: узколобый размазал мою кровь по всему телу. Соленый привкус ее почувствовал во рту.

«Убьет!! Мало ли описывалось случаев, когда вот так на ринге погибали даже опытные боксеры?!»

Я почувствовал дыхание смерти. И ощутил, как прекрасна жизнь. Ждать помощи неоткуда, нужно спасаться самому. Меня охватила бешеная, отчаянная злоба загнанного зверя, готового на все.

Когда боксер, не помню, в который раз, швырнул меня

на канаты, я оттолкнул его коленом, затем изо всей силы ударил ногой ниже живота.

— Ах! — только ужаснулись в зале, и наступила мертвая тишина.

— М-мм! — дико застонал мой противник.

Его счастье, что на ногах у меня были только шерстяные носки, присланные мамой на зиму.

Когда он схватился за пах, я со злостью сорвал перчатки, отшвырнул их, и по-деревенски, наотмашь, изо всех сил пррезал ему кулаком в скулу. Оглушенный боксер повис на канатах, и веревки закричали так, словно кто-то швырнул на них куль муки. Я вклепил Рыжему оплеуху с левой, а потом с правой руки и, рассвирепев, стал молотить куда попало.

— Вот тебе, получай! На, гад! На! На! Вот тебе, держи! — услышал я в тишине свой разъяренный голос и почувствовал дикое наслаждение от того, что мои руки и ноги месят живое ненавистное тело.

— Бартошевич, с ума сошел? Отойди от него! — закричал тренер и нырнул к нам под канаты.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

У тренера Левандовского был свой прием. Зеленому новичку он надевал перчатки и выпускал на ринг с боксером-перворазрядником. Тот беспощадно избивал новенького. Если парень в следующий раз приходил на тренировку, Левандовский считал, что с таким человеком стоит заниматься, и уже тогда зачислял в секцию.

Такую же штуку тренер думал разыграть и со мной. Но я ему поломал весь порядок экзамена. Рыжего пришлось отправить в машине с красными крестами в больницу.

После злополучного поединка я обиделся и решил больше в спортивной школе не показываться. Паненка того не стоит, чтобы из-за нее терпеть столько издевательств. А Рыжий будет помнить меня, пока жив, и закажет другим!

Через пару дней у хирурга я встретил Левандовского.

— Бартошевич, догорой, что ты тут делаешь? — искренне, как брату, обрадовался мне тренер.

Неподдельный его тон меня обезоружил, и я сразу же забыл все обиды. Показывая правую ногу, обутую в галошу, признался:

— Палец распух!

— Так едем же к нам в школу! Там тебя осмотрят бесплатно! А ну, покажи!.. Фь-уйть, как разнесло? А что? Голыми фалангами так вжарить — они же для этого природой не сконструированы!.. Могло и хуже быть. Но и ты дал рыжему капралу! Счастье, что был босиком, а то бы ему капут! Давай, давай к нам, откуда у тебя столько гордости? Не из князьев!..

Оказывается, узколобый — армеец.

Недоброжелательность тренера к Рыжему меня подкупила.

Левандовский нанял извозчика, помог мне влезть в фаэтон, и мы отправились.

В спортивной школе медсестра поставила на место вывихнутый палец, чем-то натерла и отпустила меня. Через неделю я явился на первую тренировку.

2

Левандовского я заметил давно. Еще до поступления в спортивную школу не раз, встретив на улице, восхищался его фигурой. Бросались в глаза его энергичная походка и манеры.

Ему было под пятьдесят. Но этот человек, как сам мне позднее признался, не знал вкуса спиртного, не курил и отлично сохранил свое сердце и легкие. Его всегдашний девиз: воздух, вода, хорошее питание и постоянная деятельность. Он любил труд, был жадно любопытен к жизни, стремился быть полезным людям.

— Человек до тех пор молод, пока сам этого хочет! — поучал нас. — Помните: молодость человека в его руках! Не глуши в себе бодрости, она запрограммирована в твоём организме, заложена в хромосомах; помогай сам себе проявлять свои способности!

Или:

— Тот не мужчина, кто боится сквозняка. Открой, открой окно, да пошире!

Левандовский был всегда чисто выбрит, подтянут, сдержан, жизнерадостен, одевался в светлые клетчатые, широкие в плечах, пиджаки, носил белую кепку. Это его молодило.

Приятно было глядеть на такого человека. Он и сам это чувствовал.

Таким же аккуратным он был и на работе.

Между прочим, польские спортсмены в то время сла-

вились большими достижениями. Поляки даже положили начало некоторым мировым видам спорта, например, стрельбе из лука.

Были в Польше и отличные боксеры, уступавшие только американцам и немцам. И все самое лучшее из польской боксерской школы вообрал в себя наш тренер. В городе его знали, как знают известного врача, адвоката или видного инженера.

Нас в группе было двадцать человек. Во время тренировки Левандовский придерживался неписаного правила: хочешь чтобы тебя слушали, много не говори и не кричи. Команду подавай скупое, короткое.

— Время! — бросил он, и мы, как механизмы, начинали бегать.

Упражнения выполняли старательно, зная, что никакие финты не пройдут незамеченными.

— Давай! Давай! — подгоняем шепотом друг друга.

— Время! — снова звучит команда, и мы молча начинаем лезть на шведскую стенку, на канат, соответствующую программе, которую знали назубок.

Боксером нужно родиться. Левандовский не был педантом, первым делом искал «гениальные заготовки», как он выражался. Тренируя, воспитывал дисциплину, помогал осваиваться с рингом, а чтобы дать нагрузку нашим мускулам, возил нас даже за город. Там заставлял лазать на деревья, бегать, держа на плечах товарища.

— У нас не место тем, у кого голова — в небе, а ноги — в постели! — говаривал он, бывало.

И это было правдой.

Кулачный спорт труден, его нельзя сравнивать ни с каким другим, и наиболее напряженная тренировка — у боксеров. И мы ежедневно работали на совесть. Свободных от занятий на курсах вечеров у меня было только два в неделю, если не считать воскресенья, и поэтому четыре раза в неделю я приходил тренироваться днем.

3

Боксерство давалось мне нелегко. Не хватало ловкости, свойственной городским парням. Никак не ладилось со скакалкой. Этой обычной детской игре я долго не мог научиться. Не было и быстроты реакции, чувства дистанции... Но я брал другим.

Часто в городском парке люди аплодируют тому, кто обеими руками выжмет на манометре девяносто килограм-

мов. Однако нередко аплодисменты эти достаются оранжерейному рекордсмену, способному повторить фокус только два-три раза.

Мне доводилось корчевать лес, колоть на дрова толстые бревна, валить сосны, тянуть продольную пилу; в этих случаях нужно было напрягаться куда больше, чем любителю в парке, причем с утра и до вечера, ежедневно.

У меня была закалка, а это не то же самое, что уметь чисто выполнить упражнение на турнике или на брусьях. Я был вынослив, как крестьянская лошадь, что теперь вырубало.

На тренировке сердце мое быстро набирало нужный темп, и я чувствовал себя свободно как раз в тот момент, когда другие уже выдыхались и выглядели, как мокрые курицы.

— Тяжеловато выстоять на ринге пятнадцать раундов! — жаловались такие. — И зачем столько? На практике понадобится всего пять-шесть!

— Если одолеешь пятнадцать, то уж пять выдержишь на одной ноге! — неуклонно проводил свою тактику Левандовский.

«Ага, вам уже трудно! А помните, как смеялись надо мной?»

Мне жаловаться не приходилось. Благодаря выносливости я опережал одного за другим.

Месяца через два у меня уже появились приметы осанки, отличающей штангистов, лыжников и боксеров. Я и не заметил, как те самые люди, что посмеивались надо мной, когда Рыжий меня бил, теперь смотрели на меня с надеждой, даже с каким-то страхом и были счастливы и тем, что я с ними говорю.

— Ну и пары у него в кулаках! — говорили обо мне с восхищением, вкладывая в эти слова некий таинственный смысл. (В 1938 году в Вильно господствовал еще век паровых машин.)

Но, признаться, бокса я не любил. И вообще терпеть не мог драк, скандалов, держался от них подальше, а если видел кровь, то меня прошибало холодным потом. Мать, бывало, не допросится, чтобы зарезал курицу.

Но я занялся боксом не по призванию, и внимание моих коллег по спортивной школе было мне безразличным.

А еще я не любил людей, которые от враждебности и пренебрежения быстро переходят к любви: они ведь могут так же скоро стать прежними, стоит только споткнуться.

Левандовский «выжимал», как он любил говорить, из

меня всё возможное и временами делал это безжалостно. Его мудреные упражнения я выполнял с диким упорством. Все ожидали от меня чего-то необычного.

В середине января я начал выходить на ринг, и порою сердце мое замирало от мысли, что приближается долгожданный день состязаний. Я придумывал способ залучить Данусю на матч. Нужно было только бросить в генеральский почтовый ящик пригласительный билет. Или положить его в конверт, написать адрес лица, фамилию, имя и послать. Так даже лучше, подумает, что от преподавателя физкультуры и будет присутствовать на соревновании боксеров обязательно.

В середине зимы у нас проводили отборочные встречи, и меня допустили к соревнованиям на первенство города.

4

— А, земляк! Сервус! Вид у пана неплохой. Я знаю, пан ходит в спортивную школу! — обратился он ко мне польски.

Почему ты таким штилем заговорил? Кто тебя заставляет и на этот раз кривляться? Я даже оглянулся — вблизи никого.

— Мы тоже занимаемся спортом! — похвалился он.

— Та-ак... — протянул я рассеянно, еще не понимая, кого он имеет в виду под словом «мы».

— Только не боксом, а шпагами. Ходи с князем в клуб корпорантов «Баторий»!

Мы встретились в библиотеке имени Томаша Зана. Я зашел туда, чтобы заглянуть в энциклопедию и узнать, что означает по-гречески или по-латыни слово «данута», ибо большинство католических имен взято из античной мифологии.

— Что пан читает? — поинтересовался Станевский.

— Да так, ничего серьезного... — торопливо захлопнул книжку и покраснел.

— Что пишут пану из дому?

— Усё тое ж. Гэта памалацілі, гэта — не, авёс мышы паелі...

— О! точно так пишут и мне! — упрямо говорил он по-польски.

Какой я тебе пан! Чего ты выпендриваешься, почему не можешь говорить просто!

Несколько минут он тужился еще о чем-то говорить. Напрасно. У нас разговора не получалось. Уже мы на-

столько отошли друг от друга, что и нотации читать ему было неловко.

Мы распрощались. Но его слова запали мне в душу, — Любецкий и шпага?

Я почувствовал зависть и весь насторожился, словно боясь, что Бронислав меня чем-то опередит. Захотелось куда-то бежать, что-то предпринять. А может, Генрик брешет, как делал не раз? Княжеские титулы в Польше давно не в моде. Словом «князь» Станевский явно набивал себе цену. Видимо, и здесь он сочиняет.

Станевский и корпоранты? Даже разговаривать с ним не станут!

Помещичьи сынки из-под Вильно были преимущественно вечными студентами, сидели в университете лет по десяти. В большинстве своем они поступали на факультет права, где можно было полгода бить баклуши. В конце семестра несли профессору свои «матрикулы», и он, не читая фамилий, ставил отметку о том, что студент посещал лекции, хотя тот, возможно, не был ни на одной.

«Золотой молодежи» экзаменов сдавать не хотелось, их переносили из года в год. Нужно было чем-то заняться, как-то убить время, и студенты с этой целью объединялись в корпорации.

Каждая корпорация имела свой клуб-кабак. Дни и ночи корпоранты проводили в беззаботных пьянках и в фанатическом хвастовстве — у кого из них больше «голубой крови». Иногда, по примеру немецких буршей, дрались на шпагах.

В правительственных кругах считали, что корпоранты — носители национальных традиций, им создавали все условия для вольготной и веселенькой жизни, выделяли даже средства. А эти бездельники выдавали за национальные традиции скверные нравы старой шляхты.

Любецкий принадлежал к корпорации баторианцев, ибо посещал их клуб.

5

Шли дни, а я все не мог позабыть о том, что сообщил мне Станевский. Какая-то сила влекла меня в кабак корпорантов. Несколько дней ходил я вокруг «Батория», заглядывал в окна.

— Альбинос, — наконец не выдержал, попросил я друга. — Помоги мне сегодня ночью. Меня попросили разведать кое-что в одном доме, боюсь, одного отлупцуют...

Ни о чем не спрашивай. Тайна. Твое дело стоять на страже, а если понадобится, выручить.

— Можно! — пожал плечами приятель.

Возвратившись с курсов, я поужинал, сунул в карман револьвер и отправился к «Баторию». На сквере, возле кабака, меня уже поджидал Суткус.

— Ну, давай работу. Вот мои руки, вот я сам — делай с нами что хочешь!

— Тут и сиди. Понадобись — крикну! — сказал я и пошел в «Баторий».

В дверях меня встретил бородатый швейцар с золотыми лампасами и посмотрел с такой надменной важностью, что у меня екнуло сердце. Непослушной рукой я протянул ему монетку, да и то только потому, что заранее к этому подготовился.

Какой у меня тогда был, должно быть, жалкий вид!

Но швейцар словно ничего не заметил. Он с ловкостью циркового фокусника перехватил монетку и с той же важностью понес на вешалку мое полупальто. Я осмелел и пошел в зал.

В помещении стоял сплошной стон, воздух был насыщен винными парами, дышалось тяжело. Я не сразу смекнул, что тут происходит. Группа корпорантов орала студенческий гимн «Гаудеамус игитур». Знакомых не было, и я заглянул в другой зал.

Там корпоранты пили, ели, иные просто бродили по залу, то и дело задираясь друг с другом.

В одном месте спаивали какого-то парня. Ему подносили кружки с пивом, парень опрокидывал их одну за другой, ставил пустую посуду на стол, щелкал по ней, и кружка со звоном летела на пол.

— Го-го-го! — гремел дружный хохот.

— Еще неси! — кричал официанту.

— Кому говорят? Неси, хлоп!

У стола валялась груда битого стекла.

Напрасно я старался держаться ближе к дверям и окнам. Некоторые из присутствующих были пьяны до такой степени, что вряд ли кого-нибудь замечали. А для других я был человеком, перед которым можно было порисоваться. Не подавая виду, что замечают чужака, они специально ради меня повышали голос, кривлялись.

Неприятно трезвому смотреть на пьяных, и я поспешно начал искать того, кто меня интересовал.

В конце третьего зала был помост. На нем готовились к бою два студента со шпагами. Тут же со шпагой в руке тор-

чал Любецкий. Я протолкался ближе. Белая, как у барышни, тонкая рука Бронислава неловко держала блестящий железный прут, на конце которого была надетая... пуговичка. Когда студент случайно касался прутом другой шпаги, неприятно звякало, словно шпага была жестяная: это было немного похоже на позвякивание кос.

Все здесь напоминало игру. Куда им с «голубой кровью» да с тонкими руками до настоящего спорта. Им нужны только царапины на лице, чтобы хвастаться перед паненками.

Я выбрался на улицу.

— Знаешь, — соврал я Суткусу, — того типа, как назло, здесь нет. Только Станевского встретил...

— О! р-р-ропуже, где его не встретишь!

— И пускают же его господа?!

— Думаешь, просто так? У него там твердые обязанности — подавать шпаги и цеплять пуговицы на острие, чтобы паны не укололись.

6

Во второй половине января начались внутришкольные встречи боксеров. Я с такой легкостью одолевал своих противников, что они даже не оставляли следа в памяти. И вот настал день встречи с узколобым. Он — единственный, кого я боялся.

— Настоящий горилла! — говорили о нем люди, видевшие его впервые.

— Капрал при своем относительно небольшом росте — сто семьдесят четыре сантиметра — имел широченную грудь — сто тридцать один в окружности! Это была не грудная клетка, а ящик, в котором помещалось не знающее усталости сердце, а тело и мускулы казались железными. И если другим этих качеств приходилось добиваться тренировкой, ему все было дано от природы. Длинные руки армейца били с одинаковой силой — и левая и правая.

Думаете, случайно ни один уличный драчун и задира не стал чемпионом по боксу? На ринге человек как на ладони. На огражденной канатами арене рисовка не поможет — там некуда увильнуть, не за кого спрятаться. На брезенте вас двое: ты и твой противник, и чтобы его победить, нужно надеяться только на самого себя. И по тому, как в тот или иной момент ведет себя боксер, как он владеет собой, можно безошибочно определить характер человека.

В армейце было что-то бездушное, подлое и я бы сказал, зверское. С помощью замедленной киносъемки современным ученым удалось установить, что жаба производит челюстями четыре тысячи жевательных движений в секунду! Это создание может прыгнуть на расстояние, в двадцать раз превышающее длину его тела. Но как бы ни были велики эти цифры, они холодной и бородавчатой жабе нисколько не прибавляют интеллекта и не вызывают у нас симпатии к ней. Точно так же силы и мускулы капрала не поднимали его авторитета в наших глазах. У нас его не считали за человека.

Не любил капрала и тренер.

— И носит же такого земля! — бывало, в глаза ему говорил Левандовский, качая головой. — Скажи, Болек, неужели у тебя, как и у всех нас, также была мать?

Но глаза капрала не выражали ничего.

Ирония судьбы! Он, как и я, вырос в глухой белорусской деревне. Попал в Вильно, в армию, и тут в нем обнаружился талант боксера. Только это ему пошло явно не на пользу. Рыжий сделался выскочкой, эгоистом и за минуту славы не пожалел бы родного брата.

Но были у него и слабые места. Когда-то на ринге капрала сильно стукнули по голове, и у него случилось сотрясение мозга. Вот почему он был неряшлив, туповат, не слишком поворотлив и заикался.

Самое большое наслаждение капрал получал, измываясь над новичками. Он сперва играл с жертвой, как кот с мышью, а потом «расписывал узоры» на физиономиях тех, кто попадал к нему на «обработку».

Я почему-то плохо помню, о чем говорил со мной Рыжий, но никогда не забуду его подлой тактики. Горе тебе, если ты зазеваешься и, не дай бог, споткнешься. В этот момент он не преминет ударить тебя пятипудовой рукавицей. А если судья не замечал, то применял фокусы и похлеще. То будто ненароком ткнет тебя пальцем в глаз, подставит ногу, а сойдешься впритык — жиманет рукой горло, чтоб захватило дух, или выкинет еще что-нибудь, чего и не ожидаешь.

Мало-помалу я научился разгадывать намерения Рыжего, принаровился к его фокусам. Помогали мне в этом несколько большая сила, ловкость, а главное — воля!

— Браво, Бартошевич! — тихонько, чтобы не слышал капрал, подбадривали меня члены секции.

Я их понимал. Все в нашей группе прошли через его руки. Но я не забыл, как они потешались надо мной.

Вероятно, в каждом деле прежде всего нужна простота, честность и вера в себя. Это и определило мое поведение в то время.

Мое упорство и уверенность сбивали противника с панталыку. Чувствуя, что его песенка спета, узколобый намеренно избегал встречи. Распускал про меня сплетни, обзывал «еврейским батраком» — излюбленной кличкой, которую приклеивали своим политическим противникам шовинисты. Он хотел дискредитировать меня и добиться, чтобы я не вышел в финал. Но Левандовский не поддавался на провокации, и капралу не удалось уклониться от встречи — как ни старался.

7

В огромном зале спортивной школы — тьма народа. Помню черную бездну зала, любопытные взгляды, направленные снизу, ослепительный свет юпитеров — нас снимали для кинохроники.

В течение секунд, пока мы приветствовали друг друга, отвечали на вопросы и готовились к встрече, я успел несколько освоиться с аудиторией и даже раза два глянул туда, где сидело больше всего паненок. Мне показалось, что я узнаю пару расширенных ожиданием глаз. Это меня окрылило, и я уверенно шагнул навстречу горилле.

Капрал шел на меня осторожно, весь собранный, словно хотел вцепиться мне в горло зубами. Золотом переливался в электрическом свете его щетинистый ежик, а рыжее тело сверкало, словно осыпанное желтым нафталином. Я ждал узколобого с какой-то тихой радостью.

Ближе, ближе, дубина! Сейчас ты у меня получишь!!

Если не считать какой-то болезненной дрожи и головокружения, я был в хорошей форме.

— Вот это да-а!

— Ну и гиганты!

— Такой если упадет, помост не выдержит! — неслись выкрики из задних рядов; наши соревнования для болельщиков всего лишь развлечение.

Эх, люди, как жаль, что знаете боксеров только с внешней стороны!

— Дзынь! — резко позвучала медь гонга, и мы бросились в атаку.

От секундантов я отказался, они меня только сковывали бы: в этом бою у меня свои намерения, своя цель, сам

буду и побеждать. В непрошеные помощники навязался Левандовский.

— Осторожно, Янек! — бросил снизу тренер. Я отмахнулся локтем.

— Ком-мунист, прок-кля-тый! — прокричал мне в самое ухо капрал, когда мы сошлись вплотную. — Я тебя об-б-бобью, как горькое яб-блок-ко, можешь быть уверен!

Рыжий, видимо, хотел привлечь на свою сторону публику: не безразлично, как к боксеру относятся в зале. Но в задних рядах зрители еще только усаживались, и капрала почти никто не слышал.

— Попробуй, заика! — ответил я ему в тон, наливаясь злостью.

И легко отбил первую атаку, чувствуя себя собранным и сильным.

— Давай, давай! — нетерпеливо шумели зрители, чтобы нас растравить.

— Бартек, — кричали мне болельщики штатские, посвоему переиначив мою фамилию. — Будь только посмелей, и победишь!

— Сразу с левой, кацапа! — ревели мои недоброжелатели военные, вскакивая с мест.

— В челюсть его! Хуком! Хуком!

Зрители разделились на два лагеря. Болельщиков штатских было больше.

Для обычного зрителя, сидящего в зале, раунд проходит очень быстро, но, ох, как же долго тянутся эти три минуты для боксера в тесной клетке ринга. Сколько он, бедолага, переживает за сто восемьдесят секунд, которым, кажется, никогда не будет и конца. А сколько за это короткое время промелькнет перед его глазами образов, воспоминаний!

Мой противник опять приблизился вплотную, и, пользуясь невнимательностью судей, успокаивавших болельщиков, влепил мне плевков в глаза. Хотел ли узколобый этим меня ослепить или только вывести из равновесия, не знаю. Но я не ослеп и на провокацию не поддался.

— Уже водичку пускаешь?! — поиздевался только.

Тогда он применил неожиданный трюк. Когда мы сошлись в третий раз, Рыжий замахнулся правой и умышленно миновал цель, а потом, будто случайно, отводя руку назад, ударил меня локтем в переносицу.

Это уж было чересчур! Пробудилась дикая злость, и я изо всех сил влепил армейцу в диафрагму.

— Ух! — выдохнул он и отступил, выставив длинные

ручищи, как упоры, чтобы удержать меня на дистанции. Но я был сильнее и уже умел этим пользоваться.

— Гу-у-у! — взревела аудитория, когда Рыжий впервые очутился в нокдауне.

— В угол! — погнал меня судья, видя, что начинаю разъяряться.

Судья отсчитывал секунды, а я стоял и не верил своим глазам, хотя этого и ждал: неужели у меня под ногами валется ненавистный Рыжий?

Да, валялся он!

— Не нравятся мне твои фиолетовые пятна! — бросил снизу Левандовский. — Как у сорокалетней бабы на ветру!

— Глупости! — отмахнулся я рукавицей.

— Только, прошу тебя, не пори горячки, не зарывайся! — советовал тренер.

— Семь, восемь... Пошел, бокс! — приказал судья капралу, когда тот поднялся на ноги.

Но тут прозвучал гонг, и мы ушли отдыхать.

Как только объявили начало второго раунда, в зале закричали:

— Эй, горилла, пошли кого-нибудь за подушками, чтоб мягче было падать!

— Верзила, не жалея его! Садани как следует в скулу еще разок!

— Болек, пся крев, где твоя форма?! — ревели разочарованные военные.

— Морду тебе набить мало!

Рыжий разозлился, перестал владеть собой и бездумно полез на меня, обдавая запахом терпкого пота.

Ага, готов, братец!

И до конца второго раунда я отводил душу. За короткое время капрал падал несколько раз. То на пятерке поднимался, то на тройке, то на двойке, то стоял на коленях — игру я тянул.

— Дзинь! — неожиданно прозвучал гонг.

Ладно, в следующем раунде я тебя доконаю.

— Вот, смотри сюда! — сказал я Рыжему и ткнул ногой в место, где когда-то сам впервые упал на брезент. — Ляжешь тут как миленький!

Но со мной стало твориться что-то неладное. Неожиданно потемнело в глазах. Сперва я подумал, что это от пота, не обратил даже внимания и ушел в угол отдыхать. Но вдруг меня охватила странная слабость, зал закачался. На минуту показалось, что я лечу в воздухе и мне необычайно

хорошо, а что-то сладкое и теплое разливается по жилам. Потом стало тихо, и я уже не чувствовал, как грохнулся на пол.

8

Пришел я в себя в гардеробе. Вокруг толпились люди.

— Это у него от голода. Ослаб совсем. Ничего страшного, все сейчас пройдет, ведь он молод, здоров! — по-мужски скуповато говорил Левандовскому врач в белом халате, щупая мой пульс.

— Но странно! Он так прекрасно провел два раунда!

— На нервах, — недовольно проворчал доктор. — На войне люди в состоянии нервного возбуждения даже без ног бегают. Ничего тут нет странного!

— Янек, ну как? — заметив, что я открыл глаза, с сочувственным укором спросил тренер.

Я что-то виновато промямлил и хотел подняться. Да где там! Тело было словно чужое и в голове мутилось.

— Лежать! — сурово приказал врач, хватая меня за плечи.

— Неужели у тебя нечего было есть? — искренне удивился тренер. — Ведь твои родители — хозяева, имеют землю!

Я только pokrutil головой.

— Ну, хватит вылеживаться, встань и кончай встречу с капралом!

— Об этом не может быть и речи! — категорически заявил доктор и накиннулся на тренера: — Вы своих спортсменов хотя бы кормили перед выступлением, иначе вгоните в чахотку, ведь это уже не первый случай!

— Боже свенты, такую встречу загубить и отдать первенство этой горилле! — не унимался Левандовский, в отчаянии хватаясь за голову. — Пανε Липец, дадите уколы, чтобы он выдержал еще один раунд, допингуйте его, до холеры ясной!

— Как врач сделать этого не могу! — доктор щупал мой пульс.

— Что же будет? — чтобы не мешать ему, шепотом спросил я у тренера.

— Все пропало до следующего года, дорогой мой, понятно?

Мне было понятно.

За стеной в это время стоял страшный свист и грохот. Прибежал пожарник:

— Пανε тренер, пανε доктор, идите скорее туда! Гражданские схватились с военными! Ринг разломают! Судей бьют! Спасайте их!

— А в чем дело?

— Объявили капрала победителем, вот они и ринулись на помост! Вербки посрывали, прутья выкручивают! Доктор вскочил и побежал в зал.

— Ничего, — вяло говорил Левандовский. — Полиция наведет порядок... Янек, ты плачешь?

— Нет...

Я отвернулся к стене, а у самого перед глазами стоял узколобый, которому судья на ринге поднимает руку в знак победы.

Все надеялись, что после соревнований воевода примет у себя победителей. Моя буйная фантазия даже рисовала, что я, как тот белорусский поэт минувшей осенью, встречаюсь у воеводы с Янковским и его дочерью...

9

Хоть и неловко признаваться в таких вещах, но, как говорится, из песни слова не выкинешь. После каждой тренировки во мне пробуждался такой аппетит, что я испытывал страшные муки.

Деньги, присылаемые родителями, шли теперь в уплату за учение. Питался я тем, то присылали мне из дому в посылках, приходивших два раза в месяц. Я аккуратно распределял продукты на пятнадцать частей, но никогда порядка не выдерживал. И сытым бывал только в первую неделю.

Временами на тренировках при виде того, как одеты в шелковые майки, в трусы с кармашками, модные тапочки парни хрустят шоколадом или жуют халву, у меня стягивало скулы, по телу пробегала дрожь, а кожа делалась дряблой. Утешал себя тем, что скоро добьюсь своего, тогда и отъемся.

После матча с капралом плелся я по улице Мицкевича и в каждой гимназистке, одетой в пальто с меховым воротником, видел генеральскую дочку. Как назло, барышень таких встречалось много: было воскресенье. И снова мои мечты о Данусе показались мне наивными и беспочвенными. Стало стыдно за фотографию в кармане. Я вынул ее из обложечки, а целлофан в никелированной рамке спрятал обратно.

— Вот и все! — сказал я при этом, стараясь вздохнуть с облегчением.

«Ох, что-то не верится! В который раз уж даешь ты себе слово!» — горько упрекнул меня внутренний голос.

— Нет, этот раз — последний! — произнес я вслух.

Фотографию разорвал на мелкие кусочки, и зимний ветер мгновенно разметал их по снегу.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Всю зиму Дануся не выходила у меня из головы. И вдруг неожиданно все переменялось, как бывает порой только в сказках или во сне. Даже самому не верится, что все могло так просто решиться.

Между прочим, в моей жизни подобное случалось не однажды. Бывало, хочу чего-нибудь добиться, составлю план, начну действовать, но — то ли слишком горячусь, то ли план мой утопичен — все, мною созданное, обращается против меня же, а результат один — я оскандаливаюсь. Позднее то, ради чего лез на рожон, достается неожиданно легко, естественно, само собой.

Что-то подобное произошло и теперь.

Но не буду забегать вперед, расскажу все по порядку.

2

Наступила весна — ранняя, теплая, с грозами, словно знала, что последний раз перед войной радуется людям. Уже в марте зазеленели травы, в конце апреля на деревьях появилась листва, а в начале мая генеральский двор напомнил пышный цветник. Я с него глаз не спускал.

В этот день, ничего не подозревая, собрался идти в лавку. Работу я нашел еще месяца три тому назад, работу необычную.

В те времена продукты питания большого сбыта не имели. Чтобы продать килограмм масла или литр молока, чего только не придумывали. И вот один офицер запаса, не-

кто пан Мотыка, приятель Левандовского, — у него недалеко от города было имение, — ухитрился жирность молока доводить до десяти процентов. Стоило такое молоко в три раза дороже, но покупателей хватало.

После злополучного матча тренер сказал, что пану Мотыке нужен разносчик, и дал мне адрес. Теперь каждое утро я разносил по богатым кварталам сотню бутылок молока, еще засветло привезенных возчиком пана Мотыки из деревни. За это я получал двадцать злотых в месяц да в придачу бутылку отличного молока ежедневно.

Одним словом, благодаря рекомендации Левандовского я теперь не был голоден и стал почти богат...

Итак, я отправился в лавку. Купил хлеба, картошки, сахару, еще чего-то и, прижимая покупки к груди, двинулся домой. Чтоб не разорвалась бумага и не высыпалась картошка, ступал не спеша, осторожно. Дорога шла под гору. Меня часто обгоняли прохожие. Тротуар был узкий, люди сходили на мостовую, недовольно ворчали, а я виновато молчал.

В одном месте первоклассницы писали мелом на тротуаре задачку и спорили над ней. Я осторожно обошел девочек и вдруг услышал:

— Извините, пожалуйста!

Я машинально повернул голову и смутился. Рядом шла... Дануся, и я отгеснял ее к забору.

— Пожалуйста! — как ужаленный, отскочил я в сторону.

— Благодарю! — бросила барышня.

Обгоняя меня, она подняла глаза. Нет, это мгновение невозможно описать, это нужно было видеть.

Она посмотрела на меня так, как может смотреть девушка только единственный раз в жизни. Ни раньше, ни позднее я не видел у нее такого взгляда. В нем было что-то глубоко женское, доброжелательное. Одновременно в ее глазах я заметил тревогу и вызов. Что со мной тогда делалось, не знаю — это мог бы объяснить только психолог.

Чувствуя, что смотрю на нее, Дануся у калитки поправила берет, одернула форменный передничек и оглянулась еще раз. Но это был уже не тот взгляд. Теперь она просто покраснела, кокетливо и чуть по-детски улыбнулась.

— Пхи! — зачем-то даже прыснула и понеслась домой.

— Ты смотри?! — удивленно вырвалось у меня.

Немного постояв, я двинулся к себе, чувствуя, как у меня словно вырастают крылья, как постепенно все мое

существо наполняет счастливая радость и уверенность, как становится легче дышать.

Вот сейчас, в эту минуту, что-то пришло. Что — я еще не знал, лишь догадывался: произошло нечто очень важное для меня.

3

Недавно у моей хозяйки курица вывела в корзинке цыплят. Когда я со свертком вошел на кухню, там стоял невероятный писк.

— Гляди, гляди! — звал сестру маленький сын прачки. — Глядите, дядя Ваня!

Я глянул, куда показывал мальчуган. Один цыпленок настойчиво клевал на полу солнечного зайчика, падавшего их окна.

— Во!! — сиял мальчуган, счастливый своим открытием. Впервые за восемь месяцев мы с мальчуганом поняли друг друга и засмеялись.

А они хорошие дети. За что я их так не любил?

— Пяне Бартошевич, ставьте обед, я оставила вам место на плите, — сказала прачка.

— Буду варить потом, когда сварите вы.

— Очень шикарные у вас замашки! А дрова, думаете, мне даром кто дает? Я не жена генерала, чтобы позволить себе такое!

Но мне было не до еды.

«Пошла ты, сквалыга, к чертовой матери!» — швырнул я на стол свертки и вышел во двор.

Еще несколько минут назад я был вял и безразличен ко всему, голова была тяжелой и хотелось спать. Теперь все это как рукой сняло. Я по-настоящему ощутил весну, со всеми ее ароматами и птичьим щебетом. В ушах по-весеннему звучал цыплячий писк. Это напоминало мне деревню, синеватую зелень, а где-то за огородами — луг, покрытый уже калужницами такой нежной желтизны, что нельзя было надивиться, как подобная красота уживается с грязной тиной.

Сколько времени проторчал на крыльце, теперь не помню.

Наконец за сеткой появился сам генерал. Теперь он был в пижаме. Черные, под Пилсудского, усы грозно свисали вниз. Гектор лениво терся о генеральские ноги. Данусин отец не спеша обошел клумбу, нагнулся, поднял комок земли и отбросил в сторону. Потом подошел к крану, спо-



лоснул руки. Комок мог бы себе лежать, но генерал отбросил его потому, что очень, должно быть, приятно ощутить меж пальцев пахучую землю, холодноватую воду, приятно было играть в хозяина, наводить порядок. Передо мной расхаживал немолодой и крайне утомленный заботами человек, которому выпала счастливая минута передохнуть.

Гм, и генералам живется нелегко?!

— Кубусь! — произнес он не очень громко, да так, как это делает человек, давно привыкший, что все, сказанное им, будет услышано теми, к кому он обращается.

— Естэм, пане генарале! — появился на пороге красавец адъютант.

— Почту неси!

— Слухам, пане генарале!

Адътанат вынес раскладной стул и стопку пакетов. Генерал посмотрел на галочки гнезда, выбрал место подалее и сел на раскладушку. Затем он вскрыл большой конверт, развернул огромную, как простынь, газету и замер. Рядом, у ног генерала, примостился Гектор. По заглавиям я определил, что газета иностранная. Генерал смотрел в нее озабоченно, настороженно, тревожно насупившись, как это делали тогда, глядя в газеты, мой отец и все старшие люди.

Я долго наблюдал, а генерал все читал. Диво. Я проглатывал газеты с беззаботным наслаждением, а для генерала чтение их — сложный ребус и тяжелый труд. Иногда он что-то карандашом подчеркивал, беспокойно ерзал, кивал головой, а иногда произносил вслух:

— Ах, пся крев, хо-олера ясна!.. То невозможно!.. До перу-уна! Но, про-оше!..

Наконец Гектор с хозяином соскучился. Он поплелся на задний двор, а мне показалось, что там непременно есть нечто интересное и для меня. Я начал осторожно пробираться вдоль проволоочной сетки.

За оградой, увитой диким виноградом, слышались девичьи голоса. Я встал на пенек и заглянул через заросли.

Там загорали Дануся и Бети.

Еще на занятиях в спортивной школе я никак не мог привыкнуть к хлопцам в майках и трусах. Мною владели деревенские привычки, а у нас показать обнаженное тело можно было только возле реки. Раздеться в другом месте считалось большим грехом. Даже какой-нибудь старый дед, когда косил на болоте, был в застегнутой на все пуговицы рубашке и белых портках.

А тут, в центре города, рядом с улицей, бесстыдно ва-

лялись животами вниз барышни в одних купальных костюмах, с бумажными колпаками на головах и листиками сирени на носу. Дануся что-то читала вслух, а Бети слушала. При этом обе беззаботно болтали в воздухе розовыми пятками.

На меня залаял Гектор, и я обратился в бегство.

— Идите, я вам сварила супу! — позвала хозяйка.

— Спасибо...

— Там, налила уже!

— Что-то кушать не хочется...

— Что с вами, пане Янку, вас сегодня — как подменили.

Но я ее не слушал. Не верилось, что сегодня встретился у калитки с Данусей. Но ведь я ее видел своими глазами, подробности встречи так и стояли передо мной. Однако не пропадать же добру на столе, и эта баба привязалась как смола.

Нехотя поплелся я в дом.

4

Назавтра, возвратившись с работы в девятом часу утра, я пошел по воду. Ее брали в глубоком овраге. В месте, где был колодец, горы образовали живописную теснину. Там царили тишина, покой, и казалось, что теснина находится в глухом поле.

Еще издали я увидел, что рядом с цементным кругом стоит новенькая эмалированная посуда с ручкой: высокая, внизу пошире и узенькая сверху. Но мало ли кто ее тут поставил? Город. Тут кругом тысячи людей. Поставил и возьмет, когда будет нужно.

Ничего еще не подозревая, подошел я к колодцу и стал привязывать веревку к ручке ведра.

— Добрый день! — вдруг послышался какой-то знакомый голос.

Я даже вздрогнул от неожиданности: на склоне, держась за ствол клена, стояла Дануся.

Я не поверил своим глазам, но это была действительно ОНА. Мечтал столкнуться с ней в фойе театра, в магазине, на пароходе, даже в самолете, когда стану знаменитостью. Мечтал встретить ее в доме воеводы, после победы над рыжим капралом. Приготовил даже слова, с которыми обращаться к ней. Но встретиться вот так?!

— Это — вы?! — вырвалось у меня. — Сервус...

Я вконец растерялся, не зная, что говорить: заранее

приготовленные слова были тут абсолютно неуместны. Мной овладел какой-то ужас. Хотелось дать драпака, да ноги будто приросли к земле.

— Пан позволит свою веревку, когда наберет воды? — попросила она и пожаловалась: — Я не взяла.

— Берите...

— Думала, кто-нибудь будет здесь непременно. Пришла, жду, жду, и никто, как на беду, не появляется. Потому, должно быть, что воскресенье... Первым пришли вы...

— Пожалуйста... — ответил я, едва сдерживая радость от мысли, что Дануся обращается ко мне за помощью, и все не веря, что это наяву. — Вы берете тут воду? У вас же водопровод! — воскликнул я с упреком и тут же испугался, что задаю Дануте глупый вопрос.

— Воду мы здесь берем для папы.

— ...

— Доктор прописал ему пить эту воду. В ней много полезных солей.

— А-а!..

И Дануся, придерживая руками подол простенького платица, сбегала ко мне с горы.

Белую рубашку я постирал и повесил на заборе сушить, напав на себя вышитую — из-за идиота-«профессора» только и оставалось в ней воду носить. Паненка будто обрадовалась, увидев мою вышивку:

— О-ой, какая прелесть!

Я растерялся, и она отвела глаза. Потом заглянула в колодец и тоже удивилась:

— Смотрите, тут еще ле-ед!

— Это потому, что между гор. В эту теснину солнце редко заглядывает, — назидательно промолвил я.

— Да-а?

Но я уже спохватился. Если выпало встретиться со своей богиней, нужно говорить иначе. Но как и о чем?

Мы немного помолчали.

У меня явилась нелепая мысль, может быть, я сплю? Внимательно всмотрелся. Дануся стояла боком. Ее маленькое ухо и шелковистые, освещенные солнцем волосы были перед самыми моими глазами. Над верхней губкой у паненки золотился чуть приметный пушок. Лицо смуглое от легкого загара...

Нет, я не спал — все происходило наяву.

Неподалеку лежала длинная ольховая палка. Девушка ее подняла и неловко сунула конец в колодец. С ума сошла. Еще этого не хватало.

— Насорите в воду, — схватился я за палку.
— Ой, извините! — виновато пробормотала она, глядя, как я, вынув из кармана газету, обтираю олешину.
— Вот теперь — можно, — подал я палку.

— Спасибо...
Дануся начала отбивать край наледи, которая каким-то чудом держалась на обомшелых цементных стенах колодца.

— О-ей, словно железное! Как камень!
— Так ничего не выйдет! — отобрал я палку, всадил ее между зеленой стенкой колодца и льдом и легко обрушил лед.

— Ух-х! — только вскрикнула Дануся, когда в колодце раздался плеск. Ее глаза горели искренним восхищением. Вблизи девушка была еще красивее, чем я себе представлял. Ее лицо словно излучало какой-то свет. Потому я не мог на нее долго смотреть. Сковывало сознание, что передо мной — человек иного мира.

Дануся, должно быть, чувствовала, что у меня на душе, и говорила со мной как с равным, словно не замечая моей растерянности и грубых ошибок в польском языке.

— Ну, набирайте! — поощрила паненка, словно мне предстояло совершить нечто необычное.

Я зашвырнул олешину на гору, привязал веревку к своему ведру, вытащил одно, потом другое. Дануся с детским любопытством наблюдала за моей работой. Меня удивило, что подобный пустяк может вызвать у человека искренний интерес.

Я отвязал веревку. Подавая ей, предложил:

— А ну!

Оттого, что я смотрел на нее, Дануся растерялась и не могла справиться с веревкой.

— Сейчас! Я быстро!.. — твердила она.

Тонкие и подвижные пальцы паненки беспомощно перебирали толстую веревку, конец которой намок и стал тугим и неподатливым, словно корабельный канат. А когда наконец привязала, эмалированная посуда не хотела то-нуть в колодце.

Только теперь я подумал о том, что нужно помочь ей:

— А ну, давайте — я!

— Сама умею!

— Так я и поверю!

— Но я же доставала! Як бога кохам, доставала! Мною овладела уверенность.

— Ну, пове-ерим на этот раз! — проговорил я снисхо-

дительно, бесцеремонно отнял веревку да еще передразнил: — «Уме-е-ю», «са-ма-а», «як бога ко-о-о-хам!..»

Вытащил посудину, выбросил из нее щепочку, налил воды из своего ведра.

— Благодарю пана! — сказала Дануся, ожидая, пока я набирал себе воду, и стала оправдываться: — Сюда всегда ходит наша Антося, но вчера мамуся отпустила ее домой!

— В деревню?

— У тети Антоси здесь домик, на окраине!

— А-а!.. — не нашелся я что ответить.

— Пойдем! — сказала она просто.

И мы пошли.

5

Меня охватил страх: если сию минуту не случится чего-нибудь необычного, если ничего не придумаю, Дануся так и уйдет домой, и тогда все пропало! Вряд ли выпадет еще когда-нибудь в жизни такая возможность. Но, как на беду, мои мысли словно кто заморозил или выключил: я ничего не соображал, только смотрел.

А она шла впереди, несла свою посудину и часто меняла руку. Бросились мне в глаза мягкие очертания тонкой, но сильной, тронутой загаром шеи...

О чем заговорить? Как нарушить молчание?

Дануся, видно, переживала то же самое. Она часто поворачивала ко мне голову, и я видел настороженные, виноватые глаза паненки, которая хочет сделать что-то доброе, но не знает как.

Так мы и шли.

В теснине было тихо, четко раздавались наши шаги, позванивали льдинки о стенки ведер и плескалась вода, время с каждым шагом все убывало и убывало, а я напрасно старался что-нибудь придумать. Вылить ведро под ноги, что ли? Нет, встреча получилась естественной, и в Данусе было столько доброжелательности.

— Уф-ф! — выдохнула она, поставила посудину и, помахав руками, остановилась.

— Тяжело?

— Тяжело! — пожаловалась.

— Что вы! — искренне удивился я, опуская на землю свои ведра. — В этой банке — литра четыре, не больше!

— Ну, конечно, для вас — такого Голиафа — это пу-

стяк! — притворно обиделась она, окидывая меня взглядом с ног до головы.

Мне это польстило. Я будто попытался посудинку оторвать от земли:

— Ух-х, черт, не сдвинуть с места!.. А хотите?.. Мне совсем ничего не стоит вас со всей этой водой...

И я той же самой рукой, что держал посудинку, дерзко обхватил паненку ниже пояса и, чувствуя ее посильный живой вес, крутанул девушку несколько раз в воздухе и поставил на землю.

— Вот!

— О-ей, как было хорошо! — ничуть не обидевшись, сказала она, пытаясь поймать равновесие. — Как голова закружилась! Ха, даже вода не расплескалась!..

На черном сатине у меня были вышиты маки — свежими яркими нитями, часто, со вкусом. Как здоровый ребенок, который, очнувшись ото сна, уже готов чему-нибудь удивляться, так и Дануся уже не отводила глаз от цветов. Поинтересовалась:

— Такую прелесть у вас в деревне и сейчас делают?

— Каждая женщина. А это делала мама...

— Красиво!

Ее внимание меня тронуло и пробудило обиду, которую я таил в себе вот уже с полгода.

— «В Африке живут народы, которые пропадают из-за разноцветных стеклышек, ниток...» — сказал я с горечью. — У нас на «кресах восточных» это дикарство сохранилось в том, что местные крестьяне украшают свою одежду разноцветной вышивкой. Глядите, перед вами пример...»

Дануся ужаснулась:

— Кто такую чепуху посмел сказать?

Я назвал.

— Наш по-ло-нист, пан Залесский?

— И на курсы больше не надеваю.

На ее лице я прочел, отчетливо увидел, что она чувствует себя виноватой из-за дурной выходки профессора, но не знает, как выразить мне сочувствие, и от бессилия даже покраснела.

Вдруг мне стало легко-легко на душе, как бывало только в детстве, когда свою обиду расскажешь матери.

— А, черт его бери, переживем! — уже весело и легкомысленно поднял я отшлифованный камушек и запустил его высоко вверх.

Паненка с тревожным восхищением проследила за

его траекторией, пока камень не упал в кусты. Мы стояли, переживая каждый свое.

— Смотрите, цветы! — вдруг обрадовалась Данута и стала карабкаться на гору, поощряя улыбкой и меня.

На склоне горы росла черемуха. Я с увлечением принялся ломать ветки с белой цветенью.

Собирая букеты, мы поднимались все выше и выше. Дануся исцарапалась о кусты, но ничего не замечала.

Наконец она взобралась на самую вершину.

— Я каждый раз удивляюсь, как живописно смотрится отсюда Вилия! — сказала она и сразу умолкла, завороженная.

Волосы ее были обсыпаны белыми лепестками. От напряженной ходьбы постепенно дыхание делалось ровным.

Мне место было хорошо знакомо. Я только заметил:

— Ну.

— Чем-то напоминает мне Альпы...

— Это еще что! Вот я знаю гору! С нее весь город как на ладони! Можно пересчитать все церкви и костелы. Даже Замковая гора и Три креста видны оттуда...

— Давайте сходим! — к моему удивлению, попросила Данута.

— Можно... — ответил я озабоченно.

Идти в эту минуту куда-либо я никак не мог. Во-первых, дома ждали воду. Во-вторых, подо мной горела земля, потому что я тревожился о ведрах: оставил ведь их на дороге, ей, генеральской дочке, ведро — пустяк, а мне? К тому же мой идеал начал блекнуть.

В то время, когда зрелый человек ищет предмет своего обожания, чтоб слиться с ним, юноше необходим сам процесс скрытого и молчаливого обожания. Вся прелесть для него заключается в безнадежности его любви. Необычно легкая победа меня вдруг расхолодила. Но одновременно эта худенькая, с тонким профилем девушка в простеньком платьице в синюю клетку влекла меня к себе с новой силой.

— О, нет, не сейчас. Когда-нибудь позднее! — успокоила она, увидав на моем лице нерешительность.

Дануся что-то переживала, а я глазами выбирал еще лучшее место, чем то, где мы были.

— Извините, когда пан Залесский про вас так сказал? — вдруг спросила она.

Все время об этом думает?!

— Осенью было дело... Ну его к черту, Залесского — тупой шовинист!.. Паненке мешают кусты, сюда идите!..

— О-ей, куполов сколько! Один, два, три, четыре,— считала она, указывая пальцем.— Тридцать два костела и церкви в нашем Вильно, бо-оже!..

— Я насчитал сорок. Отсюда всех не видно, потому что эта гора слишком низкая. А вон с той...

Но паненка больше не интересовалась горой.

Я пожалел уже, что сразу не поймал Данусю на слове и не предложил ей сейчас же сходить вместе на гору. Пропади они пропадом, эти ведра! Да и с прачкой ничего бы не случилось за это время без воды. Но удобный случай уже не повторился.

— Нужно идти домой, а то будут волноваться!— вдруг посерьезнела Дануся.— Я и так долго задержалась. Идем!— приказала она.

Легко и смело сбегала с горы, сняла тапочки и точно так же, как делают это наши деревенские девчата, поступала одна об одну, обулась и пошла к ведрам.

Недовольный собой, следом поплелся и я.

На улице мы разделили черемуху поровну, вежливо распрощались и разошлись.

6

Вернулся с пустыми ведрами в овраг и задумался. Это место стало теперь для меня необычным. Как хорошо, что над колодцем нет ворота, какие бывают в деревне, ведь тогда тут висела бы цепь, и мы с Данусей не встретились бы.

Влез на гору, нашел олешину. Это была не просто палка. Ее коричневая кора с розоватыми глазками приобрела некую таинственную значимость. Ведь когда я взял у Дануси палку, кора еще хранила тепло ее руки.

Я даже погладил олешину и почему-то спрятал в кусты.

Наносив воды, вышел на улицу.

Все началось вот здесь. Если бы тротуар был чуть пошире, а водосточная канава не такой глубокой, Дануся могла меня и не заметить — просто обошла бы. Даже стало обидно, что все произошло благодаря простой случайности. Я хотя и не был суеверен, но подумал:

«А может быть, Данусю привлекло к колодцу подсознательное чувство, рожденное нашей встречей на улице?»

У меня такой характер, что если чем-нибудь взволнован, непременно собираюсь и иду. И в это воскресенье я бродил по Вильно больше, чем в другие дни. Да что

там бродил! Возбужденный вниманием Дануси, я летал, как на крыльях. И было такое чувство, словно Дануся шла рядом. Во всем виделось ее присутствие.

Вот — киоск. Идя в лицей, она каждый день смотрит на него. И не может быть, чтобы человек, смотривший на что-либо, не оставлял на предмете ничего от своего взгляда. На этих синих фанерных стенках непременно есть след и Данусиных глаз! И я смотрел на киоск...

Интересно, если смотреть на него Данусиными глазами, такой же синий он, каким кажется мне? А может быть, в ее ощущении синий цвет выглядит совсем иначе?

Мне, словно после первой весенней грозы, стало легче дышать, веселее жить. Я излучал здоровье и счастье, с чувством превосходства встречал зовущие взгляды девочек. Эх! Знали бы они, бедные, какими достойными сожаления, смешными мне казались!

Я был теперь уверен, что с Данусей, может быть, не скоро, может быть, через неделю-другую, обязательно встретусь опять. Она же совсем не похожа на расфуфыренных фанаберистых паненок из виленской знати, которые не считают тебя даже за человека!..

И от радости, что все у меня еще впереди, захотелось бежать домой, лечь в постель и проспать все это время, чтоб только не мучиться в ожидании. Эх, если бы какой-нибудь волшебник превратил меня на это время в нечувствительную скалу, как бывает в сказках!..

Возвращаясь домой поздно вечером, я притаился у генеральской калитки и снова стал ждать.

Вышли две дамы, остановились на тротуаре. Одна из них была генеральша. Она, должно, быть, провожала приятельницу. Дамы несколько минут рассуждали, так ли они оделись. Странно, что говорили совершенно серьезно, словно в том, какое надето в данную минуту пальто, весь смысл человеческой жизни.

— Пани Вацлава,— спросила незнакомая дама,— сколько получает теперь ваш муж?

Генеральша что-то ответила.

— И пани не имеет долгов? О, Езус коханы! Да мой муж получает в два раза больше, а я вечно в долгах!

— Экономлю, ласкава пани, и держу хороших слуганок.

Только теперь я заметил, что неизвестная — жена воеводы, пани Боцянская.

— О, да! Хорошая прислуга — большое благо! — убежденно сказала она, тяжело вздохнув. — Но откуда та-

ких взять в наше время? Короли и служанки теперь не в моде, говорит мой муж. Ваша Антося всегда дома, когда бы я к пани не зашла. А я сегодня, например, отпустила своих до самого утра. И хоть знала, что они таскаются с солдатами, но подумала: пусть себе выйдут на волю...

— Потому я и держу — одну старуху, другую — идиотку и шагу лишнего ступить им не разрешаю! — делилась своим опытом генеральша. — Вы напрасно своих пускаете. Рабы неблагодарны даже за волю.

— Правда, правда, ласкава пани, — оживленно подхватила ее приятельница. — То же твердит и мой муж. А еще говорит, что через некоторое время их обязательно необходимо менять — быстро они распускаются. Но я такая добрая — ангелом быть бы мне. Поэтому и приходится залезать в долги...

Генеральша успокоила Боцянскую:

— Не надо себя так обвинять, дорогая пани, вы тут ни при чем. Варшавские вельможи на нас выезжают. Пан Бек, Славой-Складковский за государственный счет содержат слуг, по три лимузина!.. Владеют виллами в Закопане, еще строят себе и в Женеве, а ты приезжаешь в Цюрих и ютишься в пансионате каком-нибудь, будто нищая!..

Генеральша наступила на любимую мозоль Боцянской.

— Ой, пани Вацлава! — с жаром заговорила та: — Их жены каких только подарков не привозят из зарубежных поездок!.. Бек взял свою кикимору в Берлин, и Риббентроп соболиные меха ей подарил!.. Мой сказал: «За что же мы кровь проливали в легионах?! А кто такой Славой? Тоже выскочка!»

— Потому что живут у золотого корыта, — объяснила генеральша. — Отхватили себе самые лакомые кусочки, а наших мужей, настоящих творцов «Чуда над Вислой», поспихивали в глушь слушать зловещее карканье этих ворон!.. Кажется, с торбой по свету пошла бы, да никто не заметит!..

— Глу-ушь, пани Вацлава, страшная! Никуда и носа не высунешь — песок, комарье, болезни, а из-за дикарского диалекта ни с кем не обменяешься в деревне и словом. Уж лучше бы находился человек в какой-нибудь Африке. Мой говорит, как только выделяют Польше колонии, попросится у президента губернатором на Мадагаскар. Хватит из-за коммунистов портить нервы здесь! В Африке бриллиантов много в песках!.. И дети истосковались по экзотике!.. Слоны... Пальмы... Свежие фрукты... Негры...

Боцянская оживилась еще больше:

— На Капри один американец пригласил нас в гости, и они нам прислуживали! Такие послушные!.. Всего только от них и услышишь: «Да, мадам!», «Да, моншер!». Дорогая пани, и какая чудесная гармония!.. Синее-синее небо, голубое море, белая вилла, черные слуги и гувернантки!.. И я, пани, скажу, их тела совершенно не пачкаются, я хорошо пригляделась!.. Их чернота какая-то внутренняя, даже на белом подворотничке не оставляет следа!.. А если им повязать еще оранжевые переднички — чудо шедеврального!.. Негры совершенно мало едят, не то что мои русинки — одного картофеля им не напасешься: как сидят втроем, как навернут!.. От этого им потом и к солдатам хочется!..

Генеральша жену воеводы не слушала — у нее были свои заботы:

— Соболиные меха. Правду пани говорит!.. А кто такой Бек? Всего лишь полковник кавалерии. Так мой же генерал!.. Не-ет, уважаемая пани Боцянская, я отсюда никуда не поеду. Я свои права знаю, у варшавских магнатов вырву свое, хотя это и будет мне стоить новых морщин.

Подъехал «кадиллак» с открытым верхом, остановился. Из него вылез адъютант и, придерживая дверцу, взял под козырек:

— Машина подана!

— Спасибо, Куба! — кивнула генеральша.

Дамы пошли к лимузину. Было слышно, как генеральша возмущается:

— Теперь здесь тишина. Но днем на нашей улице столько деревенских подвод, что не проехать. И почему эти мужики не работают, а только по городам разъезжают, что у них за дела могут быть в Вильно?

— Я с мужем поговорю, пани Вацлава, чтобы он запретил проезжать подводам по вашей улице. Повесят знак. Пани Вацлаве на морщины нечего обижаться. Пани так молодо выглядит! А потому, видно, что массажистку принимает. А я всякий раз ее отсылаю — не хватает времени с ней возиться. Муж недоволен, что напрасно тратит бешеные деньги...

Дамы распрощались. Машина с Боцянской уехала, а генеральша вернулась домой. На веранде обрушилась на служанку:

— Эпиметей, ты стащила мой халат с мережками? Послышался голос молодой девки:

— Агы!.. Бо вы его выбросили...

— «Агы!»..— с ненавистью передразнила ее генеральша.— Ты смотри, запихнула себе уже в торбу?! Пять злотых штрафа вычту из получки!

— Пани Вацлава, я уже говорила, что меня в деревне называли Просей... А еще — Фрузой... А то — Эми... Эмпи... И не выговорю!..

— Оставь тебя, воровка, без присмотра на одну минуту... Марш работать!

«Мироеды!»— с ужасом подумал я про нее и Боцянскую.

Эта сценка еще раз мне напомнила, с кем я связываюсь. Придя домой, никак не мог заснуть. Вынужден был встать, зажечь свет. Начал приводить в порядок обтрепанную штанину.

И все спрашивал себя, правильно ли делаю, поддаваясь чарам какой-то паненочки из враждебного лагеря. Но что-то основательно переменилось в моих взглядах. Я открыто смотрел в лицо тому, кто во мне самом пытался меня устыдить. Ну и что? Она же не виновата, что родилась дочерью польского генерала. Я мог бы родиться сыном персидского шаха. Дануся не генеральша и не жена воеводы, а мало ли было случаев в гражданскую войну, когда один брат у белых, а другой — у красных, дочка — комиссар, а отец — полковник у Деникина? В конце концов, Данута мне нравится — и точка.

Как она возмущалась Залесским! И теперь где-то переживает за меня. Лежит в кровати, в буржуйской, генеральской квартире, видимо, ворочается с боку на бок...

Сразу стало легче.

Теперь, ложась спать, я думал, что завтра меня опять ждет что-то очень хорошее. А на следующий день, едва проснулся, подумал — вчера в моей жизни произошло нечто очень важное. Я вскочил с постели, полный интереса ко всему и бодрый.

7

Миновала неделя, но за это время так ничего и не произошло.

Снова настало воскресенье. Как и в прошлый раз, я пошел к колодезю, просидел там до полудня, но Дануся за водой не пришла. Настроение у меня испортилось.

Генеральский двор был пуст, и я пошел в город. Погода стояла прекрасная: в небе — ни облачка, сильно припе-

кало солнце, дышали жаром нагретые стены домов. Воздух был сух, но с легкой примесью озона с быстрой Виленки, поэтому дышалось легко, и я опять настроился на бодрый лад.

Выбирая пустынные улицы, дошел до квартала, где располагались казармы. В одном месте на привязи стояли кавалерийские кони, топчя свежие яблоки навоза, пахнувшие крепко, как спирт. Меня, крестьянского сына, так и потянуло к лошадям. Подошел, похлопал крайнюю по крупу. Лошадь сразу встала на дыбы, так что зазвенела сбруя. Вот бы на такой проскакать по полю. Огонь!

Из ворот вышел элегантный офицер.

— Ну, Фацет, поедем?— спросил он, и тот же конь, тихонько заржав, начал рыть землю копытом.

— Ах ты, мой мальчик, так заскучал?!— посочувствовал хозяин и погладил Фацета по храпу.

Я с завистью смотрел, как хозяин отвязывал повод и скакун послушно пошел за ним, по-лебединому выгибая шею. Офицер вскочил в седло, погнал рысью, но у коня сильно заекала селезенка, и всадник перевел его на шаг.

Я пошла дальше.

В окнах серого длинного строения сидели солдаты с зеркальцами в руках и пускали солнечных зайчиков в глаза проходивших мимо барышень. Те жмурились, визжали, однако уходить не спешили.

— Пане капрал, закурить дашь? — развязно спрашивали подозрительно накрашенные девицы у военных, выходящих из ворот с отпускными билетами.

— Можем дать и прикурить!

— Еще как!— гоготали солдаты в лихо сдвинутых набок пилотках.

Я повернул назад.

А вот и баня, которую содержала какая-то литовская организация. Я аккуратно посещал ее, а показывал мне это место Суткус. Во всю длину огромного зала вверху — трубы. Оттуда льется горячая вода; заходи сразу хоть тысяча человек и бесплатно себе мойся. Ого, литовцы — народ организованный, заботятся друг о друге, не то что мы, белорусы.

Так размышляя, незаметно очутился у дома пана Мотыки.

Утром, когда я принес на кухню пустые бутылки, пришла умываться дочка пана Мотыки и, сонная еще, наткнулась на меня. Присмотревшись, она испуганно вскрикнула и побежала назад, обдавая меня теплом постели и показы-

вая из-под пестрого халата белые ноги. Я покраснел. Но уже из-за дверей паненка кокетливо и с любопытством оглянулась, блеснув белыми зубками и запахивая халат.

Стоя возле дома помещика, я все это вспомнил с абсолютной точностью. Стало стыдно не то за нее, не то за себя — хоть провались сквозь землю.

Я повернул к Вилии.

8

По тротуару набережной тек людской поток.

Вдруг меня насторожил чей-то взгляд, мгновенно развеявший образ дочки пана Мотыки. Я внимательно пригляделся и подумал, что эту смуглую черноглазую студенточку я уже где-то встречал. Обязательно встречал. Но где?

Оттого, что я не сводил с нее глаз, студентка осмелела и направилась ко мне.

— Добрый день! — сказала она обрадованно. — Наконец-то через полгода я вас встретила!

— День добрый...

— Неужели забыли? — с упреком и разочарованием покивала она головой.

— Помню, помню... — соврал я, зажав глаза, ослепленный торчавшим перед самым моим носом блестящим козырьком ее студенческой фуражки.

— Давайте познакомимся. Тогда не было времени. Ольга, — подала она руку и стыдливо улыбнулась.

Только теперь я узнал, кто это.

Во время драки возле университета она помогала мне прийти в себя и припрятала наган, выпавший у меня из кармана. А вспомнил я девушку по одной примете. Бросился в глаза ее кривой передний зуб. Поэтому Ольга, улыбаясь, старалась не слишком показывать зубы, но я бесстыдно смотрел ей в рот — глаза мои он притягивал как магнитом.

— Ну, как жизнь? — поинтересовалась она, краснея.

— Ничего, вот живу...

Невольно заметил я трещину на козырьке фуражки, потертый воротничок кофты, уже порядком выцветшей, старенькие, поношенные туфли. Сравнивал с платьем Дануси — легким, всегда свежим, с каким-то тонким и милым запахом...

Если встретятся двое, достаточно одному о чем-либо спросить, и сразу завяжется беседа. Но я к беседам в

компании, особенно с девушками, был совсем непривычен.

— Вы приходили к нам на концерт, когда пел Забейда-Сумницкий? Нет? Жалко. Я была уверена, что будете, везде вас искала!..

Минуту помолчали.

— А на митинг антифашистов? Скоро у нас состоится собрание белорусов и украинцев, придете?

Я терпеливо слушал, что-то отвечал, испытывая к студентке признательность за то, что она для меня сделала, но все думал, как от нее отделаться.

Но она не отходила.

— А я была тогда в спортивной школе, когда вы встречались с военным на ринге! Вместе с другими пытались вам первенство отвоевать, да где там!

— Давно все было...

— Да, давно. Вы — заметный. Однажды встретились в городском парке осенью. Лил дождь словно из ведра, а вы ничего не замечали, не спеша прохаживались и думали о чем-то своем. А лицо у вас было такое, что я не посмела вас тревожить...

— Напрасно...

— А потом иногда вас встречала зимой на Замковой, — исповедовалась она будто с упреком, словно ждала от меня благодарности. — Всякий раз вы были с непокрытой головой. И вообще, кажется, так проходили всю зиму.

Мне не хотелось рассказывать историю, как кепка, сбита саблей поручика, осталась лежать на тротуаре, а новой я не покупал не только потому, что было жалко денег. В Вильно даже в самые лютые морозы хлопцы форсят, разгуливая с непокрытой головой. Форсил и я. Зачем ей обо всем этом знать?

Вдруг я вспомнил, как волновался осенью в толпе молодежи, пока в Лукишках шло венчание.

— Правда, что это вы тогда венчались в тюрьме? — искренне заинтересованный, спросил я.

— А-а, вы об этом!.. Да, я, — опечалилась почему-то девушка и вздохнула. — К сожалению, я совершила тогда непоправимую глупость.

— Глупость?!

— Не было человека, который схватил бы меня тогда за руку и сказал: ты что, дитя, делаешь, опомнись!

— Но почему же? — допытывался я, все более разгораясь любопытством.

— Очень сложная ситуация, — снова вздохнула она, —

долго рассказывать. Впрочем, давайте сойдем с тротуара, под липу, расскажу!

Я двинулся за студенткой.

— До этого со своим женихом даже как следует и не виделась, — начала она свой рассказ. — Перестукивались через стену в тюрьме, делали друг другу знаки из окон, когда кого-нибудь из нас выводили на прогулку. Меня выпустили из Лукишек раньше, и мы стали переписываться. Мне показалось, что я влюблена. Впервые и навсегда. Он писал длинные письма, а я — такие же ответы. В письмах договорились пожениться. С фотокорреспондентами и свидетелями вошла я в камеру и впервые в жизни пожала ему руку. Капеллан нас обвенчал. Все вышли. Дали нам два часа побыть вместе. Сели на скамью, взяли за руки. Стыдно. Неловко. Страшновато. Надзиратель отвернулся, и муж меня в первый раз поцеловал. Мне стало очень неприятно. Я испугалась, что он опять поцелует меня, вынула из сумочки шоколадку, сую ему в рот, но он шоколадку отстранил и поцеловал во второй раз. И тут я поняла, что не люблю его.

— Ай-яй-яй! — я даже покачал головой.

— Такие-то дела! — вздохнула она.

— А теперь? — спросил я.

— Ношу регулярно передачи, пишу аккуратно письма в тюрьму, числюсь женой, а его не люблю...

Вот так история!

Я не знал, что сказать, как утешить девушку, сочувственно на нее поглядывал и переминался с ноги на ногу. Так мы стояли долго. Наконец студентка с деланной беспечностью, словно утешая не то меня, не то себя, бойкой скороговоркой произнесла:

— Ничего в этом нет необычного. Мне разъяснил наш виленский писатель: есть правда жизни и правда мечты, лозунга. Так вот у меня эта правда лозунга и детской романтики пришла в противоречие с правдой жизни и получилась драма. Вот, собственно, и все.

— Гм... — только смог произнести я.

Пока мы беседовали, к пристани подошел пароходик — крестник генеральши. С пароходика хлынула на берег молодежь. Мы очутились в толпе парней и девчат. И тут я увидел Данусю.

Она была в белом теннисном платье, красиво оттенявшем ее загар. Рядом шагала Бронислава, нес книжки, теннисные ракетки, портфель. Оба были в темных очках, только входивших в моду.

Увидев ее с Брониславой, я мгновенно забыл обо всем, что рассказывала студентка, как-то весь встрепенулся и сразу пал духом.

— День добрый! — крикнула она с тротуара.

Студентка удивленно взглянула на меня, потом на Данусю, на Брониславу.

Пока я что-то соображал, Дануся прошла мимо. Я уже начал сомневаться: со мной ли она поздоровалась или с кем другим? Но тут заметил, что Ольга смерила взглядом генеральскую дочку, а та тоже обернулась и выразительно посмотрела на студентку. Сомнения в том, с кем поздоровалась Дануся, уже не было.

— Что ж, прощайте, коли так, — произнесла холодно Ольга.

Происшедшее еще не успело как следует дойти до моего сознания, поэтому, окончательно растерявшись, я ничего не ответил, хотя и уловил в ее словах упрек. Сразу же, впрочем, забыл об Ольге. Мое внимание целиком переключилось на другое.

Тогда, у колодца, мы с Данусей, словно боясь прикосновения, так и не подали друг другу руки и не назвали своих имен. Я не мог сделать этого первым потому, что подобное было не в моей натуре. Но Дануся? После того, что произошло тут, у реки, я поверил в свою звезду.

9

Много еще дней ходил я по городу в надежде встретить Данусю. Ходил один, чтоб удобней было заговорить. Это мне казалось теперь легким совсем: мы же знакомы, и я имею право заговорить с ней.

Часами простаивал я в овраге над колодцем. Не мог простить себе, что она меня видела со студенткой.

«Вот тебе за то, что ты такой болван! Так тебе и надо!» — укорял себя, теряя веру, что опять подвернется случай для такой встречи. Но ведро старался держать легко, ловко, на случай, если Данута следит за мной из кустов.

— Пана Янку, нарубите мне, пожалуйста, дров, если имеетесь время! — попросила прачка.

— Могу! — обрадовался я: наша пленница была видна из генеральских окон.

«И на кой черт ты взял себе тогда половину черемухи? Знаешь ведь, что девушки любят цветы! Не мог отдать ей все? Пожалел такого добра? Все равно хозяйка выкинула их на помойку — голова у нее от запаха болит!»

— Дядя Ваня! — неожиданно перебил мои мысли сын прачки. — А почему этот дров такой зеленый?

— Это мох на полене, дурень!

— А что такое мох?

— Ну вот заладил, конца теперь не будет!

Присутствие «помощника» мешало моим планам. Я рассердился и прогнал бедного мальчугана.

И зачем было говорить ей тогда, что посудина легкая? Девушки ведь любят, чтобы их хвалили, они словно дети!

Я брал полено и, как циркач, подбросив его, ловко подхватывал за другой конец — ведь Дануся могла следить за мной из своего окна.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Вскоре муки мои кончились. Помог неожиданно наш швейцар, пан Войцех.

Однажды в конце занятий я проник в лицей и притаился в коридоре. С озабоченными лицами сновали преподаватели. Торопливо пробегали из класса в класс лицеистки. Все они словно и взаправду были заняты, но на самом деле им не терпелось разойтись по домам, потому что проголодались.

Мой план был прост: Дануся проходит мимо, мы здороваемся, начинаем беседовать, и я предлагаю сходить на гору, о которой уже с ней говорил. Скажу ей об этом прямо, без стеснения. Еще вчера никакая сила не заставила бы меня это сделать, а сейчас это представлялось вполне обыкновенным. Да вот выбрал, кажется, неподходящий момент...

— Ты что тут делаешь? — окликнул меня пан Войцех.

— Просто так зашел...

— Ага, шел, шел и зашел?..

— Кунцевич чего-то вызывал...

— Опять врешь!

— Правда, правда!

— А почему мне в глаза не смотришь?

— ...

— Я вас, ухажеров, всех по глазам узнаю!.. Ладно, идем со мной! — позвонив на урок, позвал меня старик к дежурному столу.

Я знал, чем могло кончиться для швейцара мое пре-

бывание в лицее, поэтому почувствовал к нему благодарность и доверие.

— Ну-ну, говори, какая тут тебе приглянулась? Признавайся! — не то в шутку, не то всерьез допрашивал он.

Под его лукавым добродушным взглядом я постепенно размяк, но все еще молчал.

Старик начал по-иному:

— Чего раскис? Глянь на себя в зеркало! Ты же весь перекосялся, как середка на пятницу! Я знаю, — ночей не спишь, а из-за чего? Чтoб потом, когда добьешься своего, сказать себе: «Ну и дурак же я был!»

— Не добыюсь... — выдал я себя, и что-то застряло у меня в горле.

— Не сомневайся! — утешил старик, как ребенка. — Я помогу.

— Вы-ы?!

— Хо! Сколько вашего брата мне благодарно!

В коридоре показался преподаватель, и старик смолк. Когда опасность миновала, швейцар приказал:

— Пиши записку, а я передам! Пиши, пиши! Нечего с ними церемониться, посмелее будь!

— Записку?

— Глянь, сколько мне передавать, — старик открыл тумбочку и показал с десяток заклеенных конвертов без марок.

Тут я вспомнил, что еще прошлой осенью всегда около старика вертелись гимназисты почти из всех виленских гимназий, а смущенные лицеистки к нему подбегали с вопросами.

— Для меня ничего нет?

— Пане Войцех, никто меня не спрашивал?

Я уже влюбленными глазами смотрел на щупленькое личико старика, который, чтоб придать себе важности, подкрашивал усы. Но краска его не спасала. Усы были жиденькие, топорщились, делали его только смешным. На окне лежала его старенькая шляпа, подкладка которой была до того засалена, что напоминала положенную на дно шляпы патефонную пластинку.

— На тебе бумагу, карандаш!

— Что вы! — я уже представил себе, как заберусь куда-нибудь и с душевным трепетом буду сочинять свое послание. — Писать иду домой!

— Валяй!

Через час я вручил ему конверт. Прочитав на нем фамилию, пан Войцех удивился:

— Генеральской дочке?.. Э-ге-е, так ты высоко, братец, метишь!

— Да ведь и сам не из низких! — постарался я шуткой прикрыть тревогу: возьмет или побоится?

— Ты же из-за нее, кажется, прошлой осенью горел, мало для тебя одного скандала?

Я все не уходил.

— Ну, что ж, надо выручать своего брата, сам к паненкам был ярим... — Старик одной рукой неторопливо почесывал под мышкой, а другой — прятал мое письмо в тумбочку.

2

Шел я к колодцу, едва дыша из-за пара, бившего в нос из-под пиджака: не было времени сушить верхнюю рубашку, надел мокрую.

У колодца никого не было. Я спрятался за дерево. Проходила минута за минутой, а на тропинке никто не появлялся.

«Неужели не передал?» — только успел подумать, как увидел Данусю.

Она была в легком плаще и шапочке. Напускная веселость и безразличие не могли скрыть на ее лице страха.

Мне нужно было выходить из засады, но ноги словно приросли к земле: не от испуга, а скорее от неуверенности в себе. Я уже проклял свою дерзость.

Дануся тем временем прошла мимо колодца и повернула назад. Все выглядело так, словно она просто шла своей дорогой, да вдруг вспомнила что-то и решила вернуться домой.

Нужно ее задержать, не то уйдет! Больше оставаться за деревом нельзя. Да и чего мне бояться? По записке пришла, не святая.

Когда я наконец вылез из кустов, у меня так замирало сердце, словно я нырнул с горы в бездну.

— Сервус! — с напускной лихостью поздоровался я по-латыни, как обычно приветствовали друг друга виленские гимназисты. — Давно ожидаете? — пролепетал я непослушными губами, подходя к колодцу.

— Не-е-ет... — девушка даже побледнела, часто дышала, и голос ее дрожал. Она была очень смущена.

— Меня задержали...

— Не студентка ли? — она взялась за цементный круг колодца и стала его поглаживать пальцами.

— Студентка? — искренне удивился, берясь за бетон с другой стороны.

— Конечно, у пана есть теперь более интересные друзья.

В тоне ее я с удивлением почувствовал укоризну. Вот так же говорила бы деревенская девушка, обиженная тем, что ее хлопец ходит с другой.

Что было дальше, помню плохо. Почему-то память обратна пропорциональна напряжению наших чувств. Сильно взволнованный человек помнит события хуже. Вот и я тогда находился словно на седьмом небе. В памяти туманно всплывают только некоторые эпизоды того дня.

Помнится, мы лезли на гору. Я смотрел на стройные ноги, на которых ветки оставили белые царапины.

Хорошо запомнилось, как Дануся стоит наверху и с чисто женской неловкостью — одинаково левой и правой рукой — кидает вниз камушки, поощряя и меня:

— А теперь прошу — пан!

Меня охватило желание порисоваться. Я прыгал с обрыва, кидал камни, перепрыгивая через овраги. И как я не свернул себе шею, не сломал ноги! Говорят, пьяным и влюбленным всегда везет. За первых не ручаюсь, пьян не бывал, а влюбленным, видно и вправду, везет.

— Никогда еще не видела, чтоб мужчина так прыгал! — искренне удивилась Дануся, когда я, найдя кусок телефонного кабеля, демонстрировал с его помощью свое мастерство. Нет, что бы там ни говорили, а ради одной этой похвалы стоило перетерпеть и кулаки рыжего капра-ла, и нудные упражнения педантичного Левандовского.

Держались мы на некотором расстоянии друг от друга, стараясь не встречаться глазами. И хотя Дануся часто ахала, любясь открывающимися с высоты пейзажами, я ясно различал в ее голосе и страх и подбадривание.

Она напоминала дитя, которое вырвалось на волю и старается натешиться, пока мать не позовет домой.

Еще перед свиданием я хорошенько обдумал, куда и как пойдем.

Мы взобрались на облюбованную гору, никого на пути не встретив. И наверху нас никто видеть не мог, зато мы видели все.

Неловкость, что была в момент встречи у колодца, прошла. Мы оба были словно пьяные, и даже пустой разговор казался нам значительным.

Я всячески хвастался, о чем-то говорил, говорил, но главным образом при помощи рук, плечей, мимики. Дануся

все больше слушала и смотрела. В разговоре была сдержана.

В детстве я верил сказкам о существовании рая. И теперь у меня было такое ощущение, словно нахожусь в этом самом раю.

И не было курсов.

Не было сотен проклятых бутылок с молоком, которые мне, сонному, завтра до рассвета нужно разнести по квартилам.

Не было моей деревни, родителей, тысячи ежедневных забот.

Вокруг была весна, была Дануся, звучали чудесные мелодии, как никогда радостно светило солнце, а время останавливалось, застыло.

Ожидая встречи, я мечтал о том, как прижму ее к груди, а на горе боялся к ней прикоснуться. Чаще всего, как шальной, вперял в нее глаза, молчал.

Есть почти неуловимые приметы, по которым всегда можно определить национальность. Многим полякам в то время была свойственна некоторая сухость, сдержанность, идущая от набожности. Но за Данусей ничего подобного не замечалось.

У девушки были голубые глаза и гладкий лоб с тонкими, словно резными, бровями, яркие губы.

В ней угадывалась порода, которая, видимо, культивировалась не одним поколением. Ее гибкое тело дышало здоровьем и легкостью, а зубы и волосы излучали какой-то особенный блеск.

Когда она смеялась или говорила, смеялось и говорило в ней все: фигура, лицо, брови, даже лоб, а больше всего — глаза. Они менялись тысячу раз. Вглядываясь в них, я словно что-то пил, пил, пил и не мог ни напиться, ни оторваться.

3

— А мы своему полонисту устроили кошачью музыку!.. — похвалилась она. — Такой устроили ему примаприпис, что жаловаться директору бежал!

И наши курсанты использовали первое апреля для сведения счетов с нелюбимыми преподавателями.

— Залесскому?! — обрадовался я, что она со мной в сговоре.

— Один апрелис уже прошел, но я вспомнила про старый стиль. Ну, думаю, обожди!.. А вчера на истории пан

профессор нам читал документы Ягайлы из Вавеля. Король писал по-белорусски...

— Знаю...

Я почувствовал, что из-за таких фактов вырастаю в ее глазах.

— Белорусский — тогда был придворным языком, наряду с французским и латынью! — выкладывал я ей сведения, полученные от Луцевича.

Пробыли мы вместе часа два. Дануся вдруг спохватилась:

— О-ей, нужно идти, время мое истекло...

— Уже? — очнулся я.

Видно, только гордость не позволяла ей признаться, как не просто быть дочкой генерала, как приходится хитрить, говорить дома неправду, когда нужно куда-то пойти.

Все мои старания удержать ее были напрасны. Но не беда, теперь я осмелел. Глядя в землю, неловко, словно герой какого-то рыцарского романа, выпалил:

— У колодца положу камень. Под ним будет записка...

Дануся прикинулась, что не слышит. Ей вдруг будто бы понадобилось сорвать травинку, и девушка нагнулась. Но по движению рук я почему-то догадался, что все будет в порядке.

— Вы еще немного побудете здесь? — просьба в устах Дануси неожиданно прозвучала, как приказ.

Я понял, что мне следует немного переждать на горе.

— Ага, побуду. Надо наломать веник для хозяйки.

Стало неловко за свою недогадливость. Я подумал, какая она деликатная и умная.

Вернулся я во двор и не знал, что делать. На чердак была открыта дверь, приставлена лестница — прачка как раз туда носила вешать белье. Вмиг я очутился на чердаке. Осторожно приподнял одну черепицу и посмотрел в окно генерала.

Я отчетливо увидел, как влетела в комнату Дануся и припала к зеркалу. Она счастливо заулыбалась, повторяя выражение лица, какое у нее было со мной. Это ей легко удавалось — она была возбуждена и вся лучилась.

Насмотревшись на себя, Дануся открыла шкаф, повесила туда плащик. Затем снова подошла к зеркалу и начала придумывать какие-то комбинации с шапочкой и смеяться...

Но тут я услышал скрип лестницы — прачка несла развешивать белье. Ничего не поделаешь, пришлось черепицу положить не место.

После встречи у колодца я сразу переменялся. Я стал богатым, владел тайной, которую не променял бы ни на какие миллионы. Я стал уверенным, счастливым — у меня даже появилось чувство юмора, которого я за собой до сих пор вроде и не замечал.

...К парадным дверям лица подошла торговка. Боязливо озираясь, — нет ли поблизости полиции, — развязала мешок, выставила свой товар напоказ.

— Мандаринки внизу по пятнадцать грошей за штуку! — разнеслось на перемене по всем пяти этажам.

В этот день утром я положил под камень у колодца письмо, и через короткое время его уже там не было. Я насторожился: не дети ли, чего доброго, вытащили? Я поспешил к лицу, чтоб дожидаться конца занятий и спросить Данусю, она ли взяла послание.

Когда я подходил к подъезду, группа гимназисток атаковала торговку. Только Дануся с подругой стояли в стороне.

Увидев меня, девушка обрадовалась:

— Пане Янку, очень прошу, займите мне, пожалуйста, тридцать грошей!

У меня дух перехватило от счастья. Дрожащей рукой я вынул три монетки по десять грошей и, как это делал адъютант Куба, щелкнул каблуками:

— Прошу, панна Янковская!

— Дзенькуе! — только бросила Дануся и растворилась в толпе гимназисток.

Я вернулся домой и стал придумывать, под каким бы предлогом отказаться от денег, когда Дануся будет их возвращать, но все выдумки мои никуда не годились.

После полудня, когда я собрался идти на курсы, к сетке, ограждавшей генеральский двор, подбежала Дануся, протянула на ладони две монетки — десять и двадцать грошей.

— Возьмите, прошу! Я пану очень благодарна! — промолвила она смущенно.

Виноватый и растерянный вид девушки придавал мне смелости.

— Гм! — насупил я брови. — Паненка принимает меня за дурака?!

— Почему?... — испугалась уже она.

— Давал я вам не такие деньги!

— А-а!.. Но я прошу возьмите скорей!

— О, нет, вам меня не обдурить! Брали-то вы у меня другие! — категорически заявил я и направился на улицу.

Для меня тридцать грошей — целое состояние, на я радовался.

«Однако додумался же, смотри-ка?! Вот тебе и тупица!»

Я был так собой доволен, что даже забыл, о чем хотел спросить у нее.

Теперь Дануся приходила по моим запискам. Как-то случилось, что не могла выйти из дому, и ответ положила под камень тетка Антося.

Однажды девушка принесла завернутые в бумагу несколько плиток шоколада.

— А сколько это стоит? — вырвалось у меня.

— Кажется, золотый, — ответила беспечно.

— Злотый?!

— Пусть пан Янек ест! Я специально для него принесла, — поощряла она, обращаясь ко мне в третьем лице, согласно польскому обычаю вежливости.

Рядом лежали ее тетради, книжки и авторучка американской фирмы «Ватерман» с золотым пером. Я поинтересовался:

— А сколько она стоит?

— Двенадцать злотых.

— Двенадцать?

— А может, и больше, не помню уже, — не поняла она моего удивления.

А я на минуту даже онемел. За двенадцать злотых мне нужно полмесяца носить молоко. За такую сумму крестьянин продает теленка, он ждет этого дня целый год и заранее всей семьей высчитывает, что купить не вырученные деньги.

— Но прошу же! — с капризной нетерпеливостью воскликнула девушка и привычным движением разорвала блестящую обертку.

Дануся всегда приносила с собой предметы своего мира: конфеты, иллюстрированные журналы — польские, французские, английские: она отлично владела этими языками. У нас на курсах, как и вообще во всех средних школах Польши, иностранным языкам уделялось много внимания, и немецкий журнал я тоже мог кое-как читать. Конечно, такие журналы я просматривал с жадным любопытством.

Помню, я неожиданно сделал тогда открытие: в польском языке запятые не ставятся иногда как раз там, где их ставят в немецком. Например, в предложении «Она пригласила меня пойти на экскурсию».

— А в польском языке тут будет не так! — воскликнул я.

— Ты не знал? — удивилась Дануся: — А в английском запятая иногда ставится совсем иначе. И во французском, и в русском! Смотри!

Дануся начала писать примеры в тетради.

— «Дом, в котором я живу, большой». Видишь? Мы тут поставили две запятые. А по-французски «La maison qui j'habite est grande». Запятой нет. То же самое по-английски: «The house where I live is large». Тоже нет!

— Тогда зачем же вообще она существует, если можно ее так свободно переставлять? — возмутился я. — Гм, я давно подозреваю, что запятая вообще не нужна. Ее кто-то выдумал, чтобы задать работенки ученикам. Я ее учил на всякий случай. Теперь не буду — пусть зубрит тот, кто ее придумал!

Данусю это очень позабавило.

6

У нас были свои игры. Например, мы изображали испанский цирк. Гектор был быком, я — тореодором, а Дануся — судьей. Бывало, Дануся вместо законных трофеев тореодора — ушей, копыт и хвоста — со смехом давала мне что-нибудь вкусное, а в это время Гектор хитро ко мне ластился.

Однажды на горе застал нас теплый дождик. Он еще не прошел, а уже засияло солнце, засверкали миллионы серебряных капель. Прямо перед нами заиграла чудесная радуга.

— Знаешь, что это? Для нас ворота небо сделало, видишь? — схватила меня за руки Дануся. — Войдем в них!

Мы шли, а разноцветная радуга словно нас дразнила: все отступала, пока не растворилась совсем.

Иногда Дануся пересказывала содержание статьи из иностранного журнала, и мы вместе увлекались разными мелочами.

Удивлялись, например, вычитав, что в Англию приехал индийский магараджа и приказал вставить себе зубы с... бриллиантами!

Удивлялись, что человеческий организм создан с таким

запасом прочности, что, например, кость голени может выдержать двадцатикратный вес всего тела.

Удивлялись, что для того, чтобы увидеть звезды днем, достаточно залезть в колодезь!..

Порой прочитанное вызывало у нас горячую дискуссию и мы спорили, позабыв обо всем на свете.

Помню, в одном польском журнале под фотографией небритого человека стояла сенсационная подпись, напечатанная жирным шрифтом:

«Смотрите, вот этот молодой человек, инженер Збигнев Дуниковский из Варшавы, изобрел способ из обыкновенной земли делать настоящее золото!!»

Не знаю, верил ли хоть один человек в редакции журнала написанному, но мы поверили сразу и начали фантазировать, что бы каждый из нас делал, владей он подобным изобретением.

— Я нагрузила бы золотом автомобили, ездила бы по Польше и раздавала бедным, — заявила Дануся.

— А если к машине подойдет переодетый богач? — спросил я. — Им же всегда своего мало, и они к тебе ринутся в первую очередь, только с такой машиной по-явись!

Но аргумент этот показался мне недостаточно убедительным, и я поискал получше.

— Почему ты вся съежилась, когда твоя мать раздавала деньги нищим? Должно быть, сама чувствовала, что не очень приятно брать подачки. Я, например, не взял бы ни за что!

— Почему?

— А ты бы взяла?

Дануся задумалась.

— Должно быть, нет...

— Видишь! Ну, а еще?

— Нагрузила бы в машину конфет и лент, ездила бы по деревням и раздавала бы конфеты детям, а девочкам повязывала бы банты.

— Вот-вот, банты!

— О, знаю уже, что еще бы сделала! Если бы имела много денег, то отдала бы их виленскому «Благотворительному обществу женщин-католичек».

— Обществу?

— Это моя мечта. Ему необходимо много денег, чтобы кормить бедных, оказывать им помощь. Мамуся говорит, что в варшавских столовых общества висят даже шелковые занавески, а у нас, в Вильно — марлевые. И то

мы их с Яниной сделали, с дочкой пана старосты¹. Теперь каждый день экономлю деньги, которые дает мамуся, и отношу их в «Общество». А скоро мне исполнится ровно восемнадцать, и тогда я, как и мамуся, получу членский билет.

Я наконец догадался, о чем она говорит, вспомнил, как прошлой осенью зарабатывал злотый. Вспомнил выживших из ума старух. Вспомнил даже занавески с белыми пятнами от сырости.

— Ха-ха-ха-ха! Ну и придумала!..

— Чего ты? Правда, правда! — горячо меня убеждала она.

Тогда свои проекты изложил я. Были они очень широкими и, разумеется, не похожими на Данусины.

Владей таким изобретением я, — закупил бы бомбардировщиков, линкоров, современных танков и послал бы их на генерала Франко — мстить за республику.

А еще, имея я много денег, построил бы плотину на реке Конго и освободил бы Сахару; в каком-то журнале писали, что французские инженеры-энтузиасты создали проект обводнения пустыни, но не имеют средств для его осуществления.

Потом в своей деревне проложил бы водопровод, провел бы электричество, построил бы баню, а каждому мужику — новую хату!

Дануся слушала с детской доверчивостью. Многое ей в моих фантазиях нравилось, и она была согласна отказаться от своего плана, удался бы только мой.

— И я поехала бы с тобой в Конго! — с готовностью заявила она. — Правда, правда! И тебе было бы нетрудно взять меня, потому что у меня есть заграничный паспорт. Каждое лето с мамусей ездим в Швейцарию. В Африке я тебе помогала бы!..

— Помощница нашлась!..

— Правда, правда, помогла бы! Я дома часто помогаю Антосе, и это очень нравится папе!

— Э, горькое дитя! — вспомнил я, как она набирала воду из колодца. Будто дурачилась. — Одна ты у своего папаши, он не знает, как тебя и баловать!

¹ Главное административное лицо уезда в буржуазной Польше.

Однажды принесла она как-то из дому французскую книжку — правила хорошего тона.

— Янку, тебе следует с ней познакомиться!

— Ну, давай, учи меня хорошему тону! — посмеялся я.

— «За столом не подчищай тарелки, не хватай последнего куска хлеба, пусть останется...» — начала сходу переводить Дануся.

— Брехня! — перебил я. — Бывал я в ваших ресторанах, видел, как вы там едите! В нашей деревне правила хорошего тона таковы: если ты ешь, так доедай до конца, не порти харчей и помни, что их добывают потом!

Дануся удивленно на меня смотрела.

— Что ты уставилась? Может, неправда?! Вижу, сколько ваша Антося каждый день выбрасывает обедков на свалку — этого хватило бы еще на целую семью! Ваш Гектор даже колбасу не сразу соизволит съесть: семь раз понюхает, прежде чем проглотит. Вас, буржуев, поддерживать бы с неделю на одной воде, чтоб вы узнали цену хлеба! Одним словом, ясно! Давай, читай дальше!

— «Почему так мало людей, приятных в беседе? — переводила она. — Ибо каждый думает больше о том, что хочет сказать сам, нежели о том, что говорит его собеседник... Вместо того чтобы возражать ему, перебивать, надо входить в способ мышления собеседника, в его вкус».

— И еще поддакивать ему, по-твоему?

— Янку, но нельзя же обижать человека только потому, что ты с ним не согласен!

— Ну, эта философия мне тоже не подходит.

— Но почему-у?

— Кто-нибудь будет молоть ерунду, а я должен слушать, да еще «входить в способ его мышления»? Так он может договориться до такого, что ему за его слова надо набить морду, а по твоим правилам?

— Ой, Янку, почему ты такой грубый? Не собираюсь с тебя делать графа, но хочу научить, чтобы не был таким дикарем. Так учись же! Есть целая наука, как вести себя на людях!

— Тебе кажется, что я грубый, потому что тебя учили на вот таких буржуйских книжечках. Учили всегда быть доброй. А отец меня учил, что все добрыми быть не могут, потому что пришлось бы тогда одинаково кланяться — и разумным и идиотам! Мать же меня учила говорить

всегда правду и правды держаться. Я не грубый, держусь отцовской и материнской философии.

Дануся не знала, что ответить.

— Гм, по-твоему, если вижу дурака и он говорит глупости, то во имя твоего правила, которое кто-то во Франции выдумал и вписал в эту книжонку, я не имею права сказать дураку: ты дурак, лучше помолчи, не мели чепухи, а послушай, что скажут умные! А еще должен подстраиваться под его тон, так?

— Но ведь он тоже человек, Янку, почему ты не понимаешь?

— Так пусть не будет дураком, коли человек! А если идиот, то уж не человек!

— Зачем же его оскорблять, Янку? Лучше найди аргументы и переубеди его!

— До дурака аргументы доходят? Как бы не так!.. Я не оскорбляю, я диагноз ему ставлю, и он за это должен быть мне благодарен!

— Нужно быть вежливым!

— Вежливость — притворство. У нас терпеть не могут притворщиков!

— Это у тебя от крестьянской прямоты! Но ты должен еще набраться и терпимости к людям, интеллигентности... Если бы мы сели кушать, неужели ты взял бы последний кусок со стола?!

— А если ты покушала? Он же — пропадет!

— Бывает стыдно признаться, что голодна.

— Разве этого стыдятся?

— А — нет? Ты только так говоришь, но и сам последний кусок у меня не забрал бы, у тебя щедрое сердце, Янку!

— Гм, вот как выкрутилась!..

— Ничего, постепенно сделаю из тебя человека!

— Валяй, разрешаю!..

Так мы спорили без конца.

Наговорились до того, что даже языки заболели. Потом молча лежали и рассматривали землю.

Через минуту нас уже удивляло, что одна песчинка не похожа на другую. А на горе их миллиарды. И все разные!

Присмотрелись хорошенько к травинкам: двух совершенно одинаковых не найдешь!

А листья? А цветы? А деревья?..

— Зимой, возвращаясь из лица, люблю рассматривать замысловатые узоры на стеклах витрин, — призналась

Дануся. — На каждом стекле новый узор, а мороз везде одинаковый...

— И я это заметил! — вспомнилось мне. — Знаешь, то же самое с людьми! Мы говорим: такой-то человек похож на нашего знакомого. А на самом деле сходство это очень отдаленное. На свете живет два миллиарда человек, и каждый — особенный! И так повсюду! Ух, даже страшно делается: откуда в природе такое богатство форм?

— Не знаю! — потрясенная не меньше меня, испуганно прошептала Дануся.

Мы так увлеклись беседой, словно читали интересную книжку.

8

Не удавшиеся восстания, тюрьмы, виселицы и угнетение в прошлом привели к тому, что народ польский стал идеализировать свою историю. Что ж, ничего удивительного: полтора столетия держали богатую в прошлом страну в кровавых когтях более могучих держав. И люди невольно искали утешения в мечтах. У многих поляков сложилось гиперболизированное представление о героизме и доброте их королей и князей.

Так же представляла себе прошлое и Данута.

Однажды, когда мы перебирали своих любимых героев, она неожиданно призналась:

— А мой идеал мужчины — ксендз Кардецкий¹.

Удивленный, я не нашелся что и ответить. Надеялся, что она назовет Костюшку, даже Пилсудского, но чтобы этого попа?!

Это у нее от религиозного дурмана. Ничего, пройдет.

Расставшись с Данусей, я начал мечтать о том, как помогаю генеральской дочке стать революционеркой. В успехе я не сомневался.

Вот только вчера окончился нашумевший судебный процесс в Гдыне. Дочь одного фабриканта попала в лапы полиции в то время, когда раздавала курортникам на пляже марксистскую литературу.

А года два назад в нашу деревню приезжал студент, он для видимости читал крестьянам лекцию о

¹ Ксендз Кардецкий — герой романа Г. Сенкевича «Потоп». Согласно описанию автора, в 1865 г. Кардецкий организовал оборону костела на Ясной Гуре в Ченстохове от шведов. С той поры костел стал местом поклонения набожных поляков, а Кардецкий — национальным героем.

звездах, на на самом деле привозил подпольщикам инструкции. Я тогда слышал, как этот парень рассказывал, что в городе у него есть надежный друг, сын генерала — коммунист.

— Дома у них на столе стоит бронзовый бюст маршала Пилсудского, — говорит он. — Генерал и не знает, что сын держит в полости бюста коммунистическую литературу.

Почему же не может стать подпольщицей Дануся? У нее ведь чуткое, доброе сердце.

Дануся в лице не очень выделялась, получала преимущественно четверки и редко — пятерки. То же самое и с музыкой, с игрой в теннис — и там всегда находились более способные. Но она росла всесторонне развитым человеком...

Неужели она меня не поймет? Только надо выбрать подходящий момент и взяться за дело.

9

На Большой улице был кинотеатр повторного фильма. Когда водились деньги, я туда ходил. Там за небольшую плату в один сеанс показывали целых два приключенческих фильма — на изношенной пленке, но за четыре часа насмотришься и напереживаешься вволю.

Мне нравились книжки про Ната Пинкертон и ковбойские фильмы. Меня привлекали сильные люди, защищавшие слабых, я любовался смелостью и честностью сыновей прерий. В фойе и в зале никогда не включали света и можно было не опасаться, что пападешься на глаза знакомым.

Удалось уговорить Дануту пойти в кинотеатр.

Дануся так увлеклась фильмом, что стала похожа на мальчишек в зале, которых даже можно было ущипнуть — все равно не почувствуют.

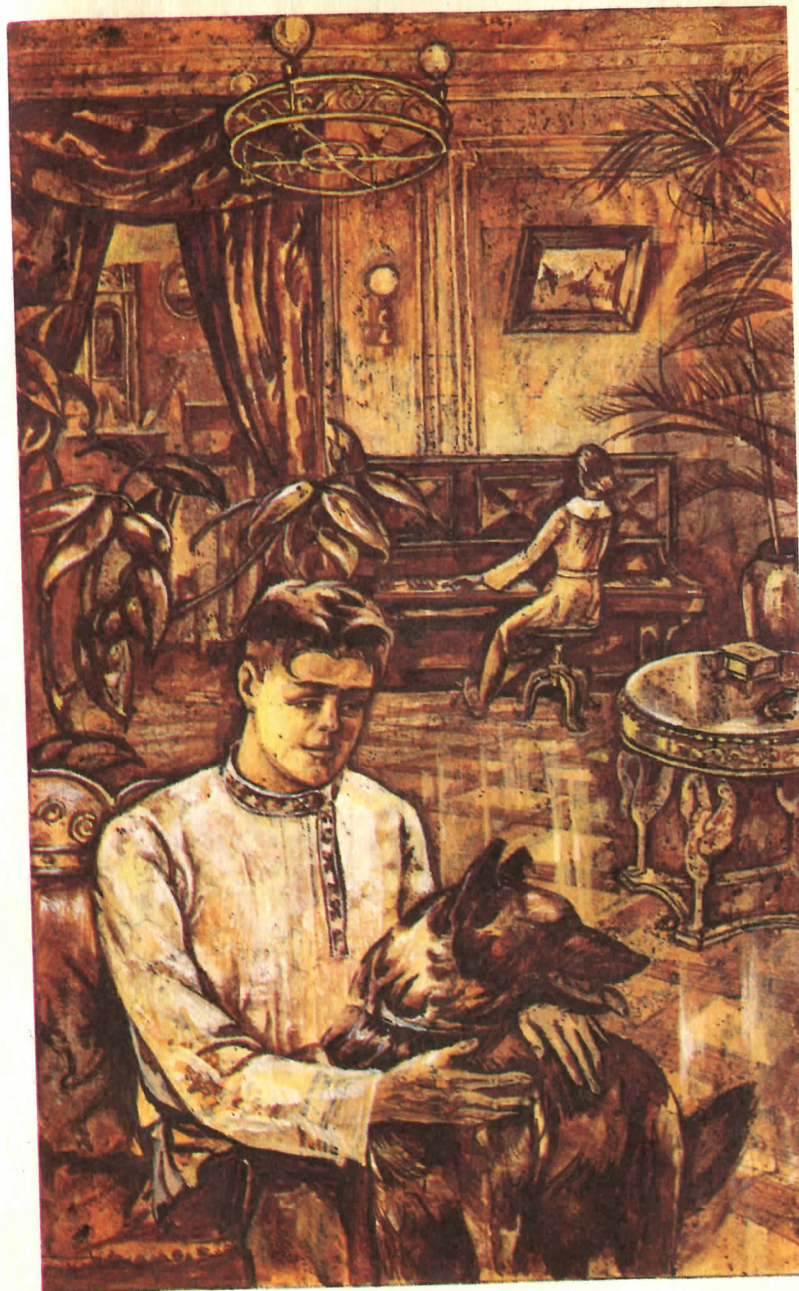
Возвращаясь из кино, девушка спросила, почему теперь не работаю посыльным. Я и рассказал, как меня поймали с письмом и прогнали с работы, как теперь встаю в четыре часа и до восьми разношу по вилениским кварталам бутылки с молоком.

— А ты в это время только переворачиваешься на другой бок.

— Бо-о-оже! И почему ты мне об этом раньше не сказал?! — огорчилась она.

— Не сказал, так знай теперь.

— Матка боска, что делать?! Давай продадим мои не-



нужные платья, их у меня много-много, и будут у тебя деньги! Но как их продашь?.. У меня на сберегательной книжке десять тысяч. Но мне еще не исполнилось восемнадцати, и денег не выдадут... Теперь понимаю, почему тебя так удивляло, сколько что стоит!..

— Ага, понимаешь, слава богу!..

Вернулись мы в тот раз поздно. Идти домой через калитку Дануся не отважилась. Я поднял ее на руки и опустил по ту сторону изгороди, заросшей диким виноградом.

— Янек, наклони голову, что-то скажу! — шепнула девушка.

Я наклонился к забору. Дануся сквозь ячейку металлической сетки притронулась губами к моей щеке. Я ощутил поцелуй легкий, словно к лицу прикоснулись уста ребенка.

— Это моя награда, милый, за все! — выдохнула она и побежала домой.

Некоторое время я стоял неподвижно, все еще слыша ее шепот, вышедший из глубины души, ощущал прикосновение губ — прохладных, как и руки, к которым случайно прикоснулся щекой, пересаживая девушку через забор. Это был холод здоровой девичьей плоти, что обладает магической силой кружить голову и усиливать сердцебиение.

10

Она меня поцеловала!

Сознание этого наполнило меня уверенностью, придало смелости.

На следующий день я решил проявить инициативу. До самого вечера дрожал от волнения, придумывая, как осуществлю свое намерение.

Встретились мы, когда зашло солнце.

— Янек, перестань! — словно сквозь сон услышал я испуганный Данусин голос.

Разгадав мое намерение, она уперлась ладонями мне в грудь.

Я легко сломил сопротивление паненки, обнял ее. Дануся вырывалась, и я поцеловал ее слишком торопливо и так неловко, что ударился зубами о ее зубы.

— Как ты смеешь?! — закричала она с негодованием и вырывалась.

В сравнении со мной у нее было силы, как у цыпленка.

Но именно слабость эта меня и обезоружила. Ошпаренный, я виновато молчал, часто дыша и глупо улыбаясь.

— Что, только тебе можно целоваться? — попытался защититься, понимая, что говорю не то.

В удивленно-обиженных глазах Дануси я прочел укоризненный вопрос:

«Ты шутишь или серьезно говоришь?»

Балда! Довел себя до того, что поцелуй стал для меня самоцелью. Да и целоваться в ту минуту совсем не хотелось. Какое-то мальчишество. Своей нетерпеливостью все испортил.

От прикосновения к ее влажным губам я не только не почувствовал удовольствия, но и был разочарован — и это все наслаждение от того самого таинства, о чем столько говорят и пишут?

Случай сразу привел меня в чувство.

Обиженная Дануся с возмущением поправляла волосы.

— Грубиян! — бросила она, и ее голос задрожал от слез.

— Потому что из деревни, — сказал я, понимая, что говорю не то.

Чтобы успокоиться, я собрал камней и со злостью начал швырять их с горы. Когда я оглянулся, возле меня уже никого не было.

Ушла? Ну и иди! Нужна ты мне больно, генеральша, подумаешь!

Злой и расстроенный, начал я спускаться с горы.

11

Однако Дануся мне все простила. И призналась на следующий день, что ее уже целовал один человек. Но в признании было столько наивной простоты, искренней доверчивости, что новость эта сделала девушку еще более привлекательной.

Вот примерно с того времени и начались наши несчастья.

Кажется, все было так.

Данусе импонировали мой рост и сила, и поэтому я старался это подчеркивать. Чтобы казаться еще больше, становился на высоком месте, хвастался наганом. Старался продемонстрировать сразу все свои достоинства, будто боясь, что потом будет поздно.

— Лонгинус! — нежно называла меня Данка именем героя романа Сенкевича «Огнем и мечом». — О-ей, какая у

тебя сильная шея! Я где-то читала, что это признак упрямства.

— Этого у меня хватает. Могу даже тебе занять! — победно сказал я.

Дануся что-то вспомнила. Помолчала минуту и спросила:

— Янек, рост Адама Мицкевича был сто семьдесят восемь сантиметров. Это много или мало? Кто из вас выше?

Я показал ладонью, какого примерно роста был поэт: почти на полголовы ниже меня.

Дануся внимательно посмотрела, и я понял — вопрос не случайный.

В ее книжках — вместо закладок — лежали портреты какой-то белокурой женщины. Часто при мне Дануся рассматривала их и вздыхала.

— Кто это? — поинтересовался я.

— Мой идеал женщины — Марыля Верещак. — Она сделалась грустной, задумчивой.

Ничего еще не подозревая, я продолжал расспрашивать.

— Марыля любила Мицкевича, но пошла на жертву. Не желая огорчать родителей, оставила поэта и вышла замуж за недюбимого графа Путкамера...

По тому как виновато опустила она глаза, я вдруг понял, что говорится все это неспроста.

— Неужели и ты?! — ужаснулся я и похолодел: она хочет вот так же выйти замуж за Бронислава Любецкого. Ей тяжело, и в утешение себе она часто вспоминает Марылю.

Дануся не ответила.

— Это правда, Данка?

— Правда, Янек... — прошептала она, беспомощно и виновато опустила голову.

Чего я тут сижу? Я вскочил сам не свой.

Так вот кто ее первым поцеловал — этот никчемный франт Бронислав!

Вот почему она расспрашивала про рост Мицкевича!

А я, глупец, был так счастлив последние дни. А чего от нее хотеть?!

Я ощутил укол ревности. Сколько дней ничего не знал! За кого она меня в таком случае принимает, за мальчишку? Какова моя роль во всей этой истории, придворного шута?

Сразу Дануся сделалась недостижимой, такой же, как и осенью, до первой встречи у колодца.

Доказывать всю нелепость ее намерения я не мог, не умел, да к тому же во всей этой истории был заинтересованным лицом и гордость не позволяла мне переубеждать Данусю. В паненке было столько наивной самоотверженности, что я постепенно начал проникаться сочувствием.

Но все это было позднее. А в тот момент, после первых Данусиных слов, у меня отняло язык. Да и о чем было говорить? Признаваться в любви? А дальше?

«Вот тебе и революционерка!» — вдруг открылась мне вся наивность намерения перевоспитать паненку.

12

Прошло несколько дней.

Несмотря на признание, постепенно я успокоился, и Дануся стала мне еще дороже. Говорят, чем недоступнее человек, тем больше мы его любим. Еще говорят, чтобы крепче поверить, нужно начинать с сомнения, а чтобы полюбить крепче — с ненависти. Я так и начинал.

Некоторые парни меня удивляли своим отношением к девушкам. Мне же девчата казались недостижимыми богинями и ангелами. Я по натуре не был влюбчив и своими чувствами не разбрасывался, а их копил, и теперь они бурно проявлялись.

Чтобы человека полюбить, одних взглядов мало. Нужно сцепиться характерами, стремлениями. Дануся меня привлекала не только обаянием писаной красавицы польки.

Действиями людей того мира из которого я происходил, чаще всего руководили заботы о насущном хлебе, им была введена одна работа — мускульная.

В наших семьях стыдились откровенной чуткости. Сказки детям рассказывали только для того, чтобы они засыпали, не лезли, куда не следует, или не плакали — иначе какой смысл терять время на подобные глупости?

На цветы внимание обращали только молодые, и то — между делом.

Вырастет около дома деревце, его могли срубить, потому что тень будто бы приносит в дом влагу: гриб съест стены.

Бабка могла прожить свой век и не побывать в соседней деревне.

Поедут, бывало, двое мужиков на мельницу. Одному жена даст торбочку с едой. Он ест при друге, с которым

прошла вся его жизнь, а не явится у него даже и мысли поделиться куском хлеба, да и приятель на него не обидится.

А женились преимущественно так. Хлопцу выбирали невесту родители или даже чужие люди. Выбирали в зависимости от количества коров, качества воза — приданого невесты.

Конечно, случалась и любовь, а как же.

Неподалеку от моей деревни, при дороге, и поныне лежит груда камней. Бывало, идут женщины в лес по ягоды, вынимают из подола камни и швыряют ими в груды: когда-то одна девушка из нашей деревни не перенесла того, что ее любимого женили на другой, и утопилась.

— С ума сошла! — говорили одни.

— Нет, эту девку бес попутал! — твердили другие.

Поп даже не разрешил похоронить утопленницу на деревенском кладбище. Закопали в чистом поле у дороги, и до 1939 года наши женщины с гневом и презрением швыряли в могилу камнями.

Только в последнее время люди моей деревни, хоть еще и очень смутно, но все же начали догадываться, что где-то есть и такие вещи, как любовь, красота, дружба — словом, некий иной мир, им неведомый. И мне казалось, что Дануся как раз из этого мира, о котором мечтал и к которому тянулся, как растение к солнцу.

Я был тогда молод и, естественно, искал чего-то лучшего, необычного: людей, социальный строй...

Нужно сказать еще и вот о чем.

Мы встретились в таком возрасте, когда готовы были — и она и я — влюбиться в человека, который, как нам казалось, соответствует нашим идеалам. И как только зародилось чувство у одного из нас, оно, по каким-то волшебным своим законам, вызвало ответное чувство у другого. Неважно, что мы происходили из разной среды и это делало наше сближение нелогичным. Разве любовью правит логика? Права студентка: часто действительность бывает сильнее любой теории.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

I

После Данусиного признания я несколько дней ходил как убитый, проклинал все и думал — лучше уж вовсе ее не знать.

Несколько дней мы не встречались.

— Янек! — вдруг позвала меня девушка с вершины горы, когда я брал воду. — Иди к нам!

Я с трудом проглотил застрявший в горле ком обиды.

— Ну, не злись! — сбежав вниз, она потащила меня за руку. Гордость моя куда-то вмиг испарилась, и я покорно последовал за ней.

— Моя подружка Бети! — отрекомендовала она мне Залкиндову дочку.

От неожиданности я не знал, как себя вести.

А девушка не давала опомниться. Сняла с плеча «лейку» и приказала:

— А ну, стань рядом с Бети, я вас сниму!

— Беточка, на, сними теперь меня с паном Янеком! Я аппарат навела, только нажми спуск!

Дануся стала рядом. Ее подружка нас щелкнула и вернула фотоаппарат. Все это произошло на протяжении считанных секунд.

— Теперь на, раздави! — протянула мне Дануся несколько грецких орехов.

Она явно хотела похвастаться моей силой. Стало неловко.

— Сожми, сожми! — добивалась девушка настойчиво, втиснув мне в ладонь орехи и пытаясь согнуть мои пальцы в кулак. Орехи рассыпались с сухим треском.

— Видишь?! — победно посмотрела Дануся на Бети.

Дочь Залкинда продолжала молча меня изучать умными глазами — такими прекрасными и выразительными, какие бывают только у евреек.

— Пане Брониславе, сюда! — вдруг прокричала Дануся.

Я глянул вниз — там шел Любецкий.

Было так жарко, что хотелось разуться, скинуть рубаху. А Любецкий был в элегантном темном костюме да еще при галстуке. Двигался не спеша, как человек, вышедший в праздник подышать воздухом, размяться.

— А, сервус! — проговорил он только и направился к нам.

На уровне моих ног показались блестящие залысины, потом шея, плечи.

— День добрый! Панна Данка! День добрый, панна Бети! — прерывисто дыша говорил Любецкий. — О, панна Данка с фотоаппаратом, отлично!

— А у меня пленка-кончилась! — с каким-то вызовом сообщила та.

— Жаль... — пробормотал Бронислав.

И только тут, на самой горе, он увидел меня и растерянно остановился.

— Пан Янек, знакомьтесь!

— Знакомы... — промямлил Любецкий и затоптался на месте. На его лице застыла глуповатая улыбка.

— Вы знакомы?! — удивилась Дануся.

Никто ей не ответил.

Я за ним внимательно наблюдал. Любецкий был до смешного жалок. Все выглядело так, словно здесь был не я, а некий строгий учитель, которого ученик Бронислав боится. Он перешел почти на шепот:

— Панна Данка, вас можно на минутку?

— Пожалуйста! — рассмеялась она и переглянулась с Бети. — Извините, пане Янку!

Я не успел ответить: реакция в моем сознании проходила замедленно.

Бронислав повел паненку в сторону, но Дануся вести себя далеко не позволила.

— В театр, как договорились?

— Конечно! — бросила она недовольно, капризно дернула плечиком и возвратилась к нам.

— Прощайте! Меня на Антоколе ожидают наши корпоранты!

— Зовите и их сюда!

— Что-то замышляют!.. Счастливы оставаться! — стараясь не встречаться со мной глазами, он ушел.

Брешешь, никто тебя не ждет. Самолюбие заело. Остался бы, кабы не я.

Мы трое смотрели ему вслед.

Бронислав в черных лакированных туфлях ступал неуклюже, приподнимая штанины и старательно выбирая место, куда поставить ногу. Дануся с Бети прыснули, у меня словно кто камень снял с сердца.

Поэтому и не слишком задело, когда вечером увидел Бронислава, выходявшего с Данусей из калитки генеральского двора.

Проходили лучшие наши дни.

Раньше Данута готовила уроки дома с подругами. Теперь после обеда с книжками спешила ко мне, а дома говорила — идет к подруге.

Мы чем-то очень дополняли друг друга и в то же время один другого не понимали.

Например, Дануся от души смеялась, узнав, что я не различаю по вкусу конфеты, — они для меня все одинаково сладкие.

Как раз в ту минуту мы увидели в кустах ежа. Выставив свою свиную мордочку, осторожно обходя кусты, он поковылял в нашу сторону. Когда я рассказывал, что еж зимой спит в трухлявом пне, сидит от старости и сильно храпит во сне, Дануся посмотрела на меня с уважением.

— Почему у тебя на одном башмаке подошва дырявая, а на другом целая? — рассмеялась она. — Ходишь ведь обеими ногами!

— На левой обувь всегда быстрее рвется.

— На правой!

— Нет, как раз же на левой!

— Да-а?!

Узнавать подобные простые вещи для Дануси было так интересно, что она не находила слов, чтобы высказать свое удивление.

В погожий день мы выбрались за город. По дороге Дануся рассказала о своей поездке за границу. Там видела такое, о чем я только в книжках читал.

— Поехали мы раз в Германию с паней воеводшей. Б Дрездене зашли в картинную галерею. Пани Боцянская подошла к одной картине и разочарованно воскликнула:

— Так ведь это висит в моей квартире в Вильно!

— Тут оригинал, а у вас — копия! — объясняю ей.

— Все равно не стоило из-за этого тащиться за тысячу километров!

— Оттуда мы поехали на море...

— Расскажи об этом!

— А ты не видел моря? — наивно удивилась девушка, когда мы шли уже полевой дорогой. — Это — какое-то чудо! И правда, ты не видел?

— Откуда ж я мог его видеть?

— Тогда слушай! Подъезжаем к Триесту, и мамуся говорит: «Смотри, вот море!»

Я глянула в окно — никакого моря. Только почему-то на небе плавают бревна, а выше — остроконечные облака. Хорошенько присматриваюсь — это не облака, а снежные горы! И никакого не небо, а вода, и плавают не бревна, а лодка с человеком!

Я подробно останавлиюсь на этом дне, потому что он как-то лучше других мне запомнился.

Еще прошлой осенью я облюбовал у аэродрома озерцо и привел сюда Данусю.

Последние дни солнце сильно припекало, озерцо высохло и стало похоже на большую лужу, заросшую камышом и айром. Дануся побежала к берегу и онемела.

Смешно. Чем здесь восторгаться? Все самое обыкновенное. Как и возле моей деревни.

Пахло нагретым солнцем камышом. На противоположном берегу спал под кустом пастух. Коровы залезли по самым животам в воду и лениво похлестывали себя мокрыми хвостами по бокам. Казалось, природа, как и эти коровы, расплылась, облепилась, млеет от удовольствия, и ни о чем не хочет знать. Вспомнились тоскливые дни, когда я с торбочкой через плечо вот так же целые дни, месяцы ходил за стадом и все не мог дожидаться, когда же настанет вечер.

— А почему коровы забрались в воду? — поинтересовалась Дануся.

— Чтобы молоко не прокисло в вымени.

Но шутку паненка приняла за чистую правду:

— А-а!

Боже, до чего же она еще дитя!

— А сказать, почему машут хвостами? Хвосты у них для того же, что и веер у пани Боцянской. Сметана откуда берется, знаешь? У коровы с вымени свисают четыре таких штучки с краниками. Откроешь один — парное молоко потечет, из другого — сметана, из третьего — масло выдавливают...

Только сейчас она поняла, что шучу, и мы оба рассмеялись, — ее настроение передалось и мне. Я уже воспринимал природу романтично, как в детстве.

— Кум! Кум! — грустно пожаловалась лягушка.

— Кум-кума, дай полотна! Зачем тебе? Деток крестить! — подхватил я.

Возле нас в аире что-то зашуршало, потом осторожно плюхнулось в озеро, и вода словно тихонько вздохнула и даже сморщилась, пошла кругами от удовольствия.

— О-ей! — вздрогнула девушка.

— Не бойся. Это всего-навсего лягушка. Думает, обманула нас, и мы ее уже не видим. Вот смотри, лежит, хитрая, на дне с вытаращенными глазницами.

— Ага, вижу!..

— Ну, пусть себе думает, что дураки, оставим ее... Лучше послушай, что творится в кустах!

Забившись от зноя в листву прибрежного олешняка, заливался соловей.

— Тёх, тёх, тёх! Побёг, побёг, побёг! По пятам, по пятам, по пятам! Ки-ем, ки-ем, ки-ем! Фи-и-и, фи-ю-фи-ю... — начал я дразнить птицу.

Дануся рассмеялась.

— Знаю все их двенадцать колен!.. Вот курские поют на пятнадцать, услышать бы такого!..

За это время проснулся пастух, выгнал скотину из воды, и коровы разбежались по лугу. Среди стада уже важно похаживали аисты. Зная, что Дануся опять будет задавать вопросы, я объяснил:

— Коровы выпоняют из травы лягушек, а аисты их хватают.

— Какая гармония во всем! Как красиво! Какое небо!

— А ты еще едешь за границу! Что твое море, что твоя Швейцария! Взгляни только как следует на наш край!

— О, боже милый!

— Причем тут твой бог?

— Янек, не кощунствуй! — она испуганно оглянулась, словно нас могли подслушать на небе, и тогда тяжелой кары не миновать.

Вот когда возьмусь за тебя.

Я увел ее от озера, усадил во ржи.

— Дануся, — приступил я к делу со всей серьезностью, — ты ведь образованная и умная девушка. Как ты можешь серьезно верить каким-то поповским сказкам? Ты ведь учила биологию, знаешь, что мир возник не за шесть дней, как твердят ксендзы, а развивался миллионы лет!

— Какой ты наивный! Библейская история сотворения мира дошла до нас от древних евреев. А слово «день» по древнееврейски означает и сутки, и год, и эпоху! В данном случае шесть суток нужно понимать в переносном смысле. Каждый день — целая историческая эпоха! — убежденно доказывала она. И еще искренне удивилась: — Почему ты не понимаешь, ведь это так просто!

Плохой из меня был учитель. Увидев, что не могу ее сразу убедить, я разозлился.

— Им нечем крыть, подтасовывают факты, а ты веришь! Ну, верь, верь! Верь и французским книжонкам!.. Ну и балда же ты, хотя и очень образованная, да из такой семьи!

— Янечек, успокойся. Постараюсь все хорошо понять, как ты хочешь!

И тут я прочел Данусе политическую лекцию.

Я сам в то время больше чувствовал, чем понимал, и о чем мог ей говорить, мне теперь даже трудно себе представить. Помню только, что Дануся слушала скорее покорно, чем внимательно, и соглашалась, что религия — прошлое, а идеи социализма — будущее народов. И я, по наивности, решил, что добился успеха. Это меня возвысило в собственных глазах. Вспомнил Любецкого и погрозил: подожди, князек, подсуну тебе дулю под нос!

Я не выдержал, притянул ее к себе и поцеловал.

Дануся разрешила дотрагиваться только на секунду, будто целоваться так — преступление меньшее.

— Хватит, Янка! — каждый раз испуганно вскрикивая, она вырывалась.

Это меня только раззадоривало. Я тонул за ней по ржи, падал в густую щелку упругих, как проволока, ядреных стеблей и целовал, целовал...

3

Под вечер, счастливые и довольные, мы возвращались домой с озера.

По дороге обогнали какого-то пьяного. В потертой дотканной одежке, он почему-то тащился на ночь в город.

Может, мы его и не заметили бы, если б он вдруг не стал перед нами кривляться.

— Ах ты, сосеночка! — слышался его монолог. — Росла себе, пригоженькая, в нашем лесу и горя не знала! А что с тобой паны сделали?! Спилили, ободрали, оклаивали железом, понацепляли проводов, и стоять тебе тут, бедной, и в дождь и в мороз, и в жару, и никто тебя, несчастную, не пожалеет, никому до тебя нет дела! А ты аж потрескалась с горя! Ах ты, моя сосеночка, что эти супостаты с тобой сделали!..

Мы посмеялись тихонько, чтобы не сердить пьяного, и пошли дальше.

На окраине, на отшибе, стояла красивая вилла. У окон толпились люди.

— Давай глянем, что там случилось! — попросила любопытная Дануся.

Мы сошли с тротуара.

У дверей виллы, опустив под подбородки ремешки

фуражек, дежурили солдаты. Духовой оркестр играл траурный марш.

Втиснувшись в толпу, мы узнали, что умер полковник. Как раз готовились вынести гроб.

Люди вокруг нас громко разговаривали, и никто о покойнике не горевал. Это, видимо, так потрясло Данусю, что она подняла на меня полные слез глаза. Но никому не было дела до настроения паненки, у которой папа тоже военный чин.

— Ты не помнишь, у кого — католиков или православных — перед тем как заколотить гроб, закрывают лицо покойнику? — безразлично спросила какая-то женщина.

— Понятия не имею. Одно знаю, что у евреев покойника облачают в саван. Лучше всего из простого полотна...

— Э, да ему все равно! — вмешалась третья.

— А наро-оду сколько!

— Как богатый помрет, то и последний из хаты прет, а как бедный худачок — только попик да дьячок!

— А сколько теперь будут платить вдове, не знаешь?

— Черт ее не возьмет, не бойся! Заплатят больше, чем нам с тобой...

Данусе подобные речи показались дикими и оскорбительными, она потянула меня за рукав:

— Бо-оже, какой цинизм!

Притащился уже знакомый нам дядька и с пьяной настойчивостью начал громко добиваться:

— Почему играют? А? Люди, почему играют, а не танцуют?

— Пане, тише! Человек умер! — возмутилась Дануся, хватая его за рваный рукав.

— Кто помер?

— Пан полковник!

— Будет другой, подумаешь!

Люди засмеялись.

— Вы пьяны! — Дануся проговорила это так, будто от ее слов человек немедленно сгорит со стыда.

— Кто пьяный? Да-а-а... Я, конеш-шно, пьяный! И пусты!..

— Пане постерунковый¹, уберите хулигана! — зашумели в толпе.

Вытащив из-за пазухи полбутылки самогона и тыча бу-
мажной пробкой в сторону Дануси, дядька торжественно продекламировал:

¹ Полицейский.

Я п-п'ю не панскія шанпаны,
Зямелькі роднай горкі сок...¹

Под дружный хохот толпы дядьку потащил полицейский.

Уйдем отсюда! Скорей! Я больше не могу! — взмолилась Дануся и расплакалась.

Я утешал ее, а она твердила свое:

— Я покойного знала! Весь город его знает! Пан Мечислав Станкевич. Одинокый старик. Его деда Муравьев повесил за восстание. Отец умер в царский тюрьме, а жена в войну — от тифа. Сам он — последний из рода Станкевичей, у нас бывал, мне интересные истории рассказывал. Весь его род погиб за Польшу, именно за них, а они так неблагодарны, почему?

— Ладно, перестань! — успокаивал ее я, но чувствовал, что она права. — Выходит, что и им надо лечь и помирать?

— Не люблю тебя, и ты такой же циник!

— Называй меня как хочешь, но успокойся, возьми себя в руки!

Наконец мы пошли.

Ювелиры уже убрали из витрин свои драгоценные побрякушки и попрятали в сейфы. Гремели металлические жалюзи — лавочники закрывали на ночь окна и двери. Служанки вывели на прогулку комнатных собачек. В костелах звонили к вечерне.

Проходя по Антоколю мимо костела Петра и Павла, Дануся, услышав звон, перекрестилась, забыв о своем недавнем обещании. Заметив, что она еще при этом набожно зашептала молитву, я выругался:

— Черт, называется, сагитировал!

4

Над Вилией, в центре города, стоял огромный дворец Врублевских. Некоторые выходцы из этого рода были известны в народе.

В 1906 году на судебном процессе адвокат Врублевский выступал с пламенной речью в защиту лейтенанта Шмидта.

Другие Врублевские собирали деньги для революции. Теперь же в огромных залах этого дворца паны нала-

¹ Стихи белорусского поэта М. Василька.

дили выставку, посвященную годовщине войны с Советской Россией. Среди редких посетителей выставки был и я.

На стенах висели картины. Черными стрелками на них было показано наступление легионеров Пилсудского. На многочисленных таблицах пестрели цифры — количество убитых и взятых в плен красноармейцев. Под стеклом несколько ржавых трофеев: русская граната — «бутылка», тульская винтовка, пулемет «максим», пробитые русские каски. На стенах — фотографии.

Бросался в глаза один снимок. Французский корреспондент заснял генерала в цинично-фанаберистой позе над телом убитого красноармейца. Генерал с подкрученными усами, подбоченясь, молодежато глядит в объектив, наступив начищенным до блеска сапогом на грудь молодого буденовца. У парня из-за пояса выбивается нижняя рубаха, и край ее втоптан в лужицу.

Генерал не был отцом Дануси, но я в нем увидел Янковского. Ночью мне даже приснилась война. Строчили пулеметы, Янковский с адъютантом в меня стреляли, его солдаты гнали за мной. Проснулся я весь в поту.

С того дня в моем воображении часто вставала картина — фанаберистый генерал над трупом буденовца.

Еще несколько дней назад я думал — жить не могу без Дануси. Теперь мне становилось страшно, что люблю ее, такую далекую и чужую. Что я скажу друзьям в деревне, как посмотрю им в глаза? Мне уже казалось, что любовь эта прошла, потому что, сидя рядом с Данусей, думал совсем не о ней, а о генерале.

Иной раз, когда мы бывали вместе, меня разбирала такая лень, что и зевнуть неохота. Разве так чувствуют себя в присутствии любимой?

«Так оно и должно быть!» — успокаивал я себя, вспоминая, как Дануся крестилась на костел, как сочувствовала покойнику-легионеру. На душе становилось легко и свободно, и я думал, что вскоре оставлю этот чужой город и уеду домой.

Какая-то впервые обретенная уверенность, словно после удачно заверченного дела, вселилась в меня. Это же дочь врага! И я смотрел теперь на Данусю свысока, снисходительно, словно делал ей великое одолжение, приходя на свидания.

И в то же время со мной происходило такое, чего никак не понять.

Порою стоило Данусе пустить слезу или высказать какую-нибудь просьбу, и вся моя непримиримость и безраз-

личие испарялись вмиг. А в минуты, когда я был с ней наиболее холоден и не обращал на нее внимания, Дануся еще больше тянулась ко мне.

5

Однажды были мы за городом, на Вилии. Дануся на меня внимательно посмотрела и приказала:

— Поверни-ка лицо!

— А что такое? — насторожился я, не понимая, зачем она достает платочек.

Платочек был маленький, надушенный, и разворачивала она его, словно лепестки цветка.

— Нагнись, Лонгинус! На лице у тебя какой-то сор! Старательно вытерев мне щеку, она сказала:

— Сними-ка рубаху, прополощу!

— Кто, ты-ы?

— Я! Думаешь, не сумею? Снимай!

Через минуту я смотрел, с каким увлечением полощет она рубаху, а потом выкручивает ее.

— Умеешь, умеешь... — подтрунивал я.

— Меня всему научили, только применить знания на практике не дают. А так хочется что-нибудь такое сделать... — призналась с грустью. — Особенно для тебя. О-ей, воротничок нужно немедленно зашить! Завтра принесу иголку и нитки... — захлопотала она, развешивая рубаху на кусте.

— Отлично! Этой работы я тебе подброшу — не обрадуешься! — пробормотал я вяло, потому что хотел спать.

Меня совсем разморило, сковало дремой, я растянулся под кустом. Прикинулся спящим. Дануся присела рядом и зашептала:

— Поспи, Янку! Ты сегодня так рано встал, бедный, наработался, набегался, тебе надо отдохнуть! Поспи, милый, я тебя постерегу!..

Сквозь полузакрытые веки мне было видно, как она внимательно рассматривает мое лицо, одежду. Потом осторожно, чтобы не разбудить, пощупала мой подбородок, щеку, лоб, нос — легко и нежно, словно хотела вложить всю себя в это прикосновение. Надо мной зажужжала муха. Дануся до тех пор махала рукой, пока муха не улетела. Потом стала трогать мои плечи. Затем нагнулась и припала щекой к моей руке и замерла...

А то было однажды — сидел я на горе мрачнее тучи. Дануся, увидев в моих руках письмо, попросила:

— Можно?

Я позволил.

Из деревни писали, что мать Степана Романовича легла в больницу на операцию и старухе понадобились деньги. А в те времена даже самая несложная операция стояла в Польше столько, что можно было на эти деньги купить корову. Чтобы помочь женщине, деревенские парни — мои друзья — ходили косить к кулакам, но заработанного было недостаточно.

Понимая, что Степанов наган — тоже деньги и что я теперь не имею права на него, я с сожалением вздохнул и пожаловался:

— Тяжело с ним расставаться!

— Я тебя понимаю, — с уважением сказала девушка, возвращая письмо, и задумалась. — Подожди немного, Янку, я, кажется, что-то придумала!

Вечером на лекциях я рассказал об этом Суткусу, и Альбина взялась мне помочь.

И правда. Через какой-нибудь час он выгодно продал револьвер Генрику Станевскому — за пятнадцать злотых, сумму по тому времени значительную. Я не досидел до конца занятий, поспешил на почту отослать деньги.

Возвращался я домой словно после расставания с дорогим другом. На столе ждала записка от Дануси.

Когда явился на нашу гору, она с заговорщицким видом развернула газету, вынула какой-то блестящий предмет и подала мне:

— Подарок от меня!

Я удивленно уставился на то, что лежало у меня на ладони и почувствовал, как задрожали руки.

— Молодчина ты, Данка!

— А ты только теперь об этом догадался?

— Но откуда же у тебя это, Даночка?! — спросил я, искренне обрадованный.

Я рассматривал револьвер. Он был еще совсем новенький, с двумя жеребчиками на рукоятке.

— Не бойся, милый, бери! — поощряла она. Моя растерянность, видимо, была ей приятна. — Это только один из коллекций моего папы. Фирма «Кольт», — объяснила Дануся, видя, что я внимательно рассматриваю изображение на рукоятке. — По-английски кольт — жеребенок. Бери, бери! Как-нибудь оправдаюсь перед папой, не беспокойся! Да он и не скоро вернется в Вильно...

Но благодарности у меня хватило ненадолго.

Сидели мы на своей горе, спрятавшись за кусты. Внизу по тропинке то и дело проходили люди.

Данусе, как и всем живым натурам, не нужно было для учебы особой тишины. Она одновременно учила урок, разговаривала со мной, да еще успевала замечать происходящее вокруг. Я, нарезав ивовых прутьев, плел корзинку, занятый своими мыслями. Данута закрыла учебник и, указав на девушку, идущую по тропинке, спросила:

— Нравится?

Я присмотрелся. Обыкновенная девушка.

— Что в ней интересного? Разве что эта черная родинка на щеке... — ответил я, недовольный тем, что прервали мои мысли.

— Сидит со мною, а душа его витает где-то!

— С кем, по-твоему?

— Со студенткой!

Дануся уже столько раз попрекала меня этим, что я наконец не выдержал:

— Заладила — одно и то же! Иди к черту со своей студенткой!

— Не буду, Янечку! — начала упрашивать она меня. — Только не сердись. Ты — единственный человек, с которым мне так хорошо!

Стало ее жалко, и я размяк.

Когда Дануся пришла завтра, в глаза мне бросился маленький кусочек аптекарского пластыря, приклеенный к щеке.

— Вязальной спицей укололась, — пояснила она.

Пластырь отстал, и я увидел черную точку, выжженную ляписом.

— Не смотри! — она покраснела и прикрыла щеку рукой.

Меня это тронуло. Опять стало жаль ее. Охватило такое желание поднять ее на руки и поцеловать, что она, видимо, это почувствовала, закрыла учебник и насторожилась. Под взглядом ее чистых испуганных глаз я смутился. Неловко взял ее за косу и, как это часто делают деревенские хлопцы, прикрывая свою нежность грубостью, промолвил:

— Экий хвост... Бабские фокусы...

Дануся обиделась, забросила косу за плечо.

Вообще я часто видел по глазам девушки, что мои грубые, а порой и вовсе глупые выходки ее очень оскорбляют.

Но, вероятно, девушку влекла ко мне какая-то сила, с которой она не могла совладать. Сила эта была столь властной, что после моей очередной выходки Дануся с еще большей поспешностью бежала на свидание и старалась мне угодить.

Так случилось и сегодня. Пришла на этот раз в платочке и спросила:

— Ничего не замечаешь?

— Нет.

— И — ничего, ничего?

— Абсолютно! А что?

— Тогда обожди здесь, взберусь на гору.

В этот день голова моя была занята важными делами и я вообще мало присматривался к окружающему.

На горе Дануся была уже без платочка.

— Ну, а теперь? — спросила она.

Похоже, изменилось ее лицо. Или мне так показалось...

— А в чем дело, объясни!

— По-твоему, сегодня я такая же, какой была вчера?

Только теперь спохватился, что у Дануси не было кос. Она была подстрижена под китайнку. Но я, вахляк, не оценил и этого.

— Еще что выдумала!.. — проворчал я и отвернулся.

Она обиделась. Обида была тихой, бессильной. Дануся отошла к обрыву, села, опустила голову. Я заметил, что слезы каплют на страницу книги, но девушка и не пыталась это скрыть.

— Слезка моя... — я прижал ее к груди.

Дануся захлебнулась от счастья:

— Как ты сказал? Повтори еще раз!

Я повторил.

— О-ей, как мне хорошо! — выдохнула она с каким-то болезненным наслаждением. — Только теперь вижу, как ты ко мне равнодушен! Ты своей грубостью прикрываешь истинные чувства, правда?..

— Так у нас в деревне...

— А ты брось деревенщину! Я ничего плохого о деревне не думаю, но ты таким не будь, ладно?..

— Я и сам вижу. Иногда делаю или говорю не то, что надо... А ты умная, Дана!.. И удивительно похожа на мою маму! — я ладонью откинул нависшие на ее лицо волосы.

— Правда? — обрадовалась она.

— Лоб — точно как у моей мамы, серьезно!..

— Как я тебя такого люблю!.. Скажи, моя прическа тебе нравится?

— Уже только потому, что она твоя.

— Такую носили все революционерки! И Эмилия Плятер! И Мария Конопницкая! И пани Пилсудская, когда ее муж был в Сибири в ссылке... Даже твоя Ольга носит такую!

— Да ну-у?

— А ты, дурачок, впервые об этом слышишь?

— Если все революционерки начнут одинаково стричься, легко будет дефензиве работать.

— Конечно, и здесь ты со своим практицизмом! Что с тобой сегодня?.. Ты все что-то таишь от меня, будто не доверяешь!..

— Дануся, пойми, есть такие дела, о которых не имею права говорить!

— Значит, ты мне не веришь? Кому, мне? Отвечай! Не веришь? Так и скажи! Неблагодарный!

Она расплакалась. Я утешал ее как мог, но напрасно. Сквозь слезы говорила:

— Хочу о тебе все, все знать! Клянусь памятью мамуси, что никому не скажу!

— Не мели, перестань, я тебе верю и так!

— Тогда — почему таишься?

Что она никому не скажет, я был уверен. А если так, то почему же не открыть ей свою тайну? Разве конспирация существует для самой конспирации?

«Она же тебе револьвер дала, не побоялась», — подсказывала мне совесть.

«Подумаешь, большое геройство, взять готовенький из дому и подарить!.. За револьвер дочку генерала в тюрьму не посадят, как тебя!»

7

Однако тайну я ей все же открыл.

В то время виленским властям доставляло много беспокойства студенческая демократическая организация. Лидерствовал в ней авторитетный товарищ, кажется, фамилия его была Шус. Не придумав ничего лучшего, сыщики подстерегли Шуса на улице, втолкнули в машину, задушили, вывезли за город, а потом изобразили дело так, будто Шус повесился.

Ко мне на квартиру пришел сегодня утром человек от Яцкевича и предложил явиться ночью в городской парк.

— Перешли паны к одиночным убийствам, будут сейчас иметь дело с массой, запомнят нас!.. — погрозил я.

— А можно и мне с тобой? О-ей, как интересно, даже

сердце замирает! Так я пойду, можно? — выслушав меня, воскликнула Дануся.

Меня изумило, что дочь генерала ничего не знает про случай, который взволновал все Вильно. Когда же она узнала, тронуло ее не то, что погиб хороший человек. Ее увлек сам факт, что нужно ночью куда-то идти, скрываться. Для нее это было интересной и романтической прогулкой, обещавшей нечто волнующее.

— Ну, и чего ты опять надулся! — она чуть не плакала.

— А потому, что ты какая-то...

Она закрыла ладонью мне рот:

— Янек, я хочу быть такой, какой ты хочешь меня видеть! И буду, вот увидишь!

Сила убеждения, звучавшая в ее голосе, примирила меня с ней.

Тогда и она доверила мне свои секреты.

Я узнал, что отец ее — командир дивизии — с зимы находился на немецкой границе у Познани.

Ее мать была чешка и умерла от родов. Генерал взял в жены старую деву пани Вацлаву. Пани Вацлава дала обет не иметь своих детей, чтобы это не мешало воспитанию Дануси, но, кажется, падчерица большой симпатии к мачехе не питала.

Узнав про обет пани Вацлавы, Дануся из благодарности к ней дала слово выйти замуж только за того, кого выберет ей мачеха. И та выбрала.

— Много раз твердила мне про Любецкого, — рассказывала Дануся. — Но я не обращала на это внимания, пока мы зимой не поехали в Закопане на лыжные соревнования. Туда съехалась знать со всего света. После соревнований правительство устроило бал. Зал заполнили польские и иностранные знаменитости, были даже дети Радзивиллов, Сапег, Ротшильдов, Круппа... Мужчины в черных фраках, дамы в декольтированных бальных платьях с бриллиантами в волосах. Любецкий стал за мной ухаживать, а я все никак не могла отважиться пойти с ним танцевать. Князь обиделся и вышел во двор. А оттуда въехал в зал верхом на коне. Уплатил извозчику, выпряг и прямо со сбруей въехал!.. Музыка смолкла, поднялся шум, пары стали жаться к стенам. А Бронислав обхватил меня за талию, поднял на коня и так проехал по залу. Полицию не вызывали. Любецкий заплатил за испорченный паркет, побитую посуду, сломанную мебель и стал героем. Мне тогда все завидовали, называли княжной, — и это мне очень нравилось.

В двенадцатом часу ночи Дануся вышмыгнула из окна во двор, и мы отправились в город. Я оставил ее у входа в парк, а сам пошел узнавать, что надо делать.

Днем студенты в частной типографии отпечатали несколько тысяч прокламаций, угрожавших убийцам и призывавших жителей Вильно принять участие в завтрашних похоронах. Теперь эти листовки нужно было разбросать по городу.

Увидев нескольких рослых парней, я понял, зачем меня позвали.

В парке был и Суткус. Было стыдно смотреть ему в глаза: Альбинас ведь ничего не знал о наших отношениях с Данусей. Теперь сразу догадается, для чего я когда-то тянул его в кабак «Батория»...

— Револьвер с тобой? — встретил меня вопросом Яцкевич.

Я рассказал про Данусю.

— Нашел время и место на амур! — возмутился он. — А ты ручаешься за нее?

— Конечно, — смутился я.

— Тогда — веди, что с тобой сделаешь, — думая уже о чем-то другом, согласился Яцкевич.

Тут я перехватил укоризненный взгляд Ольги, которая прислушивалась к нашему разговору, стоя рядом. Я разозлился. Подумаешь! Сама хотела сделать, как лучше человеку в тюрьме, но не получилось. А у меня вышло — наоборот!

Испуганная Дануся встретила меня тревожным вопросом:

— О-ей, Янек, я за тебя боюсь! А за это нельзя попасть в тюрьму?

Тревожно-настороженное настроение студентов передалось и мне. Я молча схватил Данусю за руку:

— Идем!

Неисповедимы пути человеческие! Мог ли я надеяться полгода назад, что та самая генеральская дочка, из-за которой я обливался потом на ринге и долбил камни в музее, станет для меня обузой?

— Ну, боксер, не забывай, что мы — целиком в твоих руках! — не обращая внимания на Данусю, произнес Яцкевич, когда я подошел к нему во второй раз. — На твои кулаки и твою пушку вся наша надежда!

Я ничего не ответил: настроение у меня окончательно

испортилось. Боясь встретиться глазами с Суткусом, я выпустил руку паненки и побежал вперед, подло бросив ее одну. К счастью, Данусю тотчас же подхватила Оля.

9

Выйдя из парка, мы направились вверх по главной виленской улице — Мицкевича. Несколько человек во главе с Альбином сразу же отделились от нас и пошагали в сторону Виллы — туда, где жили семьи офицеров. Я осмелел и стал искать глазами Данусю.

Они шли с Ольгой и вежливо о чем-то беседовали, словно две соперницы из высшего общества. О чем они могут говорить?

Постепенно толпа наша уменьшалась. Наконец мы остались вчетвером — впереди девушки, а за ними мы с Яцкевичем. Под мышками мы несли газетные свертки. Было около часа ночи. На залитой ярким светом улице — ни души.

— Здесь, — шепнул студент, переводя дыхание, когда мы дошли до первого сквера, и цыкнул на девушек, чтобы остановились. Мне приказал: — Длинный, высыпай свое, чтобы были свободные руки, а на Лукишской площади выброшу я свои. Чего стал, как соляной столб? Давай!

— Ты очумел? — взорвало меня.

Мне были известны подобные случаи еще в своей деревне. Боясь, чтоб их не поймали, вот такие «герои» выбрасывают подпольную литературу прямо на улице и считают, что задание выполнено. Утром, увидев листовки, какой-нибудь обыкновенный панский подлиза заявит в полицию, и прокламации, никем не читанные, отправляются прямо в печь. А тут их найдут еще быстрее, потому что постоянно снуют полицейские.

— Следи за улицей! — приказал теперь уж я и направился в подъезд, облицованный полированным гранитом. Сюда я носил молоко и квартиры знал хорошо.

В этом районе жила знать, и если кого требовалось погнать, так в первую очередь их. Поэтому с необыкновенным удовольствием закидывал листовки в почтовые ящики, под двери, в выставленные для булочников корзинки, цеплял на гвозди и крючки.

Через несколько минут я вернулся. Девушки теперь смотрели на меня, как будто перед ними бог весть какой герой.

— Этак мы будем, брат, до самого утра копошиться

здесь... — запыхавшись весь, слабо оправдывался Яцкевич: ему было стыдно.

— Ну и будем, если нужно! А ты хотел — тяп-ляп? — уверенно оборвал я студента.

Только теперь мне почему-то бросились в глаза его слегка запавшие щеки, какие бывают обычно у мужчин где-то около тридцати, и смешно оттопыренные большие уши под маленькой студенческой шапочкой. Да и ростом он словно меньше стал: ну что это за мужчина мне по плечо? И у такого я еще недавно искал поддержки, ну и дурень! Прошел пару километров и уже задыхается. Белоручка!..

— Хватит стоять, давай дальше! — взял я инициативу в свои руки.

— Веди... — растерялся студент.

10

Во втором часу, когда мы кончили свое дело на Лукишской площади, девчата начали чихать — сигнал тревоги. К нам приближались двое полицейских и шпик в гражданском. Патруль подошел уже к девчатам.

— Панна Янковская, и вы тут? Так поздно? — услышал я какой-то знакомый голос.

— Нет, мы так... — запнулась Дануся.

— Может, вас проводить домой?

— Спасибо, дойду сама с подружкой, панной Олей...

Вы не знакомы?

— Не имел чести!

— Знакомьтесь! Моя подруга!

— Ольга! Очень приятно!..

— Генрик! И мне приятно. Я имел честь познакомиться со студенткой, не так ли?

— И я очень рада. А и в самом деле, проводите нас! Право было бы приятно с таким симпатичным спутником пройти в эту чудесную ночь! — попыталась заговорить зубы патрулю Ольга.

— И правда, — спохватилась Дануся: — Проводите нас, пане Генек!

— Простите. Предложил, а не подумал хорошенько, что совсем не имею для этого времени в настоящий момент.

Наконец я узнал: говорил Станевский. И голос у него был деловой, уверенный, возбужденный.

— В городе тревога. Зашевелились коммунисты. Ловим их. Мы и вас посчитали за красных!

— Разумеется, мы красные! Как редиска! Разрежь, а в середине — белая! — кокетливо сказала Ольга.

— Ха-ха-ха-ха! Браво, браво!

— Вы не знаете тех двух типов? — слышался серьезный голос, видимо, полицейского, до того не принимавшего участия в разговоре.

— Нет! — категорически заявила Ольга.

Дануся подхватила:

— Это, должно быть, наши бурсаки¹ из гимназии Костюшко! Неужели пан Генек такой службист: не проводит нас, если я велю?

— Панна Данута на этот раз должна простить, я не один.

А мы тем временем старались уйти как можно дальше в сторону парка.

«Ах ты, гадина! — думал я о Станевском. Что он сотрудничает в дефензиве², было для меня, как гром с ясного неба. — Так вот почему ты избегал меня! — в голове промелькнули все неосторожные слова, сказанные мной при нем. — Так вот почему ты одеваешься, как король, жрешь халву и шоколад да обращаешься ко всем с деланной фамильярностью! А я еще собирался поговорить с тобой откровенно, как со своим хлопцем, чтобы не путался с эндеками. Где только были мои глаза! Но странно, зачем ты купил Степанов наган? Неужто тебе, холую, дефензива не доверяет казенного?..»

Итак, за нами следили.

Наша торопливость, видимо, вызвала подозрение. Патруль оставил девушек и затопал в нашу сторону. Ночью на пустынной улице — как зимой на льду — трудно определить расстояние. Нам порою казалось, что они очень далеко, а то думалось, вот-вот цапнут за шиворот. Чтобы не выдать себя окончательно, оглядываться не осмелились.

Все ворота были закрыты, да и открытые были бы бесполезны: дворы глухие. Мы неслись во весь опор.

— Сколько патронов? — взволнованно спросил студент.

— Барабан. Но стрелять нельзя. Полицейские с карабинами, у шпика — наган, откроют пальбу — пропали. Да и Станевскому только выдам себя. Вот черт, и почему я такой длинный?!

¹ Бурса — общежитие польских гимназистов.

² Охранка в буржуазной Польше.

— Может, не узнает? — неуверенно убеждал товарищ. — А вот у меня остались листовки и поздно уже их выкидывать!

— Эх ты-ы, растя-апа!..

— Вздумал разносить их по квартирам, как визитные карточки, и еще упрекаешь!

— Ш-ш-ш!..

Действительно, ситуация скверная. Мы — в каменном мешке. Сзади — полиция. Только далеко впереди у колонны кафедрального костела виднелась ограда парка, а там — простор, деревья, куда нас и гнал страх.

— Давай побежим! На улице стрелять не должны! Перемахнем ограду, прыгнем в кусты — и поминай как звали!

— Экий ты умник! — обрезал я товарища. — Думаешь, в парке — никого? Эти сейчас же засвистят, и там, в кустах, будут нас поджидать, как зайцев! Там — темно, с освещенного места мы их и не заметим!

— А что нам остается?! Пропали, черт!.. Стоп, тихо... — в голосе товарища слышалась нотка надежды. — Бартошевич, кто не рисковал, тот не побеждал. Идем к ней!

11

Еще издали я увидел под фонарем одинокую фигуру женщины. Платье и поза не вызвали сомнения.

Если приходилось ночью идти по городу, я выбирал самый длинный путь, только бы поменьше встречаться с такими. Теперь я об этом не думал, нас настигала погоня.

— Эй, красотка, мы тебя давно ищем! — крикнул ей Яцкевич.

— И я вас, дорогие, очень давно жду! — не задумываясь, в тон ему ответила скуластая девица и деланно улыбнулась. Голос у нее был с хрипотцой, неприятный. От гримасы лицо и сильно накрашенные губы показались отталкивающими.

Девица двинулась навстречу.

Я ужаснулся — неужели та самая, что осенью приставала ко мне, когда я ел мороженое?

Конечно, она! То же скуластое лицо, та же широкая челюсть...

Много раз я вспоминал ее, даже высматривал на улице, чувствуя какой-то жуткий, нездоровый интерес к ней. И на тебе, нужно же так встретиться!..

Студент взял ее под руку, мне следовало сделать то же, но я не сразу отважился. Наконец мы втроем зашагали к парку.

Однако не такой уж и дурень Яцкевич!

Патруль, чтоб не вспугнуть нас, все время двигался на дистанции, не рискуя задержать и проверить документы. А что, если они у нас в порядке? Тогда нужно извиниться. Но полицейские были со шляхетским гонором. Признать свою ошибку было для них хуже смерти. Они решили лучше выждать.

Так мы протопали с полкилометра.

Расчет студента оказался верным. Увидев, что мы подцепили девицу, полицейские сразу же отстали, решив, что мы действительно не те, кто им нужен.

— Ну, ягодка, спасибо тебе, дорогая, за все и от души желаю богатых клиентов, а нам твой товар ни к чему! — объявил осмелевший студент, когда мы вошли в парк.

— А-а, вы та-ак? Хамы, свиньи непорядочные, полиция на вас пожалуюсь!..

Оставив взбешенную женщину, мы помчались со всех ног.

Странно, хотя теперь я слышал ее наглый голос, свидетелемствовавший о том, что девица совсем не считает себя несчастной, но как и тогда, мне почему-то вдруг стало жаль ее, я почувствовал себя виноватым перед нею.

Понемногу пришел я в себя.

— Ты не знаешь, каждому шпику дают револьвер? — спросил я у товарища, когда мы остановились в роще на горе Гедимины, чтобы отдышаться. Этот вопрос никак не выходил из головы.

— Конечно.

— Так зачем же Станевский покупал?

— А он, кажется, у них только практикант, — Яцкевич разбирался в этих делах и знал виленских сыщиков в лицо.

Понятно. Генрик не может дожидаться казенного и купил оружие на свои деньги.

Знал же я кому продавать! Встал бы из могилы Степан Романович, что бы он мне сказал?!

Полпути домой я волновался за Данусю: был уже третий час ночи, скоро рассвет. Девушка и не подозревала, что спасла нас: патруль держался только благодаря ей.

Нашел Данусю в беседке генеральского сада. До дому ее довела Ольга.

— Янечку, милый, я за тебя так переживала, так тревожилась! — вскрикнула девушка и бросилась мне на грудь. — Вернулась и прождала здесь до рассвета! Почему-то показалось, что тебя больше никогда не увижу! Стало страшно-страшно!.. Я стала молиться: «Езус коханы, верни мне Янку живым!»

Преисполненный благодарности и обрадованный не меньше ее, я схватил Данусю в объятия и жадно припал к ее губам.

Когда-то Дануса поцеловала меня через сетку, поцеловала несмело и так легко, словно ласточка на лету коснулась поверхности воды. Теперь же из ее податливых губ словно тек хмель, затуманивал сознание, а сердце билось, как шальное. Целуя девушку, как одержимый, я чувствовал, что она вся прильнула ко мне и по щекам ее текут слезы.

Неужели я смогу еще когда-нибудь ее обидеть? Да пусть меня гром поразит!

— Ты так сильно за меня волновалась?

— Ак... Ах-ха... — захлебываясь счастливыми слезами, прерывисто вздыхая, твердила она.

— Я сразу же полетел сюда, как только вырвался!

— Сколько из-за тебя перетерпела, передрожала! — тихо пожаловалась она у меня на груди.

— А я, как видишь, цел и невредим! Станевский как раз напоролся бы на меня, если бы не вы с Ольгой, и сидеть бы мне теперь в холодной на Лукишках!

— А ты меня еще и брать не хотел!

— Был грех, каюсь!.. Ну и хитрущий Яцкевич!.. Подцепил эту бабу...

— Полицейский вас увидел с ней и говорит приятелю: «Мы, кажется, ошиблись!..» И сразу ушли!.. Признаться, однако, эта женщина тебе не была знакома?

— Откуда?

— Ты такой смелый, я тебя так люблю!..

Взошло солнце.

Лицо Дануси стало бледным. Ночное приключение слишком много отняло у нее сил.

— Ну, на сегодня хватит. Иди отдыхай! — сжалился я. — А я пойду на работу!

— Но я же не хочу спать! — сопротивлялась она. — Правда, правда, не хочу! Возьми меня с собой разносить

молоко! Сейчас меня никто не узнает, наши спят, а с теткой Антосей договорюсь...

— Еще что выдумала: дочь генерала молоко разносит! На завтра все газеты об этом напишут!.. Ах, как я проворонил Станевского!.. И не подумал — откуда у него шляпы, костюмы!.. Считал — Генек обыкновенный панский лизоблюд!..

— Он тебя не выдаст. Белорус тоже!

— Из тех, что пришли бы турки, он прислуживал бы и им!.. Иди домой! Слушай, что говорят тебе старшие, провалишь из-за меня экзамены!

— Не провалю, любимый! Так не берешь? — усталости ее вдруг как не бывало, лицо и глаза засветились лаской, голос стал нежным. — Тогда скажи, что ты меня любишь!.. О-ей, какой ты у меня чудный!.. Сначала меня просто заинтересовал. Теперь — жить без тебя не смогла б!.. Говори!

— Ну!

— Не «ну», а — «люб-лю»!

Я стеснялся этого слова.

— Сама сказала за меня!

— Нет! Хочу услышать от тебя! Говори! Скорее, я жду!

— Ну, люблю.

— О! «Люб-лю»! — передразнила паненка. — Не так, а — с чувством!

— Я тебя знаю! Этому конца не будет! Марш спать, ребенок!

— Ш-ш-ш-ш! — закрыла мне рот.

На дворе появилась Антося с тарелкой в руках. Она приблизилась к сетке и стала звать:

— Цып, цып, цып!..

Со всех концов двора к ней ринулись куры.

— Бегите прендзей¹, курочки, прендзей!.. Изголодались? Нате миленькие, ешьте, позавтракайте себе!.. — Антося начала крошить булку и кидать через сетку.

Куры дружно застучали по утопанной и влажной от росы земле.

— Так, так, курочки, будите земельку, будите! Тук, тук, тук, земелька, вставай, будет тебе спать! Тук, тук, тук!

Мы переглянулись с Данусей и счастливо улыбнулись.

Когда Антося ушла домой, девушка попросила:

— А теперь возьми меня на руки и побаюкай!

Я выполнил ее просьбу. Дануся тихо вздохнула:

¹ Прендзей — быстрее (виленский диалект).

— Как мне хорошо-о!.. Повторяй за мной: солнце, не свети в окно моей красавице, чтобы шум твоих лучей ее не потревожил!.. Ну, говори же!.. Кошка, не ходи по полу, чтобы твои шаги не разбудили мою красавицу!.. Говори!.. Цветок, не распускай своих лепестков — разбудишь мою любимую!.. Повторяй!..

Раньше, бывало, от утренней сырости охрипну, как пьяница, а в голове — гудит от недосыпания, и белый свет не мил. Идут по мраморным ступенькам булочницы, разносчики газет, и у них такое же настроение, и им, как и мне, хочется спать. Мы друг друга видим, словно сквозь сон или пелену, и молча расходимся, снуя, как привидения, посапывая на ходу. Нет настроения заговорить с кем-нибудь, а если в этот момент кто-нибудь тебя о чем-то спросит, ты гаркнешь злое, неопределенное.

И лишь теперь, идя от Дануси разносить молоко, я ощутил всю прелесть раннего утра. Дышалось легко, мысли были ясные, по телу разливалась бодрость. Эх, с каким же удовольствием подмигивал я всем служанкам на улице Мицкевича и с многозначительной улыбкой говорил:

— Что-то в вашем доме нынче во все квартиры — одинаковые письма.

К сожалению, служанки были в большинстве неграмотные, забитые деревенские девки. Они только глуповато ухмылялись в ответ.

Лишь одна из них меня поняла. Девушка, стоя на табуретке, снимала с гвоздя мою прокламацию.

— Видно, нынче такой праздник! — ответила, показывая белые зубы.

...Днем, до занятий, я все-таки выспался, — похорон не было. Полиция еще ночью забрала из морга тело Шуса и тайком вывезла в неизвестном направлении. Чтобы в этот день студенты не могли что-нибудь выкинуть против властей, Яцкевича и сорок активистов утром в грузовике вывезли за город километров за пятьдесят и высадили в поле. Пока ребята притащились в Вильно, было поздно что-нибудь снова предпринимать.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Стоял горячий летний день. Я без цели бродил по двору. За металлической сеткой, у клумбы, под большим зонтом генеральша читала книжку. У ног ее дремали белый кот и Гектор.

Из дому вышла Дануся, поставила раскладной брезентовый стульчик и, примостившись рядом с мачехой, раскрыла учебник. Но углубляться в науку ей, видимо, не хотелось. Она украдкой оглянувшись, посмотрела на меня прищуренными глазами и показала язык. Я сел на крыльцо, заслонился от генеральши ладонью и стал отвечать.

И начался у нас бессловесный разговор. Нам обоим было так хорошо, словно мы сидели рядом.

Но это продолжалось недолго. Явился Любецкий. Я, рассерженный, собрался было домой, но возле нашей калитки заметил своих ребят. Ко мне шли Яцкевич, Суткус, Ольга и студент Шиманский. С последним мы познакомились в тот вечер, когда разбрасывали прокламации. Хотя фамилия его имела польское окончание, однако он был истый украинец.

— А-а, так вин вась дэ спратався! Мы отдуваться, а вин — загорае, як на курорте! — прокричал Шиманский.

Я сразу забыл о своих соседях. Стал выносить табуретки:

— Садитесь, кто где!

Ребята поздоровались. Я не мог нарадоваться. Эх, если бы видели отец, мать, деревенские парни, какие у меня друзья!..

— Очень захотелось пить, — пояснил Яцкевич, — а на Заречную в ларек — далеко. Ты хвастал, что у тебя лечебная вода. Давай пои!

Шиманский ростом с меня, но своей рыхлой фигурой, светлыми, будто заспанными глазами и медлительными движениями производил впечатление увальня.

— Хымикаты с газыровкой отравылы нутро! — пожаловался он. — Вот бы кто догадався дать кислого молока из погреба! Или воды из колодца! Тільки такой, щоб аж зубы ломыло и дух захватывало!

— Обождите минутку, сбегая свежей принесу! — бросился я домой за ведром. — Альбинас, будь за хозяина! И досталось же вам, бедным! Куда они вас заперли?

— Под Эйшишки. А все из-за того, что Коминтерн

распустил партию!¹ — заметил Яцкевич. — Была бы партия, мы бы гуртом пану фокус показали!

— Распустили, еще и обвинили наших ребят в предательстве! — заметил Суткус.

— Нужно было и — обвинили! — запротестовала Ольга.

— Лес рубят — щепки летят! — добавила студентка.

— А если бы мы с тобой попали в эти щепки? — подскокил к ней литовец чуть не с кулаками.

— Глазом не моргнув, приняла б свою участь! — прокричала она с запальчивостью. — Я — винтик, солдат революции и, если партия прикажет, готова даже умереть!

— О-р-р-ропуже, но ее же нет, распустили!

— Партия у меня здесь, в сердце!

— Резонерство у тебя там одно! Когда тебя припираешь фактами, ты сразу выбрасываешь красный флаг и прячешься за него! Знамена даются для того, чтобы их защищать, а не прикрываться ими!

Вмешался в спор Яцкевич.

— А какая надобность рубить лес?

Я дальше не слушал — понесся с ведрами. По пути в овраг вдруг подумал, что ребята пришли не случайно. Их же полиция из-за Шуса вывозила далеко за город. Они вернулись в Вильню и что-то задумали опять. И все они, оказывается, были в партии!..

Когда я принес воду, ребята сидели на крыльце и переговаривались с Данусей.

— Пане Бартошевич, приглашаю всех к нам, — пригласила она. — Познакомлю с мамусей, с паном Брониславом...

— Мы барышне не могли ничего ответить, поскольку находимся в гостях, — объяснил Суткус. — Ждали хозяйина. Теперь ты и решаешь.

Я растерянно стал поить их водой. Дануся все ждала. Суткус сжалился над ней:

— Сейчас. Только напьемся.

— Пойдем побеседуем! — пообещал Яцкевич, утирая губы.

Шиманский пил последним — из ведра.

Наконец оторвался, перевел дух, словно паровоз, крикнул, пристроил на макушке бархатную шапчонку и объявил:

¹ Решением Коминтерна от 1938 года Компартия Западной Белоруссии была распущена.

— Тэпэр можэмо идты!
Я отнес ведро и бросился догонять друзей. Ольга направлялась в город.
— Куда ты?! — удивился я.
— Галантничать с классовым врагом не стану! — бросила мне, рассерженная. — Хватит, целый вечер провела с этой панночкой!

2

Дануся подводи́ла нас по очереди к мачехе, сидевшей под зонтом, представляла. Не двигаясь с места, дама подала каждому руку, а затем снова углубилась в книжку. Настала очередь здороваться и с князем.

— Ну и молодцы, — бросил он. — Как на подбор!
— И все белорусы! — похвалилась Дануся.
— О, это — великолепно! — воскликнул Бронислав. — У нас с белорусами никогда не было конфликтов!

Мы переглянулись.

— Пан уверен? — усмехнулся Шиманский с двухметровой высоты.

— Садитесь, господа! — засуетилась Дануся, почуяв неладное. — Вот сюда можно. И сюда...

— Благодарим паненку. Паненка очень любезная, — Шиманский опустился на скамейку, похлопав ладонью по окрашенным в зеленый цвет планкам. — А и в самом деле, почему бы и не сесть, коллеги!

— Ты не злишься? — шепнула мне Дануся. — Янку, гляди, у меня тут левые и правые — будто в салоне Марыли Верещаки в Тургановичах: филареты и филоматы...

Однако не все были столь хладнокровны, как украинец. Князь задел нас за живое. Хотелось вздорить, драться, а человек сильнее, стоя на ногах. Но этому примеру Шиманского никто не последовал.

Мы искали повода, чтоб сцепиться. И его нам дал Бронислав. Он продолжил прерванную мысль.

— Я уверен: у поляков три закоренелых врага: украинец, еврей и литовец. А с белорусами у нас мир.

Четыре пары наших глаз скрестились. Первым пошел в наступление Шиманский:

— А чем, например, украинцы проштрафились?

— Да, — подхватил Яцкевич. — Чем ты, хохол, так допек поляков, что они тебя считают врагом номер один?

— Так пан — украинец? — ужаснулась Дануся.



— Чистокровный, — Шиманский непринужденно раскинул на спинке скамейки свои мясистые руки и выставил напоказ могучую грудь.

Любецкий не знал, что сказать.

У генеральши выпала из рук книжка.

— Вы отняли у нас Киев, хотите отнять еще и Львов! — строго бросила она, оборачиваясь к нам.

— Пани Вацлава права! — опомнился Бронислав. — Эти земли — частица польской истории!

— Так уж и польской!

Дануся стояла рядом. Я чувствовал, что и ее подмывает. Она не выдержала и пришла на помощь мачехе:

— А Збараж? А Вишневецкий?

— Что ваш Збараж? Что Вишневецкий?! — взорвался Шиманский. — Киев — наша столица! А Львов построен нашим князем Данилой в честь сына Льва!

Я обрушился на паненку:

— Интересно, если б кто-нибудь у нас захватил Краков и намерился отнять Варшаву, как бы вы к нему относились?

Данута примолкла. Зато генеральша хотела сказать нам что-то резкое, но почему-то раздумала, только покраснела от негодования.

— Не всем полякам мы враги, — объявил Суткус. — Юзеф Шус с нами даже дружил!

— Думаешь, они знают, кто такой Шус? — заметил Шиманский и развалился на скамейке еще более вызывающе. Затем смерил глазами князя, кивнул на Суткуса:

— Он — литовец. Интересно, какие претензии к нему имеете?

— Литва у нас Вильно хочет отнять!

— Вильно — наша столица! — возмутился Альбинас. — Вы ее удерживаете силой, а нас, литовцев, в десять раз меньше, чем поляков! Но придет время, и мы вернем свой город!

— И белорусы молчат неспроста! — наступал я на князя. — Не было случая заговорить. Ничего, придет и наш день, скажем и мы свое!

Обе стороны еще не высказали всех аргументов, но раздувать скандал при женщинах было неловко.

Замолк Любецкий, замолкли и мы.

— Панове, давайте говорить о чем-нибудь другом! — попросила Дануся.

Все словно пришли в себя. Но теперь вести просто

светскую беседу было невозможно. Оставалось одно — расходиться. Однако уйти надо было «красиво». Мы не-решительно переглядывались.

Как и раньше дремал кот, а Гектор клацал зубами на мух. Так же припекало солнце. Но мы были уже не те. Моих хлопцев чуть не распирало от возбуждения и решительности.

Изменились и наши враги.

Надутая, как сова, генеральша торопливо листала книжку и никак не могла найти нужные страницы. Дануся с отчаянием посматривала на меня, ища выхода.

Все эти вопросы мы с ней давно обсудили. Теперь я не хотел, чтобы скандал раздувался, и, намереваясь подать друзьям пример, стал прощаться. Но Шумский спровоцировал новый взрыв.

— Побесе-едали, называется! А все из-за этого еврея, — толкнул он в бок Яцкевича. — Он потащил нас сюда!..

— Пан — евре-ей? — удивилась Данута.

— Жид! — глядя ей в глаза, бросил Яцкевич. Чистокровный тоже! И вот стою рядом, и не бросаюсь на вас! Даже ходил с вами на опасное дело, на улицу Мицкевича! Помнит паненка?

Генеральша насторожилась.

— Но я не делаю никакой разницы между нациями! — оправдывалась Дануся.

— Только пан Бронислав и пани Вацлава?

— Вся польская экономика — в еврейских руках! Мы должны бороться с ними насмерть! — воскликнул князь. — Иначе нас они задушат в нашей собственной стране!

— Пан католик? — спросил Яцкевич.

— Католик!

— А пан верит в бога?

— Верю!

— Тому ли учит Христос? Натравливанию одних на других?

— Демагогия!

Генеральша обернулась и снова встала:

— Евреи замучили на Голгофе Христа!

— Иуда был еврей! — вышел из себя князь.

— Извините, пожалуйста, — наступал на них Яцкевич. — А разве сам Иисус Христос не был евреем?

— Но по методу Иуды завлекли ваши парня в западню и повесили? — напал на генеральшу уже я. — Вы же столько лет были в неволе, вас ссылали, вешали,

почему же вешаете и держите в рабстве вы? Неужто ничему вас не научила история?

— Сцепи-ились! — восхитился князь, который уже искал примирения. — Эх, парни капитальные — я вам скажу! Жаль, что не корпоранты. Дорогие, вы на ложном пути, пся крив!.. Ну, добьетесь, что один город будет считаться уже вашим, но станут ли от этого счастливыми люди, ради которых вы этого добиваетесь?! Одумайтесь! Вы — рабы условностей и своих сектантских идей, которые сами себе создаете! Вы — баптисты, субботники! Добьетесь своего — и опять будет столько ж недовольных! Глупости все это! У моего старика было семнадцать жен, среди них — всемирно известные артистки! Он мог запречь летом четверку лошадей в сани и ехать дорогой, усыпанной солью!.. И я счастлив, потому что могу делать, что хочу! Пся крив, я въехал на коне в банкетный зал, а въехали бы вы?!

Какая-то сила бросила меня на него с кулаками:

— Чьим горбом ты счастлив, обормот?! Какой ценой был счастлив твой отец?!

— Я не желаю в таком тоне вести диспут! — отступил он, перепуганный.

— А я плевать хотел на то, с чем ты не согласен!

— Пани Вацлава, я протестую! Моя невеста тут целый Коминтерн собрала, не хватает только негра и китайца!

— Данка, пана Бронислава оскорбляют!

— Янку! — с упреком обратилась ко мне паненка.

Но я ее не слушал:

— Ты въехал на коне из-за паненки?! А я отберу у тебя твою невесту, и что ты сделаешь?! А ты — что, опять будешь учить меня правилам хорошего тона?! — пристал я уже к Данусе.

Теперь уже никто о вежливости не думал.

— Побалакали, называется! — бросил Шиманский, когда мы оставляли двор генерала будто после боя.

3

Приближался конец учебного года. На курсах в этом году экзаменов не было, и с каждым днем у меня оставалось все больше и больше времени.

Однажды мы, как обычно, сидели на горе. Я насобирав разных черепков и рассматривал их. Еще осенью Луцевич из белорусского музея пробудил во мне новое увлечение. Теперь куда б ни шел, внимательно глядел себе под ноги

и в каждом кусочке кремня видел наконечник стрелы или скребло, а в черепке — осколки древней посуды.

У Дануси был экзамен по античной литературе, и она повторяла наизусть отрывки из Юлия Цезаря. Но учение в тот день не шло ей в голову. Она пожаловалась, что античная литература — предмет трудный и неинтересный. Потом, листая книгу, несмело проговорила:

— Янек, мамуся вчера уехала в Познань к папе...

— Да?

— На четыре дня...

— А что мне до этого?

Я постоянно подчеркивал, что мне нет никакого дела ни до ее отца, ни до ее матери. Они меня и в самом деле не интересовали. Часто я даже высмеивал их. Но Дануся вспомнила генеральшу не случайно. Я насторожился и выпустил из рук черепки. Меня охватила тревога: Дануся однажды проговорила, что на лето собирается с матерью за границу. Дурное предчувствие больно укололо меня.

— Пан Феликс — в Новой Вилейке. Прося тоже уехала в деревню. Мы остались с Гектором и теткой Антосей. Антося тебя любит... Ей ты напоминаешь одного парня, погибшего в мировую войну...

Оттого, что девушка собиралась приступить к главному, грудь ее часто вздымалась, словно ей не хватало дыхания.

Вдруг и мне стало трудно дышать, ибо я догадался, что она хочет пригласить меня в гости.

— Еще остался Бронислав, почему ты его не считаешь? — язвительно сказал я, сам не зная почему, и мне стало неловко за свои слова. До того времени, словно сговорившись, о князе не вспоминали.

— Ты Янек, все шутишь... А я серьезно... — Дануся запнулась, у нее смешно задрожала нижняя губа.

Я размяк.

Предложение прийти к ней в гости меня почти испугало. Должно быть, в обычное время ни за что бы не согласился. Но теперь меня радовала мысль — скоро уеду домой. Мысли о родной хате поднимали настроение и уверенность.

А почему бы не сходить? Будет хорошо — ладно, а нет, так черт с вами, генералами, повернись и — назад!

4

В назначенное время Дануся с подругой ждали меня на пороге. В глазах генеральской дочери можно было

прочесть: ага, видела, какой у меня молодец?!

Я появился у порога.

— Просим. Мы заметили пана еще на дворе! — переходя на официальный тон, заговорила возбужденная Дануся. Странно — она никогда еще так не смущалась, как теперь, в своем доме, в присутствии подруги. И я осмелел.

— Пожалуйста, заходите! Осторожно, Лонгинус, не ударьтесь головой!..

Хоть я был высок, но до косяка парадных дверей не достал бы и рукой. Предостережение прозвучало нелепо, будто рассказал анекдот человек, в устах которого он не звучит.

— Янина! — представилась ее подруга, кокетливо стрелянув в меня карими глазками.

Мне показалось, что в этих пронизательных глазах мелькнула насмешка. Почему-то я вспомнил свой первый выход на ринг, когда все смотрели на меня вот так, со стороны, с недобрый любопытством. Моя уверенность исчезла. Я был недоволен: мы не договаривались, что будет кто-то третий. Зачем еще эта фифочка?!

Но Дануся не чувствовала моего настроения. Она вообще потеряла голову и суетилась.

Пока я неловко проходил по генеральскому коридору, не зная, куда девать руки, боясь поскользнуться и что-нибудь опрокинуть, Янина призывно мне улыбалась.

— Ой, извините, пан! — виновато воскликнула Дануся, когда я наткнулся на раскладушку со скомканным одеялом и простыней. — Это спал пан Феликс, огородник, и Антося не успела еще прибрать! А тут спит Гектор! — она показала на тюфяк, брошенный на пол рядом с раскладушкой садовника.

Мы вошли в зал.

Там бросился в глаза покрытый черным лаком рояль. Дануся предложила сесть. Я опустился на мягкое кресло и провалился до пола.

— О, будто на моховую кочку! — вырвалось у меня. Янина рассмеялась.

Из соседней комнаты вышел пес, дружелюбно потерся о мои ноги и положил мне морду на колени.

— Здорово, Гектор! — потрепал я его по голове: мы уже давно были добрыми друзьями. Теперь, когда ночью перебирался через сетку в генеральский сад, он только радостно повизгивал.

— Нужно было видеть, как наш Гектор загнал сегодня

на яблоню черного кота! — говорила Дануся с гордостью, словно это было бог весть какое событие.

— Не черного, а серого! — совершенно серьезно поправила ее подруга.

И бывает же порой так: впервые увидишь человека, он тебе понравится, и ты уже готов в него влюбиться. Но вот сделал он только одно движение или произнес какую-нибудь фразу, и ты перестаешь его замечать! Это же произошло и после слов Янины — я перестал ею интересоваться.

— Давайте сыграю вам Шопена! — предложила Дануся, видя, что я чем-то недоволен.

Нет, дальше у меня получилось совсем не так, как пишут в романах, когда девушка покоряет возлюбленного музыкой.

Сперва мне было хоть и странно, но интересно смотреть, как она перебирала пальцами клавиши и нажимала ногой педали. В согласии с движениями рук и ног у нее двигался подбородок, задерживалось дыхание. Словно шофер за рулем, Дануся вся отдалась музыке. Но мне, как говорится, от рождения медведь на ухо наступил. Как и тогда на концерте, я напряженно вслушивался. И уже, кажется, улавливал мелодию, начинал за ней следить, как вдруг все это рассыпалось, и я ничего не мог понять. Хотя девушка очень старалась, я, как тогда в театре, скоро заскучал.

Вдруг стал вспоминать, что это такое необычное мне сегодня снилось! Ага! Будто бы я дома. Вечером пришли из лесу коровы...

Нет, эта сценка была потом.

Снится, будто гоню из лесу коров. Рогули важные, гладкие — за лето набрали вес. Это я им нашел поляны и дал вволю насытиться пахучими травами, цветами, и это они дали мне почувствовать удовольствие от пользы, принесенной мной неуклюжим рогатым существам, родителям, людям. Но вот мы уже во дворе. Мать стала их доить. Пахнет парным молоком и теплым дыханием животных. Подоив, мать зовет: «Янка, иди повыдержай у Красуни клещей с живота!» Я подхожу, а рядом с коровой — Станевский!

И надо же! Целый день тужился вспомнить, что мне снилось, и только теперь это удалось.

Вспомнил опять, что скоро поеду домой. На душе стало весело и легко. Я был уже целиком во власти иного мира.

Даже не замечая в том ничего особенного, Дануся

равнодушно сообщила, что садовник спит рядом с собакой. Считает это совершенно естественным. Эгоистичная наивность? А ее набожность?

Где-то я вычитал, что людей должно объединять то, что у них на душе. А что общего у меня с этими? Какое мне дело до этих барышень?

Я осмелел и искал глазами Янину.

Паненка влезла с ногами на кресло, поставила локти на стол, подперла подбородок кулачками. На ней было платье с большим вырезом на груди. Она глянула себе на грудь, осталась довольна тем, что увидела. Мы встретились глазами, и мне стало стыдно, как тогда, когда я впервые увидел дочку пана Мотыки на кухне полуодетой. Я чувствовал, что весь залился краской, что это видит Янина, но та даже и глазом не моргнула. По лицу гимнастки бродила неопределенная улыбочка, я не знал, как мне ее понимать, и отвернулся.

В генеральской квартире было много вещей, которые я видел впервые в жизни.

Прежде всего заинтересовался я блестящими и сочными листьями фикуса. Словно ракета. Только лист больше. Э, нет. Ракета гибкая, живая. А это растение какое-то сонное, как бы навощенное — одним словом, — господское...

Затем меня заинтересовал пол. Он блестел, как зеркало. Я притронулся пальцами — тоже вощенный!

Янина прыснула.

Я перевел взгляд на шкаф. Какая широченная и суковатая березовая доска?! Растет же такая березища!

Я встал, с любопытством подошел к шкафу и провел пальцами по лакированной доске, постучал ногтем: твердая, как пластмасса!..

Янина опять прыснула.

Меня начало разбирать: ах вы, панские финтифлюшки! Как мне отсюда уйти: поссорившись или так?

— Я могу понять художника, который пишет картины, могу понять писателя... — вдруг сказала Дануся, бросив играть. — Но как композиторы создают такую чудесную музыку? Видно, для этого нужно быть каким-то волшебником... О-ей, отчего вы злитесь?

В глазах ее была такая мольба, что я вмиг размяк. Она уже совсем овладела собой и вела себя, как хозяйка.

— Знаете, друзья, а наша тетка Антося пятнадцать лет у нас живет, но так и не научилась произносить

слово «фортепьяно». Говорит по-своему: «партафьяна»!

Но я не засмеялся.

— Это моя шкатулка! — указала на ящичек из слоновой кости, который, взяв с тумбочки, я внимательно рассматривал.

— Мне папа привез из Японии, когда служил там атташе. Правда, красивая? В нее я собирала когда-то бумажки от конфет... Янку, сейчас будем обедать! Займись тут чем-нибудь, а мы на кухне похозяйничаем.

5

Я остался один в зале. Рассматривая блестящую мебель, пальмы и стены, я еще раз подумал, что вот тут часто бывает жена воеводы, пани Боцянская, чье имя знает каждый мужик в моей деревне. Расхаживают тут генералы. И чего меня сюда занесло? Год тому назад разве могло мне присниться что-либо подобное?

Дануся не пропустила ни одного свидания со мной. В то же время официально считается невестой Бронислава Любецкого. Об этом знает даже моя хозяйка.

Любецкий ежедневно бывал в генеральском доме, и он не может не знать про наши встречи с Данусей.

В таком случае, кто же я? Любовник? Мальчик для забавы? В деревне, если невеста пойдет с другим парнем, жених даст ей по морде и говорить больше с ней не станет. Иная жена пусть только глянет на другого мужчину!.. А среди этих господ, говорят, считается шиком — иметь любовника и о них знают мужья, женихи, делая вид, что ничего не происходит, тьфу!..

Меня охватила злость.

Я все еще не знал — дать ли волю своему раздражению или пока сдержаться. Чтобы успокоиться, заглянул в соседнюю комнату. Там за стеклом — книжки в кожаных переплетах. У массивного стола — кресло, тоже обитое темной кожей.

Генеральский кабинет. Войдя в комнату, я остановился у шкафа с толстыми томами. Почему-то обтрепанные, старенькие книжки из библиотеки белорусского музея больше меня привлекали, так и хотелось листать пожелтевшие страницы и впиваться глазами в старинные шрифты. А вот эти — в роскошных переплетах — вызывали только удивление, словно генеральша, идущая в воскресенье в костел. Однако я открыл шкаф и стал перебирать книги. Десять томов Юзефа Пилсудского

в переплетах из красного коленкора. О чем он мог так много писать? Мы все считали Пилсудского человеком недалеким и уж никак не писателем.

Я полистал один том. Копия заявления в Харьковский университет с просьбой принять на медицинский факультет.

Гм... Пилсудский — медик?..

Дальше — стенограмма петербургского суда от 29/IV 1887 года. Ого! Юзефа, его брата Бронислава и Александра Ульянова судили за попытку убить царя?!

Вот как мы знаем своих врагов! Впрочем, не стоит удивляться: путь у них у всех кривой.

В следующей комнате — иконы. На одной — мать божья с обнаженным сердцем в груди. Синие и розовые фигурки богоматери стояли на подставках. Видимо, здесь молилась генеральша. Поваяло костелом и иезуитским аскетизмом.

Осмотрев все, я заскучал.

Родная хата, родители вновь промелькнули перед глазами: близкие, свои, — защемила ностальгия.

На улице загремело, собрался дождь. Вспомнилась улица моей деревни после дождя. Тепло и парит. Тучи еще не рассеялись, поэтому — сумрачно. Приятно клонит ко сну. За плетнями спутанные дождем и набрякшие водой гроздьи сирени. Во дворах — волнистые линии из щепочек и коры — границы недавних луж. Тишина, только жалобно мычит теленок, которого забыли перед дождем отвязать и пустить в хлев... А тут — смрадный город, казенная квартира генерала!

Нужно убежать.

Однако сделать этого я пока не отважился. Только сунул руку в карман и бешено засвистел, подрагивая согнутой в коленке ногой. Мне и свистеть не хотелось, а делал это потому, что казалось именно так поступал бы тот, кому я в тот момент подражал.

— Янечку, милый! — выскочив из кухни, жарко зашептала Дануся и повисла у меня на шее.

Снова размяк я. Нацеловавшись до опьянения, поставил ее на пол.

— Будь умным, — взмолилась, — я тебя очень, очень, очень прошу, не обижай Янину...

— Ого, обидишь эту цацу! — поддаваясь просьбе, сказал я уже незлобиво.

— Потерпи, — прошептала она. — Папа выбрал мне Янусю в подруги еще в первом классе гимназии. Она знает

все мои секреты. Когда убегала к тебе на свидание, дома говорила, что иду к Янине, а она потом подтверждала. Видишь, мы ей обязаны. Не задирайся с ней, хорошо?

— Тише, она нас подслушивает... А ты тоже хорошо! Оставила меня тут одного с иконами и Пилсудским...

— Так идем к нам, милый, будешь помогать! — уговаривая меня, она пользовалась теми красивыми оборотами и интонациями польского языка, которых, к сожалению, не передашь словами. — И тетку Антосю нарочно отпустила, и пана Феликса послала в Новую Вилейку... Все для тебя, дорогой!

— Будь по-твоему! Только предупреждаю: если она еще раз засмеется — пусть пеняет на себя!

— Успокойся и возьми себя в руки!..

6

А на кухне все выглядело так, словно две взбалмошные девчонки, надев фартуки, играли в хозяев, пользуясь для этого фарфоровой посудой и настоящими продуктами. Неловко открывали банки, ставили на стол тарелки, опрокидывали со звоном кастрюли, ходили вокруг плиты, перепачкавшись в муку, и все смеялись.

— Мужчине резать хлеб! — с деланной веселостью приказала Дануся. Она была между двух огней, но у нее уже начало пробиваться раздражение против подруги.

Я взялся за нож. У меня получались слишком толстые ломти. Увидев это, Янина снова засмеялась. Вообще, она здесь присутствовала словно бы только для того, чтобы замечать все мои промахи. А я под ее взглядом не знал, куда деть руки, как ступить. Из-за нее и молчал, боясь наделать ошибок в польском языке и показаться смешным.

Обрезал бы я барышню с самого начала, но сбивало с толку то, что она не упускала случая улыбнуться мне, сверкнув при этом зубками.

Проще всего было вообще не обращать на нее внимания: действительно, все тут было приготовлено только для меня. Но в тот момент я умышленно разжигал в себе злость и дошел до такого состояния, что еще один выбрык Янины — и я взорвусь.

Сели мы за стол.

У нас дома пищу накладывали в миски как попало. Показалось странным, как девушки разложили по тарелкам сыр, колбасу, селедку и остальное — неизвестное мне

даже. Все лежало мудреными узорами да такими ровными кружочками и геометрическими фигурами, словно их отмеряли циркулем, линейкой, трафаретами. Просто было жаль разрушать эту красоту, и я искренне воскликнул:

— Да на это нужно только любоваться, а не есть!

Янина, конечно, прыснула.

— Все тут для тебя, не сомневайся! — потащила меня Данута за стол, впервые обращаясь ко мне на «ты» в присутствии Янины.

— Открывай! — подала мне бутылку вина и штопор.

Я неловко вынул пробку, затем разлил розовую жидкость.

— Ну, твое здоровье! — подняла она рюмку.

Присутствие подруги мешало Данусе высказать вслух все, что ей хотелось. Но она многое говорила глазами. Они светились, согревая меня безмерной лаской и преданностью. Чтобы не показать Янине, как это меня волнует, я отвел взгляд.

— Ну, ты первый!

— Я не пью.

— Не пье-ешь?

— Нет!

— Совсе-ем, ни капли?

— Ни капли!

Янина прыснула.

В то время подпольщики давали себе клятву ни в коем случае не пить и не курить. Взяли такую клятву и с меня (между прочим, верность той клятве не раз потом выручала в годы войны).

— Ну хоть немножко!

Я интуитивно почувствовал, что новое качество еще больше подняло меня в Данусиных глазах. Сказал твердо:

— Вино — вышибает мозги. И капли не возьму в рот этой отравы, не проси!

Дануся растерянно пожала плечами, не зная, что делать.

— А вы не обращайтесь на меня внимания! Пейте себе на здоровье, если вам нравится!

Янина поднесла рюмку к губам, но Дануся так строго на нее посмотрела, что та поперхнулась.

Поставили рюмки.

— Ну, так ешь! — сказала хозяйка.

— О, эту работу люблю, желудок у меня вместительный, будь спокойна! — начал я выгребать из тарелок.

Янина опять прыснула.

Из книжек я знал, что богачи во время еды пользуются салфетками. Но когда мне под руку попало накрахмаленное полотно, я отложил его на буфет.

— Пусть лежит, будешь утираться, Ясю! — Засмеялась Данута, возвращая салфетку.

— Утираться? — искренне удивился я. — Да разве я грудное дитя и начну тут пузыри пускать?.. А, правила хорошего тона!

Разумеется, Янина и на этот раз не выдержала...

Говоря по правде, смеяться было над чем — мне теперь об этом смешно вспоминать. Но тогда я был оскорблен. Вскочил из-за стола.

— Не нравится тебе? Не держу, можешь идти! — открыто переходя на мою сторону, с великопанским гонором заявила Данута, указывая подружке на дверь. В ее взгляде сверкнули недобрые огоньки.

— Дурочка! — чуть выжала из себя, давась от смеха, Янина.

— Я тебе этого никогда не прощу! — с возмущением бросила Дануса вслед подружке и попросила меня сочувственно: — Ешь, Янусь, пожалуйста, не обращай внимания!

7

Но есть я не мог и уже не садился.

Раздраженные, мы вышли в зал.

— Ну вот, наконец, мы и одни! — пыталась меня развеселить паненка. — Ты этого хотел. Я ее прогнала. Доволен? Янек, ты меня любишь? Поноси меня на руках!.. И обними крепко-крепко, как на горе, чтоб даже косточки затрещали и нечем было дышать! О, как я люблю твои руки, они у тебя, как из железа... Скажи, ты меня любишь? Ну, скажи: «слезка моя...»

На фортепьяно в рамке стояло ее фото с Любецким.

— Попроси Любецкого, пусть поносит — у него руки дорогим мылом пахнут! — буркнул я, вспоминая сочувственную интонацию, с какой было сказано «ешь, Янусь». — И пусть он тебе признается в любви, — кивнул я на фото. — Он князь и умеет это делать лучше меня, мужика деревенского.

— Ага, недоволен, что прогнала ее? — воскликнула неожиданно паненка.

Я опешил.

— Видела, как ты на нее посматривал и рисовался!

— Я — рисова-ался?

— Кокетничал!

— Ко-оке-етничал?

— А тогда со студенткой над Вилией? Думаешь, глупая, ничего не вижу?

Раскрасневшаяся и рассерженная, Дануса чем-то напоминала сердитую кошку. Что-то привлекательное было в ее гневе. Но об этом я вспомнил гораздо позже, а в тот момент было не до наблюдений.

— Ты что, очумела? — не находил я слов.

— Ну, Янек, я, может, и в самом деле очумела и сказала глупость. Но так больше продолжаться не может! Хватит с меня! Ты всегда такой грубый, невнимательный! Взял разносить листовки и при друзьях не посмел даже подойти!.. Хорошо еще — другие сжалились да подбадривали меня! Из-за тебя я столько терплю каждый день, а ты этого не хочешь видеть и ценить!..

— Так из-за меня терпишь?

— Специально выпроводила всех из дому, чтоб только тебе угодить...

— Ага, выпроводила! Боялась, что тебя увидят со мной. Зато вечером, при народе, пойдешь в театр с Любецким!

— Ты несправедлив. Я с ним даже...

— Ну-ну?

— Я для тебя...

— Что ты для меня? Что-о? Ага-а, нечего сказать! В кино днем и то боишься пойти! Так что ты после этого для меня?

Видно, редко не ошибается тот, кто совершает какой-нибудь важный шаг в жизни в порыве злобы. Двадцать лет тому назад я поступил именно так и каюсь до нынешнего дня.

Гнев затуманил мое сознание. Но чтобы распалить себя еще больше, припоминал позорные, с моей точки зрения, факты из жизни генерала и его семьи и только такие, которые соответствовали моему настроению в данный момент. Вспомнил и весь позор, пережитый в Вильно, связал его тоже с генеральской семьей.

— Да вы меня даже за человека не считаете. Что я для вас? — заорал я.

— Я-а, не считаю? Неправда... — в голосе девушки послышались слезы. — Ты не имеешь права так говорить!

— Разве — не так?

— Нет!

— Нет?

Из кухни вышел белый пушистый кот. Он как ни в чем не бывало выгнул спину вопросительным знаком, лениво потянулся, царапнул паркет, зевнул, поднял хвост трубой и направился ко мне.

— Мурек! — позвала Дануся и нагнулась, должно быть, чтобы я не увидел слез.

Кот доверительно промурлыкал.

— Бедный мой Му-урек, вымок весь на дожде...

Меня охватила злоба опять.

— Ага, нечего больше сказать? Я для тебя игрушка? Бабава? Как вот этот кот, — и я изо всех пнул его ботинком.

— В-вя-ау! — пронзительно взвизгнул он. Описав в воздухе дугу, ударился о стену и пулей метнулся под шкаф.

— Грубиян! — возмутилась Данута, раскрасневшись от негодования. — Что ты наделал, дикарь?!

Меня это рассердило еще больше. Я в новом порыве гнева заговорил на деревенский манер: громко, не думая о том, что могут услышать соседи, размахивая кулаками.

— Да иди ты, наконец, к чертовой матери со своими Янинями, Любецкими, Станевскими, буржуйка ты несчастная! Играй тут со своими собаками, котами, куклами! Или уезжай уже в свою Швейцарию поскорей! Там тебя ждут такие же, как ты!

И выбежал во двор.

8

На следующий день, когда возвратился из города, хозяйка с таинственным выражением сообщила, надеясь доставить мне приятное:

— А у вас нынче были гости. И что-то оставили...

Я осмотрел комнату, но ничего не нашел.

— Под подушкой! — подсказала она, выжидая.

Я поднял подушку. Там лежала коробка шоколада — огромная, вся в красных маках. К шелковой ленточке была прикреплена серебряная цифра «19» и мои инициалы. Только теперь вспомнил, что сегодня — день моего рождения. В то время в моей деревне день рождения еще никто не отмечал. Даже не было привычки помнить, когда ты родился.

Удивленный, я постоял, подумал. Потом сунул подарок под мышку и вышел во двор.

И нужно ж было случиться, что как раз в этот момент

с улицы к парадным дверям генеральского дома приближались Бронислав и знакомый мне уже ксендз из интерната ордена иезуитов, который некогда меня оскорбил, предложив сливу. Дануся держала Гектора за ошейник и, как мне казалось, кокетливо говорила:

— Прошу, проходите, он не укусит!

— Прошу, ойтец Валенты, вперед идите, вперед! — Галантно пропускал Бронислав гостя в черной сутане, словно был хозяином в генеральском доме.

Дануся, убедившись, что я на нее смотрю, отпустила собаку и понеслась к Брониславу.

— День добрый, пане Бронек! — сказала радостно.

Я сейчас же вернулся к себе на квартиру.

— Вот и все! — промолвил я с тяжелым вздохом.

Оглянулся вокруг и впервые за десять месяцев увидел, что обои на стенах мутно-зеленого цвета, в каких-то жирных пятнах. Бр-р-р!.. И как только я жил здесь почти целый год. Прислушался. На кухне обедали. Должно быть, девочка кормила своего младшего брата и поучала:

— Почему ты картошку не очищаешь от кожуры? Так кушали ее только дикари когда-то!..

— Ы-ы-ых! — с удивлением втянул в себя воздух малыш, сделав для себя открытие — И хлеб люди когда-то будут есть без корки, да?

— Не выдумывай, дурак!..

Но малыш с восторгом уже заговорил опять:

— А молоко холо-одное, холо-одное, ну, прямо как будто из-под коровы! Попробуй, Валя...

— Ну и пусть, а ты — ешь!

Тут что-то стукнуло, полилось. Девочка закричала:

— О, разлил уже! Вылижи, а то маме скажу!

— Вылижу, Валечка! — виновато и покорно пообещал мальчик.

Послышалось сопение, потом прихлебывание.

Через некоторое время снова раздался строгий голос девочки:

— Ты что картошку разбрасываешь?

— Она не упала, Валечка! Честное слово, не упала! Я ее поймал ногами! Вот, смотри, если не веришь!..

Мне вдруг стало жаль этих детей. Бедные, даже не знают, что молоко из-под коровы как раз теплое, а не холодное!..

Когда они, бывало, садились всей семьей обедать, прачка никогда не брала в руку целого куска хлеба. Питалась объедками. Растапливала немного жира и вы-

ливала его в тарелки детям, а себе суп наливала в пустую сковороду — ей доставался только запах жира...

Я встал, вышел в кухню и отдал им коробку шоколада.

Назавтра тетка Антося принесла мне письмо:

— Вам.

— Не возьму!

— Это почему же? — удивилась женщина. — Вы ведь жить не можете друг без друга!

— Кто это — «вы»?

Антося посмотрела на меня с ужасом:

— Я-аночка, чего же ты так?!

— Было да сплыло!

— Почему?

— Гусь свинье не товарищ!.. Одним словом, несите обратно!

Через минуту я уже пожалел, что не взял письма. Дануся ведь ни в чем не виновата. Это я последнее время стал безудержным эгоистом. Но женщина ушла, и самолюбие не позволяло вернуть ее.

Ну, а уж коли начал играть роль обиженного, так надо было вести ее до конца. У меня оставался еще генеральский «кольт». Я к нему не мог привыкнуть, как привык к Степанову исклеванному ржавчиной нагану. Где-то, в каком-то уголке души, теплилась надежда, что это — единственная возможность еще раз встретиться с Данусей. Но генеральский двор был совершенно пуст.

На Залкиновом дворе старуха гонялась за внучкой, заставляя ее снять школьную форму. Я подождал. Когда Бети осталась одна, подозвал ее к сетке, приказал:

— Отнеси Данусе Янковской!

— А что тут?

— Не твое дело!

Бумага развернулась, и я увидел ужас в больших черных глазах девчонки. Руки ее задрожали.

— Неси!

— А он не выстрелит в меня?

9

Настало время моего отъезда.

Я долго ходил по городу сам не свой и уже очень досадовал, что из-за какой-то глупости, из-за обыкновенного упрямства поссорился с единственным близким и дорогим мне человеком в Вильно. И зачем я, лапоть, ее обидел? Она, бедная, должно быть, места себе не находит.

Разлад зашел слишком далеко, чтобы можно было что-нибудь поправить. Однако я вышел из дому с надеждой на счастливую случайность.

Несколько раз прошел мимо Данусино дома. Но, как на беду, во дворе — ни души. Только в затененных диким виноградом открытых окнах легко шевелились гардины да у калитки сидел пушистый кот. Когда я приблизился, он вдруг встрепенулся да так стремительно юркнул в кусты, что показалось, кто-то провел в воздухе белую полоску. Во мне пробудились вчерашние обиды.

Не о чем жалеть, правда ведь на моей стороне. Надо все это выкинуть из головы и собираться домой.

Я решительно направился в лавку. На деньги, которые у меня оставались, купил подарок матери — доску для стирки белья из гофрированной жести в деревянной рамке.

Возвращаясь с покупкой домой, встретил Данусю с Любецким. Когда увидел ее с князем, всякая охота заговорить с ней пропала. Дануся совершенно не походила на человека, что-либо переживающего. Она вся сияла. А я, дурья голова, себя казнил, что из-за меня помирает. Помрет, как же, дожидайся!..

Стало неловко за свое платье и за стиральную доску под мышкой. Мелькнула опять перед глазами крапива под забором, среди двора — измочаленная колода с воткнутым в нее топором, заткнутая тряпкой дыра в оконце хлева. Во мне заговорила гордость. Проходя мимо, я даже не взглянул на Данусю.

Однако она, видимо, за мной следила. Когда мы поравнялись, девушка громко заговорила со спутником и засмеялась.

Смейся, смейся, черт с тобой, если тебе так весело!

На одной из узеньких улочек я еще раз встретил их — неожиданно очутился у них за спиной. У Бронислава из-под студенческой шапочки свисал лисий хвост — подтверждение того, что Любецкий в чем-то провинился. Суткус как-то вспомнил, что Бронислав в «Батории» вызвался выпить литр водки, но после второго стакана свалился на пол. Чтобы реабилитироваться в глазах корпорантов, взялся побить витрину еврею. Но потом трусил и сказал, что камень отскочил от стекла, оказалось, мол, слишком толстым.

Что и говорить, мною овладела настоящая зависть. Я шел за парочкой, как шпион, и подслушивал.

— Эх, и забияка же я был в школе, панно Дануто,—

хвалился князь. — Увидела бы панно меня тогда! Недавно я был у учительницы, пани Перегут...

— Из гимназии Элизы Ожешко? Она еще моего отца учила!

— О, интересно!.. Так она была столь любезна, что показала мне свои записи, относящиеся к тому времени. Каждому из нас в специальной тетради отводила по нескольку страниц. Обо мне там написано:

«Первый класс гимназии. Бросил яблоко в прохожего и разбил ему очки. IV класс. Сел на извозчика, проехался и не заплатил. VIII класс. Вчера встретила Любецкого на торговой улице с моноклем в глазу. Он со мной не поздоровался»...

— Эволюция, ха-ха-ха-ха!..

Дануся рассмеялась неискренним, нервным смехом. Я понял еще раньше, что она, не оборачиваясь, чувствует на себе мой взгляд. Убедившись, что эта, будто бы интимная, беседа с князем просто демонстрация, я от их отстал.

Черт с ними!

Чтобы скоротать время до утра, когда уходил мой поезд, я еще немного побродил по городу. Серые, замусоренные улицы, лишенные зелени, наводили тоску. Лето на дворе. В деревне теперь мужчинам некогда и лоб утереть, женщины не успевают даже покормить детей. А тут млеют все от безделья. Эх, погнать бы вас на сенокос или копать торф, краска мигом с вас слезла бы!.. Все мне тут осточертело, захотелось домой, на волю и свежий воздух, к своим людям, к труду, после которого не чуешь ни рук, ни ног; захотелось всего этого так, что хоть волком вой.

10

Приближаясь к дому, я увидел у ворот Янковских машину с адъютантом и сразу про все забыл. «Выходит, вернулся ее отец?!» — почему-то с ужасом подумал я, перемахнул металлическую сетку, забрался в сирень и притаился под открытым окном.

— Где Дана, почему ты не интересуешься дочерью, почему ты так равнодушен к собственному ребенку? — слышался ворчливый голос генеральши.

— Дорогая, оставь ее в покое, за ней присмотрит Антося! — отозвался ее муж. — Утром вернемся, и все будет нормально!

Я весь превратился в слух.

— Пани Вацлава, это было в белье! — раздался уже голос молодой служанки. — Опять листовка! Вчера в почтовом ящике лежали!..

— Хулиганы! — взорвалась генеральша. — Стрелять надо их! Боже, и когда в Польше запретят эту свободу?!

— Ничего, ничего, Ватя, на этот раз в листовках пишут про Гитлера! И правду пишут!

— Кому нужна эта писанина?!

— Он подтягивает войска с танками к «коридору», а мы против них держим там кавалерию с пиками, тут все написано правильно!.. Вместо того чтобы предотвратить катастрофу, чем мы занимаемся? Раутами!..

— Не задирайся с ними, слышишь? Это к добру не приведет! Хочет Гитлер Балтийское побережье, пусть берет! Какая польза от Балтики полякам?

— Ты — что?!

— Больше двух недель на ней не усидишь, такая холодина! Возьмите лучше у большевиков доступ к Черному морю, там тепло, кипарисы, дыни!..

— Ха-ха-ха-ха!..

— Езус Христус, эти заботы разрывают мне сердце на куски, еще и политикой занимайся!

— Дорогая, мы на грани войны!

— Разве генералов под пули посылают? И меня не пугай, я пережила уже одну войну! Войдут в моду опять высокие сапожки со шнурками и вот такие шапочки военного покроя! Они мне к лицу, и ног своих мне нечего стыдиться, пусть переживает жена воеводы — они у нее как у слонихи!.. Видите ли, я помолодела, ибо массажистку принимаю, а без нее я будто бы — старая!.. Поручик Казакевич бросит — побежишь и ты к массажистке!..

Слышно было, как в комнату энергично вошел адъютант и сказал:

— Пане генерале, машина подана!

— Спасибо, Куба. Сейчас появимся.

— Слухам!..

Опять отозвалась генеральша:

— Антося, вернется ребенок, накорми!

— Хорошо, ласкава пани!

— Эпиметей пусть отутюжит все, что в Швейцарию берем!

— Отутюжим, ласкава пани!

— И закрывай на ночь окна, а дверь — на засов!

— Прослежу, ласкава пани!

— Гектора привяжи на веранде!

— Привяжу, ласкава пани!
— И с Эпиметея глаз не спускай!..
— Хорошо, ласкава пани!
— Не надо так о ней отзываться! Эта девка — безобидное существо! — заметил муж.

— Меня бы так пожалел! — разразилась жена опять. — Что у тебя за вид? Идем ведь на бал к воеводе, где будет румынский принц! На, саблю нацепи!..

— Еще и это свинство?! До ясной холеры!.. Отслужили свое сабли и эполеты!

— И республик везде наделали!.. При монархах, по крайней мере, великолепные церемонии были! Даже не понимаете, как себя обкрадываете!

— Вот-вот! Иные президенты и сейчас вводят придворный этикет, как при Людовиках!..

Вернулся я к себе на квартиру и стал разбирать ящички, в которых родители присылали мне посылки, чтобы отвезти фанеру домой. Фанерные квадратики были продырявлены гвоздями, исписаны химическим карандашом и для посылок, разумеется, уже не годились. Но оставить их тут со следами отцовских неуклюжих букв не мог. Занятый делом, я вспомнил каждую, подслушанную в генеральском доме, фразу и все качал головой, а время тянулось медленно. Весть о том, что кто-то распространяет листовки, приглушила во мне вдруг желание уезжать.

Меня уже подмывало побежать в город и поискать ребят...

Случайно подслушал один диалог.

Вышла на крыльцо и присела на ступеньки моя хозяйка. К металлической сетке с другой стороны к ней подошла Антося с тазиком и начала развешивать белье. Из сеней мне хорошо было их слышно.

— День добрый, соседка! — сказала моя хозяйка. — Слыхали? В городе люди про запас набирают соли, керосина, сахара!.. Говорят, война вот-вот начнется!..

— Езус Мария!.. — воскликнула ей служанка. — Что ж, грешили люди, грешили и доигрались! Нельзя без конца испытывать божье терпение!

— Начнется катавасия, чем я детишек кормить буду?

— Да-а, хоть живым в яму полезай тогда!..

— Говорят немец пускает бомбы просто на дома!..

— От их цеппелинов еще в ту войну спасу не было, а на эту неизвестно что припасли!..

— А бомбы пускать станет первым делом туда, где генералы живут!

— Ну, — согласилась тетка Антося. — Генерал для них — человек не простой!..

— То вся улица гордилась, что на ней стоит генеральский дом, то теперь ругать все будут!..

— Людям не угодишь, пани.

— Да, люди такие!

— Но я вам скажу, соседка, — все в господней воле! Надо нам всем молиться богородице!

— Правда, пани Антося!.. Пусть нас возьмет под свою опеку мать божья с Острой Браны, как не раз она брала наших людей!

— Амины!

11

В генеральском саду стояла увитая хмелем беседка. Когда начало смеркаться, там собрались генеральша, Данута, несколько паничей и паненок. В тишине теплого июльского вечера долго раздавался беззаботный смех, пение, аплодисменты. Я слышал это со своего крыльца и старался ничего не упустить.

Громче всех говорила Данута, не иначе была она уверена, что я слышу. И я упивался ее голосом, интонацией, мелодией его. Сделалось невыносимо жаль, что нельзя вернуть прошлого. Генеральша, как я догадался, приехала забирать дочь уже за границу.

Было слышно, как просили Бронислава о чем-то рассказать. Он немного поломался, потом начал:

— Да, это правда. В нашей семейной хронике записано, что в 1768 году, когда к моему прапрадеду в замок под Лодзью приехали на пасху князь Сапега со свитой, на балу было съедено сорок волов, двести пятьдесят телят, сорок баранов, двести свиней, восемнадцать тысяч кур, двадцать тысяч рыб, пятнадцать корзин раков. А венгерского выпили столько бочек, сколько дней в году, да кружек меда, сколько в году часов...

— О, Езус Мария, куда же все у них поместилось?!

— Наши предки имели по три утробы!

— Обжорами были!

«Подонки! Романтику видите в этикетах, церемониях и шике. Ради этой «романтики» швыряете тысячи золотых на карты, на спор из гонора, на разврат. Вам и невдомек, что за этим золотым тысячи людей, которые потеют, их добывая, болеют и страдают».

Постепенно беззаботное их веселье стало меня раздражать, захотелось выкинуть какой-нибудь фокус. Я поднял даже палку, намереваясь запустить ею в железную бочку генеральского душа, но в последнюю минуту испугался, что палка отскочит от бочки да еще угодит кому-нибудь в голову и придется иметь дело с полицией.

У крыльца стоял ясень. У меня возникло желание залезть на дерево. И, представьте себе, я полез!

Это был какой-то бессильный бунт. А возможно, обыкновенное шутовство, вызванное бессилием. Когда я вспоминаю об этом теперь, мне всякий раз делается неловко.

Может быть, я выкинул этот фокус только потому, что хотел обратить на себя внимание Дануты. Взрослый уже и, кажется, бывалый парень, а удумал штуку, о которой рассказать стыдно.

Так вот, влез я на самую вершину и притаился. В беседке пели и, разумеется, на меня, чудака, не обращали внимания. Тогда, раскачиваясь в такт песне, я начал выкрикивать первое, что взбрело в голову:

Стуку, груку ў дзверцы,
Едуць кавалеры!
А сучачка — цях, цях, цях!
А сэрцайка — так, так, так!

Никакого эффекта.
Я продолжал:

Гуляй, дзеўка,
Красуйся!
Рана замуж —
Не сунься!
Бо замужам
Трэба знаць,—
Позна легчы;
Рана ўстаць!
А свякрусе —
Дагадзіць,
Як па брытваццы
Хадзіць!

Остановился и опять прислушался, как к этому относятся в беседке. Наконец меня там услышали и примолкли.

— Смотрите, смотрите туда, на просвет на небе! Во-он, на светлом фоне, на кроне дерева — человек!! — прокричал кто-то.

В беседке зашуршал хмель — его раздвигали, чтобы лучше видеть.

— О, и я вижу!

— А-га!..

— Где, где?..

Несколько минут в саду царила тишина. Когда удивление прошло, компания вдруг начала смеяться. Смеялись долго, оскорбительно, как над дураком.

Наконец, Дануся заговорила:

— Ничего тут нет смешного! Вот залезьте вы, рыцари, туда же! Ну-ка! Не сумеете!

В беседке затопали.

— О-ей, куда же вы? — воскликнула Дануся. — Не расходитесь, прошу вас! Мамуся, не отпускай их! Почему ты позволяешь? Пане Брониславе, не уходите хотя бы вы, прошу!

— А который теперь час?

— О-о, как задержались!

— И мне время!

— Извините.

— Благодарим за приятный вечер!

— Не забывайте нас, пишите!..

Больше я не слушал. Чувствуя злорадное удовлетворение, что вечер господам испортил, снова начал раскачиваться на ветвях и на этот раз петь:

— Сме-ело, това-рищи-и, в но-огу!..

Распевал так, пока не понял, что в саду — ни души. И вдруг сделалось так стыдно, как бывает порою только во сне, когда приснится, что идешь по улице и неожиданно обнаруживаешь — ты голый.

Я спешно слез с дерева.

Уезжая в ту же ночь из Вильно, ощутил, как что-то навсегда уходит от меня. Разумеется, тогда еще и не знал, что день выезда из города был для меня не просто прощанием с Данусей. В тот день кончилась моя юность.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Первого сентября 1939 года разразилась война Германии с Польшей. Семнадцатого — в Западную Белоруссию вошла Красная Армия.

И тут началось!

Нарушилась стоимость денег. Поломались взгляды и обычаи. За один день приходилось видеть и пережить иному человеку столько, что до этого он не видел и за всю свою жизнь.

Некоторое время я чувствовал себя, как в поезде, мчащемся со скоростью двести километров в час, мелькают какие-то картины, образы, но ты не успеваешь к ним присмотреться.

Открылись школы. Средние и высшие. Бесплатные — учись себе, сколько хочешь. Началось невиданное строительство, стало не хватать рабочей силы...

Учился я уже в другом городе. Но по-прежнему тянуло меня к Дануте, хотя гордость и противилась этому. Невыносимо тянуло взглянуть — какая она сейчас. Дануся — из буржуев, может быть, терпит нужду и не имеет даже хлеба?

И вот во время летних каникул 1940 года отправился я в Вильно. Город был похож на потревоженный муравейник. Все в стадии ломки и утряски, люди — возбуждены и живут как на вокзале.

В генеральском доме — незнакомая семья. Там мне сказали, что тетка Антося перебралась на окраину в свой домишко. Я направился к ней.

— Как уехала генеральша с дочкой еще перед войной, так и не возвращались. Может, где и погибли: Гитлер, говорят, страсть как теперь любуется на свете! — проговорила старуха и посоветовала сходить к пану Левандовскому, который якобы недавно вернулся из эмиграции. — Они в одно время с генералом за границу бежали. Левандовский должен что-то знать! — уверяла она. — Я и сама собираюсь к нему...

— А вы уверены, что он в городе?

— Залкинды говорили. Старику все здесь не нравится.

То чай в столовых подают без подстаканников и блюдеч, то за магазин придираются. Выправлял уже заграничные паспорта для семьи, а поговорил с Левандовским и притих — будто бы тот ему сказал, что и за границей не сладко. Вчера видела возле книжного магазина, русские учебники для своей Бети искал...

Когда год тому назад многие части польской армии оказывали мужественное сопротивление немецкому нашествию, высшие чиновники бежали в Румынию. Я подумал, что, действительно, там мог очутиться и генерал. Он даже мог разыскать за границей свою семью — чего им тогда возвращаться в СССР? Где-то на папины доллары, вложенные в швейцарский банк до войны, Данута живет себе там королевой, я же, дурень, перся к ней сюда на помощь!..

И все же от Антоси я пошел к бывшему тренеру.

2

Квартира Левандовского была полна народа. Каждый, видимо, хотел разузнать о судьбе родных и знакомых, услышать что-нибудь важное и себя подбодрить...

Между прочим, для многих поляков — осколков старого режима — Англия казалась страной, которой предназначено было спасти Польшу — прогнать немцев и большевиков, вернуть на прежние места чиновников и военных, еще и выплатить им компенсацию. Они жадно ловили каждую весть из Англии.

В ту пору, если соберется несколько человек, непременно зайдет разговор о политике. И люди забывали про еду и сон. У Левандовского происходило нечто вроде пресс-конференции. В его холостяцкую квартиру набилось так много народу, что меня даже и не заметили.

— ...Сто пятьдесят лет нас третировали, издевались над нами, стреляли в нас, гноили в тюрьмах, за нами шпионили, запрещали даже разговаривать на родном языке, — с болью говорил бывший тренер. — Независимость мы выстрадали, как странники после долгого пути воду в лустыне. И мы опьянели от радости, не разглядели даже, где наши друзья, где враги. Россия? А, это та, где Сибирь, где звенели кандалами многие поколения наших предков? Говорят, там что-то новое? Посмотрим! Только мы не свели еще старые счеты!.. У Советов хорошие танки, говорили нам. Неправда! Так вот ведь — фотографии! Враки, это потемкинские деревни, танки из фанеры! И мы стали за-

игрывать с далекой Францией, с Англией... «Могучая, непобедимая», — фанаберились, восхваляя свою армию. А дошло до дела, и пришлось бросать кавалерийские эскадроны на немецкие танки да против пулеметов — уланские пики!..

В этом усталом и морально сломанном человеке с трудом можно было узнать молодцеватого красавца-мужчину, известного всему Вильно.

— А потом?.. Ввалились в Румынию голые, ободраные, грязные, прибитые, и — снова, как двадцать лет назад, — безродные. Никто нас за людей не считал. Дали нам соседи хлеба из жалости, и на завтра же мы стали смотреть на румын, как колонизаторы на туземцев, обзывать их «мамалыжниками»!..

Беда в том, что у нас, поляков, слишком много самого обыкновенного чванства, перемешанного с мнимой романтизацией прошлого, прикрытого дешевыми лозунгами о патриотизме, и это вошло нам в кровь со времен шляхты...

Дальше было еще хуже. Из Румынии поехали в Австралию. Там, в Сиднее, в городском парке — ручные кенгуру. Туда приходят развлекаться городские бездельники. Да, бездельников там хватает! Кто на войне умирал от жажды в африканских пустынях, а кто вот так... Кенгуру любит боксировать. И вот на потеху публике я, тренер первой категории, нанялся за деньги в партнеры проклятому зверю.

Надев перчатки, я, бывало, с утра до вечера — на «ринге». Кенгуру намеревается ударить меня задней ногой, а я не даю! Однажды пана Ковальского — почтового чиновника из Варшавы — на моих глазах зверь располосовал так, что кишки вывалились на песок! Тогда я отказался от этой работы...

В армию меня брать не захотели: стар. Приставили к коалам. Есть такие двадцатикилограммовые медведи. Питаются они листьями эвкалипта, в которых содержится много этилового спирта, и поэтому зверек всю жизнь пьян. Зеваки в парке целый день гогочут над ними, а мне кажется — надо мной... Опостылело унижаться. Опостылела чужбина. Захотелось домой. Прибыл советский торговый пароход, и я бежал на Родину. Меня поддержали немного на Лукишках, и вот выпустили — живи, сказали, работай.

Когда-то Левандовский знал о моих политических убеждениях. И мне не очень хотелось встречаться с ним

при той власти, к которой я так стремился, встречаться незначительным человеком да еще бедно одетым. Поэтому я долго колебался. Но тревога за судьбу Дануси взяла верх над мальчишеской гордостью. Улучив минуту, когда тренер смолк, я спросил о генерале.

Левандовский уставился на меня. В его усталых глазах отразились изумление и даже радость. Но я прикинул, что вижу его впервые, от чего живые искорки в глазах тренера сразу погасли.

Обиделся, что не желаю его признавать.

— Нет, генерала Янковского не встречал, — заявил он, не глядя мне в глаза. — И не слышал, чтобы кто-нибудь о нем там говорил. Ого! Он — из старой польской интеллигенции патриотов, такие — не очень-то убегали. Скорее всего — в плену или голову сложил...

Я ушел ни с чем.

3

Долгое время никто ничего не мог сказать мне и о князе.

Наконец, случайно довелось узнать, что Брониславом Любецким еще прошлой осенью заинтересовались наши органы, после чего он куда-то исчез...

4

Окончательно испортил мне настроение старый Войцех.

Бывший швейцар лица сообщил, что летом 1939 года литовца Альбинаса Суткуса мобилизовали в польскую армию и он погиб, защищая столицу Польши Варшаву.

— Может быть, это неправда? — не хотелось верить мне.

— Мой зять был с ним под Варшавой, — виновато подтвердил старик. — Он его там и схоронил...

Бедный Альбинас!

Всю жизнь он бился за кусок хлеба, терпел как раз от тех, за чьи интересы довелось сложить голову. В те времена мы не могли даже закрепить как следует нашу дружбу. И вот навсегда ушел с моего жизненного пути еще один близкий мне человек.

Пан Войцех дал адрес дочки старосты. У несчастной гимназистки взрывом немецкой бомбы оторвало обе ноги.

У Янины я никогда прежде не бывал и с родителями ее не был знаком. Меня удивили беспорядок и запустение, царившие в квартире бывшего высокопоставленного чиновника.

Все время, пока я у них находился, мать Янины, придя в себя от страха — родители девушки почему-то меня очень испугались, — не знала, куда меня усадить, все хлопотала и суетилась. В комнате лежала несчастная дочка-инвалид, у которой вдобавок повредило осколком позвоночника, и она не могла двигаться, а мать не к месту улыбалась, стараясь казаться беззаботной и милой. Оттого, что женщина унижалась и угодничала, было так неловко, что я не знал, куда девать глаза. Эти люди, воспитанные на легендах времен Ягайлы и Батория, на идее Польши «от меча до меча», превратились в беспомощных и смиренных овец, когда история ткнула их носом в действительность. Родители Янины даже во мне видели человека, от которого зависела их судьба.

— А ты иди, иди отсюда! — бесцеремонно прогнала из комнаты ее дочь. — Обойдемся тут без тебя!...

Наконец, мне удалось несколько минут побыть наедине с Яниной. Она лежала на кровати, обложенная не первой чистоты подушками. Трудно было ее узнать. На худеньком, бледном личике выступили веснушки, которых я раньше не замечал. Веснушки были и на руках, худых и страшных, просвечивающихся, как студень. Неудержимая хохотушка, симпатичная кареглазая кокетка превратилась в беспомощное и несчастное существо.

— Садитесь! — она указала на матрац.

Я все торчал, ошолобленный, среди комнаты.

— Что, не узнаете? Однако это — я! Некоторые узнают меня только по зубам, когда смеюсь... Садитесь же!

Все стулья были завалены одеждой и разными вещами. Куда тут приткнуться?

Видя, что я колеблюсь, воскликнула:

— Прямо на кровати! Не бойтесь, я не заразная!..

Чтобы не обидеть девушку еще больше, я присел. Сел как раз туда, где должны быть ступни ее ног. Но там — жуткая пустота. Вот теперь только по-настоящему до меня дошла трагедия несчастного человека.

Охваченный жалостью, я некоторое время молчал, рассматривая комнату. Это было невежливо, но такая уже у меня привычка...

Я заинтересовался альбомом, лежавшим на стуле. — Пожалуйста, смотрите! — Янина протянула руку и подала альбом.

Среди других там было много фотографий генеральской дочери с памятными надписями. Видя, что вглядываюсь в один из снимков, Янина вынула его и прочла вслух написанные на обороте Данусей слова:

Gdy w życiu cię ktoś zrani,
A na sercu pozostawi bliznę,—
Pamiętaj że więcej cierpiał Polska,
Twoja Ojczyzna!

— Что вы? — испугался я, видя, что она плачет.

Прошла тягостная минута тишины.

— Встретите когда-нибудь, передайте, что перед смертью думала о ней и желала вам обоим счастья, — говорила девушка сквозь слезы. — О, как вас Дануся любила! Как любили ее вы! А меня никто никогда не любил... Я вам так завидую...

— Янина, придет время, и мы еще соберемся все вместе!..

— Меня видите в последний раз, — тяжело вздохнула она. В ее глазах появилась какая-то сосредоточенная просветленность, отчего я опять перестал ее узнавать.

— Встретимся обязательно, пусть только все переменится...

— Ничего скоро не переменится, и вы это сами знаете. Я давно решила не мучать себя и маму. Только она прячет от меня все острое...

Я утешал девушку как мог, но слова мои звучали неубедительно. Мы вспомнили еще о том о сем, и я ушел.

Тогда же видел я и Генрика Станевского.

Бывшего агента дефензивы встретил в компании выфранченных бездельников. Они гурьбой ходили по улицам и зубоскалили, увидев красноармейца с монгольскими чертами лица или что-нибудь еще, по их мнению, смешное. Верховодил Генрик. Может быть, в кармане у него лежал Степанов наган?!

Вот так история получается!..

Если тебя кто-нибудь в жизни ранит и на сердце останутся шрамы, помни, что еще больше терпела Польша, твоя отчизна! (польск.)

Я долго следовал за пижонами, останавливался так, чтобы можно было встретиться глазами со Станевским, но он старательно этого избегал и отворачивался. Наконец мне это надоело, и я повернул назад: черт с ним!

— Комиссар в потрепанных портках! — раздалось за моей спиной.

Только немного погодя я догадался, что Станевский сказал это именно мне. Я бросился вслед за бандой и добежал до угла улицы. Меня охватила бессильная злость. Не драться же мне с этим типом здесь, на улице! Да, но, по крайней мере, я обязан был передать его милиции, он загубил не одного нашего парня. Ага, передать...

Тут я должен опять сделать отступление, чтобы как-то объяснить свое поведение. С некоторыми бывшими подпольщиками в то время происходили страшные вещи.

До 1939 года в трудной борьбе за освобождение от власти панов участвовало множество людей. В застенках дефензивы погиб не один Степан Романович — отдали жизни сотни славных ребят. Но в памятном сентябре международная обстановка сложилась так, что долгожданные перемены произошли внезапно, словно сами собой, почти без участия этих людей. И поэтому многие борцы за освобождение, когда оно, наконец, пришло, не сразу нашли свое место в событиях. Но и не только поэтому они не могли нам помочь: на них легло обидное обвинение и отпало только после XX, XXII съездов КПСС — пятнадцать лет спустя.

В первые дни воссоединения сплошь и рядом бывали случаи, когда разная погань быстро приспособливалась к новой власти и оттесняла настоящих людей... Что ж, условия этому благоприятствовали...

Еще раз посмотрев на улицу, я нерешительно направился к Вилии, к Зеленому мосту. При освобождении города между советскими войсками и эндеками были стычки, осталось много пробоин в фермах моста, а это в ту пору было еще новинкой.

7

День, прожитый мною в Вильно, был сплошным мучением.

Прачка вспомнила, что прошлой осенью у колодца нашли тело:

— Должно быть, того студента, что несколько раз приходил к вам с украинцем и кривоzubой студенткой!

Потрясенный новостью, я отправился в отделение милиции. Пришлось немало походить по кабинетам, пока не показали снимки.

Сомнения развеялись, это — Яцкевич. Выстрелили ему в висок.

— Пока преступника не нашли, — заявил мне следователь, — показывая еще и три дробины. — Это извлекли из раны. Такая неразбериха вокруг, что и братья за дело некому. Столько таинственных смертей в последнее время в нашем Вильно!..

Глядя на три кусочка олова, я подумал, что ими можно было выстрелить из Степанова нагана. Дробь попала в висок с большой кучностью, следовательно, стреляли с близкого расстояния.

Скорее всего, это работа Станевского. Кому еще мешал Яцкевич?!

Теперь искать его не имело смысла. Не такой он дурак, вторично попадаться мне на улице. О преступлении Станевского я только догадывался, доказательств у меня не было.

Да и мне самому приходилось быть начеку.

По Заречной даже боялся ходить. В бывшем интернате иезуитов и теперь жили семинаристы. Это уже не были юноши из деревень. Туда прятались польские и литовские офицеры чином не ниже капитана, а руководил ими знакомый мне отец Валенты. Семинария для них — ширма. Это был центр польско-литовско-белорусских и даже еврейских националистов. Лидер буржуазной Литвы, находящийся у власти, Сметона дал им возможность объединиться и переждать грозу, «Воспитанники» семинарии готовы были на любое преступление, только бы убраться свидетелей. А сколько таких центров в Вильно?

Несколько часов топтался я вокруг милиции, не зная, что мне делать.

Победила осторожность. Вздохнув, я ушел.

Впоследствии не раз жестоко пожалел об этом. Многих трудных минут в жизни мог бы я избежать, многим людям спасти жизнь, если бы действовал более решительно и помог засадить за решетку этого негодяя. Все равно рассчитывать с ним пришлось мне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

В первые дни Великой Отечественной войны меня не успели мобилизовать в Красную Армию. И я вдруг очутился на оккупированной территории.

Голодный и усталый притащился я из техникума в деревню: в то время родной дом представлялся крепостью, где ничто не угрожало.

Для нашей деревни Стражниково наступили черные дни немецкой оккупации, в сравнении с которыми времена буржуазной Польши казались раем.

Посидев несколько дней на домашних харчах, я вновь ощутил упругость мускулов, а под зажившими ступнями ног, как и раньше, закрипели половицы. Прошло и отупение. Вот тогда и почувствовал себя, как после долгого сна или даже продолжительной болезни, когда нужно с новыми силами приниматься за старые дела.

Еще перед войной деревенские хлопцы поразбредись по свету, и деревня опустела. Люди постарше теперь ждали от меня какого-то решения. Но что ты им скажешь, если у самого в голове все перемешалось и перепуталось.

Каким же наивным и малозначительным показалось все, чем жил недавно: курсы, бокс, Дануся, техникум. Не хотелось даже выходить на улицу, чтобы не встречаться с соседями.

— Ах, Яночка, ах, сыночек, что же теперь будет? — подстерегла меня однажды мать Степана Романовича.

— Ничего, тетя Настя. Это только здесь немцы про-
рвались. А в других местах наши уже подходят к Берлину! — повторил я беспечным тоном бытовавшую тогда легенду.

И долго не мог забыть упрека в ее глазах.

Да что же это такое, почему так произошло? Ну, разбили немцы в сентябре 1939 поляков, так у них не было чем воевать! Но почему отступила наша армия?

И нам оставаться под немцем? Неужели придется все начинать с маленьких кружков, как семьдесят лет назад? Что должен делать в этих обстоятельствах я? Попытаться представить, что делал бы сейчас на моем месте Степан Романович. Конечно, растерялся бы да и разводил руками и он.

А жизнь шла.

В местечке стоял гарнизон. Оттуда зачастили в Стра-



Жеников солдат. Обращались к нашим женщинам со словом «матка», а к тем, кто помоложе, — «паненка». Получив яйца, масло или молоко, складывали добычу в сумки из зеленого брезента, улыбались, показывая золотые зубы, и шли себе дальше.

Не солдаты, а — дачники!

Выйдешь в поле, где железная дорога, — на восток идут и идут поезда с пушками, авиабомбами, танками со снаряжением в запломбированных вагонах.

Уйдешь в лес — кругом стоят равнодушные сосны, ели. В орешнике одиноко и тоскливо тянет свое синичка:

— Пи-ить! Пи-ить!..

— Гур-р-р! Рур-р-р!.. — урчат дикие голуби.

А вверху — будто пулеметная очередь. Это — дятел. Только не короедов он на этот раз ищет — играет так, бродяга! На высокой сосне нашел сухой, упругий сук. Ударит по нему клювом и сучок-резонатор загудит, как басовая струна. Пауза. И опять, почти сливаясь в одну строчку, как пулеметная очередь:

— Ды-ды-ды-а-а-а!..

Дятел будто оповещает на весь лес: «Вот какой я-а, вот что могу-у, слышите-е?! Эх, и до чего же приятно жить на белом свете, черт возьми!..»

Но едва соберешься с мыслями — начинают реветь самолеты. Этот гром подхватывает стоголосое лесное эхо, перекрывая уже голоса синиц, голубей и дятлов.

Над вершинами проплывают серые громадины транспортных «юнкеров». Проплывают спокойно и так низко, что хоть считай рубцы на гофрированной обшивке с тонкими латинскими буквами и ненавистными черными крестами.

А приляжешь на землю, прижмешься к ней ухом, и слышно, как она вздрагивает. Только это не фронтовая канонада — немцы рвут трофейные снаряды.

Где-то там, у вокзалов, платформы установлены — колесо к колесу — советскими орудиями, свежавыкрашенными в нежную зеленую краску, с чистенькими банниками на боку, с целенькими оптическими приборами. Немцы деловито их грузят на платформы: малый калибр — на одни, большой — на другие, гаубицы — на третьи, чтобы отправить их в тыл.

У шоссе автогенном режут наши танки. Толстые плиты стальной брони поддаются легко, словно бряква, покорно укладываются в кузова крупновских тупорылых грузовиков и уезжают на переплавку.

Возле местечка — ограда из колючей проволоки. За ней — сотни пленных в серых шинелях: свои, родные хлопцы — униженные, исхудавшие — кожа да кости!..

Родной лес не приносит облегчения, ибо не в состоянии заглушить тревоги. Всюду — немцы, уверенные, спокойные, от них нет спасения.

2

Раньше, когда приезжал я домой на каникулы, мать была счастлива, что может смотреть на меня целыми днями. Зато отец ждал, когда начну рассказывать что-нибудь интересное.

Теперь мать была ко мне еще более внимательна. Совсем иначе вел себя отец.

— Слышь, старуха? Вчера приехал из местечка Василев Василь и говорит мне: «Видел твоего сына в городе. Перед жандармами шапки не снимает и не кланяется им. Не-ет! А так ходит перед немцами, что хоть стакан воды ставь на голову!..»

— Чем ты хвалишься, старый дурак?! Ах, сыночек, ну разве ж так можно? Остерегайся, не лезь на рожон!

— А ты — что, хотела, чтобы он перед ними вытанцовывал? Не дождутся!

Мать не соглашалась. Она тащила то вишни, то свежее молоко. Ночью подходила к кровати и укрывала, словно маленького.

Я хорошо понимал, что это у нее — из чувства близкой опасности. И было стыдно за свое бессилие, а горло словно сжимал обруч, не давал дышать полной грудью.

Однажды мать сообщила, что встретила старую Станевскую и та похвалилась:

— Нам выпало такое счастье, такое счастье, что век богу нужно молиться!..

— Какое может быть теперь счастье, тетко Станевская, что вы говорите?!..

— Да муж мой, оказывается, из немцев!

Мама рассмеялась.

— Ей-богу, правда! Его дед чистокровный немец, взял местную... Мы теперь фольксдойчи. К нам вчера приезжал амтскомиссар со своим секретарем, списал с нас эту... географию! Потом еще карточки выдал цветные на сахар, керосин, соль и сказал, что теперь мы не такие, как все!..

— О-го?!

— Но мы и вам поможем! Наши же дети дружат, вместе в Вильно учились...

— Нечего, милая, радоваться, — осторожно вставила мать. — Все такое теперь непостоянное, что не знаешь, на каком свете и живешь...

— Вы боитесь? — подхватила Станевская. — Вам же нечего бояться, у вас своя земля, немцы таких любят! При поляках ваш старик занимался немного той политикой, так немцы ему простят, и мы вам поможем!.. Мой заступится перед амтскомиссаром...

Мать улыбнулась мне заискивающе:

— А может, и правда, Янка, он что-нибудь сделает?

— Мам, оставьте это! — накричал я на нее. — Чтоб больше ни слова не говорили с этими хриstopродавцами!

— Так я ничего такого и не сказала! — обиделась она. — Меня даже гордость заела, я еще подумала: помрешь и не дождешься, чтоб у тебя помощи просила! И пошла. Это ты у меня везде лоб подставишь...

— Сами учили быть правдивым!

— Ну и будь себе!.. Только теперь нужно быть и осторожным! Мало они перестреляли людей?! А кому польза, если ни за что сложишь голову? Что тогда мы с отцом...

— Опять за свое!.. Перестаньте вы плакать!

А однажды встретил я и самого Генрика.

3

Шел я из местечка. У дороги, справа от меня, аэродром. В первое утро войны немцы тут разбомбили наши самолеты. Теперь фашисты собирались аэродром восстанавливать, но боялись, что заминирован. И вот пригнали с полтысячи пленных, приказали растянуться цепью, пройти по летному полю, будто бы для того, чтобы собрать мусор, повыдергивать сухие стебли. Сотни наших бойцов в серых шинелях, сгорбившись, брели под дулами автоматов по ровному полю, усеянному покореженным железом, то и дело наклоняясь к земле.

Возле аэродрома я и встретился с Генриком.

Станевский шел в местечко. Был он загорелый, одетый в тщательно отутюженный костюм, только без галстука. Воротничок свежей рубашки выложен на пиджак. В руке — разлапистый кленовый лист.

— А, коллега Бартошевич, сервус!

— Привет!..

Я остановился, опустил голову и носком ботинка принялся ковырять песок. Я чувствовал, что Станевский весь аж дышит здоровьем, уверенностью, самодовольством.

— Ну, как проводим лето? — спросил так, будто не было у нас с ним последней встречи в Вильно, даже с сердечностью.

— Я вот отдохну да и вернусь в Вильно.

Гадина — в это кровавое время нашел себе каникулы.

— А вы не собираетесь?

— Нет, пока что...

— Возможно, вернулись Янковские. Передать привет панне Дануте? — многозначительно усмехнулся.

— Вряд ли вернулись, — неприятно уколола меня ревность.

Мы долго постояли молча, не находя больше темы для разговора.

— Коллега был в местечке? — заговорил он опять.

— Был...

— Евреев там уже отделили в гетто?

А если и отделили, что, тебе легче от этого будет? Еще пару недель тому назад ты боялся и нос сунуть в родную деревню, а теперь — на тебе, выполз.

— Не знаю...

Я готов был взорваться от злости.

Ну почему так устроено на свете, что вот не могу дать ему в морду и даже отвечаю на idiotские вопросы.

Я в отчаянии поднял глаза, глянул вокруг и опять увидел цепь смертников на минном поле. Каким нужно быть сломленным, чтобы вот так покорно тащиться, собирать бумажки и стебли, прекрасно зная, что враги послали тебя сюда взрывать мины собственным телом?!

Нет, не я один такой.

Стало словно легче от такого сравнения. Но тут же спохватился: с кем равняюсь? Они все израненные, искалеченные, голодные, под конвоем и на чужбине, я же — на свободе и в родном краю: я им никак не ровня!

— Ну и организаторы же немцы! — восхищенно воскликнул Генрик, указывая кленовым листом в сторону аэродрома. — Кто бы додумался так мины обнаруживать?!

— Организаторы, по-твоему? — взорвался я. — А что бы ты сказал, если б очутился на месте этих, в серых шинелях?! А ведь мы с тобой запросто могли оказаться среди них, если бы попали до войны в армию! Как бы тогда ты хвалил немцев?

Генрик пролепетал, что, разумеется, немцы — бездушны, но нельзя у них отнять организаторских способностей. Я больше его не слушал. Не попрощавшись, пошел.

Понемногу мной овладело стремление действовать. А тут еще меня и подбивали.

Однажды, когда я старался сложить за столом обрывки немецкой газетенки, найденной у железнодорожного полотна, и сился что-нибудь вычитать о положении на фронте, в хату вошел отец. Старик сел за стол напротив, крикнул, отвел взгляд, помолчал. Выражение лица у него было такое, что у меня по телу забегали мурашки. Я опустил глаза и ждал, машинально листая немецкий словарь.

Отец молчал-молчал и, наконец, ехидно спросил:

— Читаешь?

— Читаю... — ответил я виновато, не понимая еще, куда гнет старик.

— Та-ак, читаешь! Обрывки?..

— Кусочки, «Фолькишер беобахтер». Это у них центральная газета, партийный орган... Нашел утром у железной дороги...

— Немецкие?! — старик не желал и слушать, от какой газеты обрывки.

— Ну и что с того, что немецкие... — слабо защищался я, — хоть что-нибудь нужно знать, а то сидим тут, как в мешке, ничего не слышим и не ведаем...

— Как это — «что»? — он даже вскочил с лавки. — Там где-то наши не собирают обрывки, а лупят фашистов почем зря! — Откуда-то перенятое выражение «почем зря» означало у него высшую степень накала.

— Не надо так, батька...

— А как надо?!

Голос отца задрожал. Он, сгорбившись от горя, пошел к двери. Взявшись за ручку, посмотрел на меня так, что захотелось спрятаться под стол. Потом махнул безнадежно рукой:

— Значит, не дорос. Э-эх!.. А еще тратился, ночей не досыпал, в самую Вильну посылал учиться!.. Выучил, ничего не скажешь!.. Спасибо, сынок, порадовал! Немецкие обрывки ходит подбирает!..

И громко хлопнул дверью.

Словарик выпал у меня из рук.

Что-то подобное происходило и в других семьях.

И уже к осени в наших лесах появились слабые партизанские группы. В одной из них, разумеется, очутился и я.

5

Прошло много лет после войны.

В году уже 55-м, в загородном автобусе мое внимание привлек один из пассажиров. Он сидел впереди, и я видел его со спины.

В пассажире было что-то бутафорское. На дворе стояли январские холода, а он был в конфедератке из обыкновенной клеенки, какой покрывают столы.

Еще на нем было лицованное-перелицованное пальто-реглан из некогда дорогого сукна, а галифе — из солдатского серого одеяла. На руках — дырявые замшевые перчатки с блестящими пуговицами.

Напротив него освободилось место, и я пересел туда.

Старческая морщинистая шея незнакомца странным образом не гармонировала с розовеньким моложавым личиком, коротенькими усиками и живыми карими глазами. Лицо это напоминало что-то давно знакомое, тронуло больную струнку не то детских, не то юношеских лет, и я начал внимательно к нему приглядываться.

Не будь на нем все такое чистенькое, аккуратно зашитое и заштопанное, не оказывай ему соседка уважения, человека можно было принять за сумасшедшего. Действительно, его словно бы кто-то перенес из необычной среды и посадил тут между утомленными командированными, крестьянами и крестьянками, что с пустыми корзинами, бидонами из-под молока, узлами, пакетами и желтыми пружинками баранок возвращались домой.

Незнакомец часто оглядывался. Очень интересовался всем за окном, словно ему долго не доводилось этого видеть и теперь он не может надивиться и восторгается, как дитя.

Неподалеку сидел иностранец — один из тех, что начали часто ездить к нам, когда это стало легче делать. Что он поляк, можно было понять по своеобразному покрою шапки, как у пилота, светлому пальто, туфлям на толстой каучуковой подошве, огромному, цвета спелого апельсина, чемодану, какие у нас еще не в моде, да — по элегантности, которую многим полякам удается сохранить в любых условиях.

Незнакомец в клеенчатой конфедератке наклонился и спросил человека в пилотке:

— Откуда пан?

— Из Варшавы.

— Из самой столицы? О, великолепно!

Человек с минуту помолчал, потом начал засыпать иностранца вопросами уже по-польски:

— Мост Кербеда уже отстроен?

— Да.

— А — Понятовского?

— Давно.

— И Королевский замок?

— Нет. Еще в развалинах...

— Жаль!.. А какие теперь курят папиросы в Варшаве?

— «Гевонт», «Бельведер», «Грюнвальд»...

— А «Пласке»?

— Нет.

— Жа-аль!

— Почему?

— Мои любимые... Я тоже поляк. И еду туда!

— Так, так!

— Ну, а как там жизнь?

— Сносно.

— Отлично!.. — карие глазки погасли, и человеку, видимо, расхотелось говорить.

Рядом со странным пассажиром сидела женщина. Лицо ее, покрытое приятным смуглым загаром, было свежо, губы тонкие, нос с горбинкой. Она была еще не стара, но по какой-то аскетической сухости в глазах и жестях я сразу же угадал в ней фанатичную католичку.

Женщина о чем-то спросила, и сосед ее звучным моложавым голосом заговорил:

— Го-о, пани Гелена! Многие мне там вешались на шею, посмотрела бы пани! Были и образованные, и красавицы. Но я — польский офицер из хорошей семьи. Что бы сказали товарищи, если бы я взял такую? И я женился на польке. Выбирать не из кого... Она совсем без образования. Не интеллигентна. Без роду... Отвезу до Польски, и нех себе жие. У меня совесть чиста, и я спокоен. Только бы достать в Гродно пропуск за границу.

Вспомнилось Вильно. Вдруг я догадался, вернее, почувствовал интуитивно, что передо мной — бывший соперник, «князь» Бронислав Любецкий! Столько времени, столько событий пролетело с тех пор, что вспомнить лицо довоен-

ного Любецкого я никак не мог. Вспомнился только галстук бабочкой и, кажется, такие же черные усики да маленькая узкая ладонь, которую я пожимал, когда Станевский знакомил нас у костела Святой Анны.

«Неужели это ты, братец, — удивился я про себя. — Но его же арестовали немцы за аварию с «мерседесом» и должны были расстрелять?! Выходит, выкрутился тогда, ведь это — действительно он!!!»

Словно помогая мне убедиться, что я не ошибся, Любецкий добавил:

— До войны, ласкава пани, была у меня в Вильно невеста. Красивая. Молодая. Из хорошей семьи. Мы были уже обручены. Но тут война, и немцы ее, холера яена, гильотинировали.

— Что, что с ней сделали?

— На гильотине отсекли голову. Такой станок. Кладут на него человека под специальный нож и — раз! — провел он ребром ладони себя по шее.

«Что он мелет, Дануту немцы казнили?! Из-за моего визита в дом генерала зимой 1943? За Станевского?.. Покарали такой страшной смертью?.. Неужели это правда?!»

Мне стало дурно, а женщина набожно перекрестилась и сказала:

— Святая богородица, возьми ее душу под свою опеку!..

— Что пан намерен делать в Варшаве? — спросила она через некоторое время.

— Го-о, пани Гелена! Только зайду на Маршалковскую в одну-другую ресторацию и найду все — компанию и занятие!

— А сколько пану лет?

— Хватает. Из них десять прожил в Казахстане среди азиатов. Теперь буду наверстывать. Будьте, пани, уверены, еще сделаю карьеру в Польше. Мне ведь только сорок семь. В Англии в этом возрасте мужчины — самый цвет и только начинают делать старт в своей карьере!.. Смотрите, пани, побеленный костел! — Бронислав припал к стеклу, но конфедератки не снял, что непременно сделал бы лет пятнадцать назад.

— Но вы же ей муж! — упорно продолжая думать о своем, удивилась женщина.

— Какой я ей муж? В костеле не венчался! В их сельсовете расписались только!.. У меня совесть чиста, и я спокоен.

Бронислав закурил. Грациозно держа папиросу тонкими сморщенными пальчиками, вылезавшими из дырявых замшевых перчаток, ловко сбивая пепел, продолжил:

— Иначе я не мог. Должен был я хоть как-нибудь жениться. Я офицер, и на меня обращали внимание женщины... Потом, пани, конечно, понимает, природа зорового мужчины своего требует...

Все это слышали сидевшие рядом пассажиры. Местные жители прекрасно понимают по-польски. Обычно пассажиры дружно нападают на тех, кто закурит в автобусе. Но Брониславу никто ничего не сказал, даже — женщины. Все терпели, как терпят сумасшедшего и вообще достойного сожаления человека.

Вдруг шестидесятиместный красавец «ЗИЛ» чихнул воздушными тормозами, и пассажиров швырнуло вперед. Открылись двери, и шофер отчаянно закричал:

— Чего, старая, прешь мне под колеса, чуть автобус с народом я не свалил в кювет из-за тебя!..

— А шоферо-о-ок, а сыно-очек, возьми-и, я до костела. Мне только полтора километра, и я слезу! Возьми-и, шоферок! — слышно было, как просит старушечий голос.

В автобусе дружно засмеялись.

Вместе с другими смеялся и «князь». Смеялся искренне, до слез, и на минуту сделался безобидным ребенком, какому еще нужна нянька.

Но мне было не до него.

Неужели из-за меня погибла Дануся? Боже, что я наделал!..

Нужно было трогать мне Станевского! Никуда он бы не делся, возмездие его настигло бы и так!..

А возможно, Любецкий говорил неправду? Столько лет прожил в Казахстане, откуда ему знать все подробно?! Напомнить ему о себе? От последней встречи нас отделяла целая эпоха. Теперь мы с ним как бы поменялись ролями.

Кем он был во время оккупации? Стать участником движения за независимость Польши мешал ему эгоизм, уверенность в своей исключительности и заботы о собственной персоне. Для участия в сопротивлении у него, по моему, не хватало характера...

Так кем же он все-таки был? Предателем? Видимо, тоже нет, ибо имел свой гонор. Предателей, вроде Станевских, немцы покупали, чем могли купить Любецкого? Он имел целые поместья. Властью? Перед ним и так лебезили многие. Тогда чем он занимался во время ок-

купации? Скорее всего, болтался где-то посередке. Пил. Распутничал. Проклинал войну не за то, что принесла горе людям, а — что мешает пожить, это значит, по его понятиям — погулять. Такими пренебрегали немцы, пренебрегали и мы. Случайно попал к ним в тюрьму из-за «мерседеса». Дануся об этом говорила — его должны были расстрелять за тот случай, а — вот, выкрутился...

Погибла Зина Квартенок, Петя Трухан, Альбинос, тренер Левандовский... Столько хороших людей сложило свои головы в те годы, а этот тип уцелел. Для чего?

Злая ирония судьбы.

Тем временем его соседка, на лице которой за все время не появилось и тени улыбки, спросила:

— А у пана есть специальность?

— Разумеется, пани!

— Какая же?

— Я инженер. Диплом получил за границей. Но до войны у нас был такой порядок: окончившие высшую школу за границей должны были сдавать экзамен и защищать диплом еще раз в Польше. Поэтому я поступил в университет Стефана Батория. К сожалению, защититься не успел, началась война. При немцах не могло быть и речи о защите. Потом большевики вывезли меня на Восток. В Казахстане мой начальник смеялся: «Ну, какой из тебя инженер, Бронек, если ты даже электрического чайника или перегоревшей пробки не починишь!..» А вообще, пани Гелена, в России работать научат! Теперь никакой тяжкий труд мне не страшен.

Крестьяне переглянулись.

Рядом стояла бабка. Соседка Любецкого влипла в стенку автобуса и никак не могла отважиться сказать ему, чтобы он подвинулся, а тот сделать этого сам не догадывался. Старухе уступил место я. Тогда соседка Любецкого спросила:

— Вы под Вильно в своих имениях были?

— Нечего туда ездить. У вас везде одно и то же. Но, пани, у меня есть еще поместья под Лодзью. Пани спрашивает, что я намереваюсь там делать? О-о-о, ручаюсь головой, что приеду к своим лодзинским хлопцам и попрошу у одного курицу, так мне каждый принесет по одной, и у меня сразу станет три тысячи кур!

Поляк с апельсиновым чемоданом многозначительно подмигнул мне, словно сказал: «Приезжай, тебя там только и ждут, как же!»

— А где будете жить?

— Не пропаду. Под Лодзью в нашем доме только для гостей — тридцать комнат. Вот Марысю надо куда-то пристроить... Пристрою, ничего! А уж тогда обращусь к Гомулке...

— Напишете?

— Ему пишут многие. Я поеду лично. Ибо я — капитан и из польской известной семьи. Мне положена хорошая пенсия. О, Гомулка правильно делает, что собирает поляков до купы!.. Только бы достать в Гродно пропуск для Марыси. Но пани поможет.

— У меня в домоуправлении знакомый работает, попытаюсь...

— О, костел опять! — вновь прилип Любецкий носом к стеклу. Но конфедератки не снял и на этот раз.

«Князь» говорил на весь автобус, словно никого, кроме него, здесь не было. От этого в автобусе создалась натянутая атмосфера. Ехали тут, как я уже говорил, главным образом крестьяне, которых некогда Любецкие, Сапеги, Радзивилы, Вышпинги заставляли низко кланяться. Но наш крестьянин, как известно, человек осторожный и осмотрительный. Он лишь бы где не погорячится, на рожон не полезет — это у него в крови. В данном случае они, видимо, понимали, что нет нужды перечить и спорить с таким ничтожеством. Но скоро это всем надоело.

Автобус как раз задержался — выпустил старуху у церкви.

— Видишь, хочет и молиться, и с шиком ехать, и ботинок боится в снег окунуть! — бросила какая-то женщина, когда бабка вышла.

Тогда мой сосед — дядька в кожухе — словно ничего не слышал о панских комнатах под Лодзью, будто в автобусе и не было никакого Любецкого, начал громко рассказывать забавную историю, как впервые ехал когда-то по железной дороге и вместе с ним ехала какая-то женщина в Почаевскую лавру.

— «Грех тебе, тетка, — говорю, — добираться в лавру поездом. Туда только пешком ходят, а так — не считается...» И что бы вы думали? Просыпаюсь ночью — тетка с котомкой за плечами ходит взад-вперед по вагону. «Зубы болят?» — спрашиваю. «Нет, я в лавру иду. Думаю, все равно ходить, что по земле, что по доскам...»

Над старым анекдотом дружно посмеялись. Дядька принялся что-то плести новое. Все его слушали. Любецкий притих — о нем забыли. Только я не забыл. Собственно говоря, не он меня занимал.

У меня росла тревога. Я стал внимательно вспоминать события тринадцатилетней давности и убеждать себя, что ни в чем не виноват. Но когда мне казалось, что я уже оправдался перед самим собой, кто-то сурово выговаривал мне:

«Все это как будто и так, а вот ее уже нет! И никогда не будет! А ты — оставил ее на растерзание врагам и живешь себе, разъезжаешь, смеешься от чепухи даже...»

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Вот что со мной произошло, когда я ушел в партизаны, и вот как я встретился потом с Данутой опять. Расскажу по порядку.

Я долго не мог сблизиться ни с одной женщиной.

«Не то... не то...» — твердил кто-то мне всякий раз.

Не мог я приказать своему сердцу полюбить и Зину Квартенок — отважную партизанку и золотого человека. Немало натерпелась и наплакалась она из-за меня и генеральской дочки.

Познакомились мы с ней случайно.

Однажды ночью, когда хорошо светила луна, с опушки леса наблюдал я за гарнизоном Крупки — готовили против него операцию. Простоял до рассвета. Встревожившись, что заметят, я опустил бинокль и направил своего коня в чащу — о дневном распорядке в гарнизоне мы могли узнать у связных.

Выбравшись из кустарника на большак, вдруг увидел на дороге ошалевшего черного жеребца. Он мчал в сторону Крупок. В санях чудом держалась какая-то дивчина с перекошенным от ужаса лицом.

— Катя-а-а! — слышался беспомощный крик, каким женщины уже не зовут на помощь, а только выражают бессильное отчаяние. — Катя-а, стреляй-ай, а то — к бобикам¹ меня утащит!..

Жеребец с диким храпом пронесся мимо, как демон, только осыпал меня комьями снега из-под копыт.

Он мог ударить сани о сосну или валун, и тогда дивчине — конец! Мог утащить в Крупки, и правда, самим бобикам в лапы.

¹ Поллиан.

Я пришпорил своего конягу задниками сапог и помчался за зверем.

Утихомирить жеребца и вызволить попавшую в беду дивчину удалось только в поле, на виду у гарнизона.

— Взи-их! Взи-их! — засвистели над нами пули.

— Давай ко мне! — втащил я дивчину на круп лошади, и мы ускакали в лес.

Выплакавшись после пережитого страха и счастливого спасения, девушка рассказала о своих злоключениях.

Прошлой ночью они, две подруги — Зина и Катя — шли с группой на задание. Неожиданно наткнулись на засаду. Партизаны разбежались кто куда. Девчата очутились в поле. Была ночь, но немцы могли их настигнуть по следам — надо скорее в лес. И партизанская удаль, в критический момент выручавшая многих, подсказала им выход.

— К лесу до утра не добежим, — рассудила Зина. — Идем в ближайший хутор за лошадью!

И вот, ничего не подозревая, зашли в самые Крупки.

На их счастье, деревня была большая, гарнизон стоял в другом конце. Вышел из хаты дядька и к ним — что они в конюшне делают? Партизанкам опять повезло, ибо крестьянин шуму не подымал. Но ему очень было жаль лошади.

— Напрасно, девчата, вы его берете! — осторожно начал старик. — Он у меня, дьявол, такой, что абы-кого не повезет.

— А мы спрашивать не станем! Как не повезет, а палка зачем?

— Не повезет, и все! Станет на дороге и ни с места, хоть ты ему стреляй в лоб, не поможет никакая палка!

— И что вы в таком случае делаете? — засомневалась уже Катя.

— Летом привязываю к хвосту камень... Да ведь зима на дворе, где вы тот камень теперь найдете? Оставьте его, дети, а то сами попадетесь и коня мне загубите. Его мне не жалко, я вам чистую правду... Мало ли коней в деревне?

— Не заговаривай нам зубы! — оборвала его Зина.

— Не пугай! — сказала ее напарница. — Ничего, не пропадем! И камень найдем, если понадобится. — Но-о! — ударила она вожжой по боку коня.

Откормленный и застоявшийся жеребец пулей вынес девчат из деревни.

Партизанки проехали километров пять, и уже в лесу

лошадь, действительно, заноровилась. Девушкам очень хотелось похвастать лошадью в лагере. Вместо того чтобы оставить ее и шагать дальше, они начали его охаживать вожжой, бить палкой — безрезультатно. Тогда Зина сделала петлю из новых ременных вожжей, вдела в нее ногу, взялась за вожжи обеими руками и потянула изо всех сил.

Лошадь не двинулась опять.

— Советовал тебе дядька взять другого коня! — упрекнула подругу Катя. — Теперь загорай тут с ним.

— Да помолчи ты! — отмахнулась Зина и приказала: — Ищи камни!

Катя прикладом расковыряла снег, выкопала какой-то осколок булыжника, привязала к хвосту. Жеребец взмахнул хвостом, почувствовал на нем что-то инородное и, как шальной, понесся в сторону Крупок. Подруга боялась по жеребцу стрелять, чтобы не попасть в Зину, а та, бедная, выскочить из саней не могла, — запуталась в вожжах, — я их потом обрезал ножом.

Чтоб спасти ее от насмешек, я об этом случае никому в лагере не сказал.

Зинина винтовка, вывалившись из саней, угодила под полоз, и приклад треснул. Найдя ее, втоптанную в снег, я скрепил приклад обрезком жести.

С того времени мы стали друзьями.

Вечерами у партизанского костра в лагере я даже несколько раз приглашал ее на вальс. Танцевала она неуклюже и как-то равнодушно, но девчат было мало, поэтому Зина пользовалась успехом. Но танцевать шла только со мной.

2

Ближе познакомились мы с ней на задании.

В начале апреля 1942 года нам было приказано выбить немцев и полицаев из Крупок. Гарнизон этот нам очень досаждал: враги часто делали засады, обстреливали из пушечки партизанские тропки, подкладывали мины.

На задание направлялись группами, рассчитывая на подходе к деревне соединиться и начать общий штурм. Мой взвод вышел на сутки раньше — я его вел в обход.

В лесу еще лежал мокрый снег, и тяжелые капли, срываясь с веток, пробивали его до мха. Поля уже чернели. Стыли лужи мутной студеной воды, отовсюду тянуло такой сыростью, что нас пронизывало до костей.

На землю не то опускался туман, не то упала туча.

Было такое впечатление, что где-то в небе зима вступила с весной в смертельную схватку, а земля брошена на произвол судьбы и не знает, что ей делать, все ждет не дожидается исхода этой схватки.

— Хоть бы ветер! А то как в мешке! — говорили партизаны.

— Ничего, скоро весна свое возьмет, — бодрились другие. — Уже недолго осталось ждать.

— Дожить бы только!..

Пока что приходилось терпеть.

Лямки вещмешков впивались в размокшие полушубки и натирали плечи. Сапоги раскисли, снимать их было сплошным мучением. К тому же они пропускали воду: она хлюпала между пальцев в такт шагам. А ночи настали темные, того и гляди, напорешься глазом на еловый сучок или провалишься по грудь в яму. Голову втягиваешь в плечи, чтоб не насыпались за шиворот ледяные капли с веток. Тело ноет, зудит, время тянется как вечность.

Зина, как и другие, тащила в вещмешке килограммов с двадцать: тол, патроны, продукты, а ее сапоги ритмично хлюпали, как и наши. Она держалась не хуже хлопцев, и мы порой забывали, что среди нас девушка. Повесив на плечо винтовку прикладом вниз, просунув руки под лямки вещмешка, чтоб не терло, она все время улыбалась мне. Я даже заподозрил, что и в группу напросилась из-за меня.

Дорогой мы почти не разговаривали. Только ночью, помню, пробираясь сквозь чащу, я признался:

— У меня, Зинка, недоброе предчувствие. Не напороться бы нам где на мины!

— Я не хотела тебе говорить, — отвечала она, — но и у меня тяжело на сердце. Как тогда, когда наткнулись в Сухих Багенцах на засаду...

— Но приказ есть приказ, эх-х! — вздохнул я и сразу же выругался, потому что ветка, отпущенная шедшим впереди Казаком, больно хлестнула меня по лицу. Между прочим, этот Колька, прозванный Казаком за лихую езду на коне, все время подлащивался к Зине и был на меня сердит.

— Плохо, пане Иване! — рассмеялась дивчина из-за того, что случилось.

— Темно, черт!.. Дали в морду, не знаешь даже, на кого обижаться! — утирая слезы, перевел я все в шутку.

— А ты поплачь, легче будет.

— Разве что...

Мы отстали от группы. Послышались голоса: партизаны в темноте разбрелись и теперь перекликались.

— Твое войско растерялось, смотри, командир!..

— Веревкой нам связаться, как альпинистам, или как?.. — произнес я озабоченно.

— А ты посоветуй хлопцам надеть на руки компасы!

— Гм, идея!..

Мы остановились, и я велел выполнить Зинин совет.

Хлопцы заложили руки за спину. Идущие сзади видели теперь слабый, но достаточный, чтобы по нему ориентироваться, фосфорический блеск компаса, шагавшего впереди товарища.

— Рационализация! — смеялись ребята.

— А ваш командир не хотел меня в группу брать! — пожаловалась им Зина. — Видите, и я пригодилась!..

Мне было неловко — до такой простой штуки не додумался сам.

Дальше мы молчали — поблизости таился гарнизон. Без особых приключений добрались до назначенного места.

Наступление на Крупки намечалось на двенадцать часов дня. До этого времени людям нужно было отдохнуть. На рассвете мы забрались в кусты дикой вишни, росшей неподалеку от деревни в овраге, расстелили плащ-палатки, легли, тесно прижавшись друг к другу. Я всех укрыл, а сам отошел и стал на пост.

Задание было опасным — гарнизон немцы хорошо укрепили, а мы его мало разведали. Немцы из него то выезжали, забирая на несколько дней полицаев, то возвращались, и сколько там было их всех в данный момент, толком никто не знал. Так уже ведется, что нет большей опасности, чем та, которую ждешь, не зная истинных ее размеров.

Какие только страхи не лезли в голову.

Что-то зашлепало по полю. Я вздрогнул и чуть не выпустил автоматную очередь по черному силуэту, но вовремя разглядел.

Собака, испуганная не меньше меня, коротко тявкнула, клацнула зубами и нырнула во тьму.

Черт, еще наведет полицаев!!

Наконец, рассвело. Кругом — тишина. Только в деревне орали петухи, скрипели колодезные журавли, а оттуда, где лежали партизаны, доносился приглушенный шепот и какая-то возня. Я оглянулся. Из-под плащ-палатки пулей вылетел Казак со взлохмаченными волосами и красной щекой. Хлопцы прикидывались спящими.

— Что, печется? — посочувствовал я партизану, сразу догадавшись: — Обжегся, бедный.

— А ну еей!.. Святошей прикидывается! Даже человеческих шуток не понимает! — отвечал он, ощупывая щеку.

— Да ну?

— Дай, брат Бартошевич, закурить!

— Дело дрянь, если ты даже забыл, что не курю! «Однако, боевая» — с уважением подумал я о девушке.

3

Нападение на Крупки мы не продумали. Чтобы разгромить такой гарнизон, нужно иметь хорошую связь и взаимодействие групп. Нужна артиллерия и минометы. А этого в 1942 году у нас еще не было.

...Уже около часа вели мы редкий огонь по бункеру, как мы иногда на немецкий лад называли дот. Он представлял собой высокий вал, окружавший жилые бараки. Из-за вала виднелись только крыши, а в самой насыпи чернели амбразуры, из которых вырывались язычки пламени. Вокруг свистели пули, осыпая нас брызгами мокрой земли, и мы жались к мокрому чернозему, желая превратиться в блин.

Наша группа должна была отвлекать на себя огонь противника, пока основные части, укрывавшиеся за строениями, не приблизятся с противоположного конца деревни и не начнут штурм. Словом, мы выполняли роль живых мишеней ради удачи операции.

Лежали мы на огородах среди осклизлых колышков и кочерыжек прошлогодней капусты, то и дело переползая из одной борозды в другую, и мешали противнику вести прицельный огонь. Не двигалась только Зина. Я подумал, что ранена, и мы с Казаком подползли поближе.

— Ты почему не меняешь позиции? — рассердился я, видя, что она живая и невредимая, заядло лупит из винтовки по полицаям.

— Лужу тут нагрела и жалко место оставить! — пошутил Колька.

— А вам-то что? — огрызнулась Зина. — Не мешайте!

Между бункером и нами стоял кирпичный дом. В нем засели полицаи с ручным пулеметом. Это не были бобики 1943—1944 годов, когда немцы набирали в полицию и кривых, и слепых. В Крупкинский гарнизон эти поступили в первый набор. Ростом они были не ниже ста семидесяти восьми сантиметров, все хорошо обученные — сильные и

смертельные враги, справиться с которыми было не так просто.

Внезапно огонь из дома прекратился. — видимо, кончились патроны. Из бункера к дому пробирались две женщины, вероятно, жены полицаев, тащили брезентовые сумки с дисками.

— Куда, стервы, прете?! — вдруг рассвирепела Зина и, пока мы спохватились, поползла вперед.

— Зина, постой! — закричал я.

Она не послушалась.

— Вот же дурная баба! — заорал Колька и пополз следом.

От бункера их скрывали стены дома, откуда уже не стреляли. Оба ползли по открытому месту. Чтоб подержать их, я не давал поднять головы полицейским дамам, раз за разом выпуская короткие очереди.

Подползая к дому, Колька вскочил и, отведя руку назад, собирался швырнуть гранату в пустое окно, но сделать это ему не удалось. Из темной глубины окна брызнула пулеметная очередь. Я ясно увидел, как синхронно с этой очередью на гибких плечах партизана выскочил рядочек рваных кусков полущубка: последними патронами бобик прошил Казака навывлет.

Парень мягко осунулся на мокрую землю.

— Колька! Казак! — отчаянно крикнула Зина. Но он уже и не шевелился.

Она схватила Колькину гранату, подбежала к дому и, швырнув ее в окно, прижалась к стене. Едва отгремел взрыв, как Зина отважно полезла внутрь.

— За мной! — скомандовал я хлопцам и тоже побежал к дому.

Там была удобная позиция: крепкие стены, а с крыши можно было заглянуть за насыпь, к немцам.

Когда мы ворвались в помещение, Зина из заднего окна уже пристрелила жен полицаев.

— Это вам за Казака! — прокричала разъяренно.

4

Тешится «успехами местного значения» нам пришлось недолго.

Группа партизан, которая должна была перерезать телефонную линию, не выполнила задания, и немцы сообщили соседям о нападении.

— Колонна бронемашин! — в самый разгар боя до-

несли наши разведчики, и командир дал красную ракету — сигнал общего отступления.

Нужно было скорей поползти до леса, пока бронемашин не отрезали дорогу. Мы снялись с позиции и побежали, прячась за пригорками.

Тем временем гарнизон тоже не дремал. Под прикрытием станковых пулеметов и мелкокалиберной пушечки высыпали из бункера немцы и полицаи. Броневики, развернувшись на большаке, шли нам наперерез.

И как всегда в подобных случаях, беда не ходит одна.

У нас был восьмидесятидвухмиллиметровый миномет и четыре мины. Три из них выпустили по гарнизону во время атаки. У четвертой стабилизатор был поврежден немецкой разрывной пулей.

Командовал нами капитан Фомин. В этих лесах он партизанил с первых дней войны: попал в окружение со своим эскадроном. Это был громадного роста отчаянный сибиряк, любивший ездить верхом. Говорил он низким густым басом такой силы, что мы посмеивались:

— Не разберешь, когда говорит командир, когда ржет его конь! С таким голосиной только на площади стоять вместо громкоговорителя!

Увидев, что немцы и бобики нахально посыпали из бункера, Фомин загремел:

— А ну стой, ребята! Я отсюда резану из пулемета, а вы подкиньте в самую гущу последнюю!

— Она же с побитым стабилизатором, товарищ командир! — взмолились минометчики.

— Кидай!

Перевернувшись в воздухе несколько раз, мина шлепнулась рядом с Фоминым, разорвала его и адъютанта в клочья.

Весть о гибели командира дошла до нас как раз в тот момент, когда мы увидели броневик. Поднялась паника.

— Спасайся, кто может! — раздался чей-то голос.

Об организованном отступлении нечего было и думать.

Партизаны побежали уже не оглядываясь. Бежали бездумно, как течет вода с высокого места на низкое, и остановить их уже не было никакой возможности. Напрасно командиры пытались навести порядок в своих взводах. Напрасно кричал я и на своих.

Только когда добежали до спасительного олешника на болоте, я кое-как сумел овладеть положением и приказал хлопцам занять круговую оборону. Возбужденный,

долго не мог сообразить, кого у меня не хватает и почему во взводе шестнадцать человек, а не восемнадцать. Наконец понял — нехватает только Казака и Зины.

5

Как девушка отстала, мы и не заметили. Преследователи загнали ее в болото, а оно уже местами подтаяло, и человек проваливался с головой.

— Во-о-от она, красавица! — злорадно заорал полицей.

— Не стрелять! Братъ живьем! — победоносно крикнул комендант и, пригибая себе под ноги кустарник и сухой тростник, первым полез в трясину. — Живой ее хватай, только — живой!.. Все-о расскажет в комендатуре!..

И полицей и комендант были местными. Для меня всегда была большой загадкой психология предателя. Как это можно дойти до того, чтобы вот так, с упоением преследовать своего человека и выслуживаться перед теми, кто тебя и в грош не ставит.

— Заходи ей с тыла, Николай! — возбужденно, с азартом кричал другой полицей.

Полушубок на Зине превратился в рваные ошметья, так его изодрало пулями и осколками. Все ближе трещали кусты и чавкало болото под ногами врагов, слышалось их тяжелое дыхание. Оставался последний патрон. Что делать? Нет выхода.

Девушка поставила винтовку на кочку стволом вверх, приложила висок к отверстию ствола и носком сапога попыталась нажать на спусковой крючок. Она в эту минуту не думала ни о каком героизме, не испытывала страха. Она знала, что так нужно: нельзя попасться живой в лапы врагов, поймают — хуже будет.

— Скорей, а то застрелится, партизанская шкура! — орал на своих комендант.

— Попробуйте возьмите, бобики вонючие, холуи чертовы, — упрямо твердила Зина, торопливо ища ногой спусковой крючок.

К счастью, из-за волнения она наступила ногой на скобу, и приклад по магазинную коробку погрузился в тину.

Зина вырвала винтовку, ища более твердое место.

Именно в этот момент подоспел я. Диски у меня были пусты. Но само мое появление было для поли-

цаев неожиданностью. Они на минуту растерялись, и это решило дело.

Из моей груди вырвалось какое-то дикое рычание. Я изо всех сил ударил автоматом крайнего полицей и с удовольствием услышал, как хряснул его череп. Но ни времени, ни возможности размахнуться еще раз уже не было.

И тут во мне проснулся боксер.

Следующего я сбил могучим хуком с левой в челюсть, третьему сунул в подвздох, и оба они поползли в чашу. Остальные, полагая, что за мной — партизаны, разбежались кто куда. Я нагнулся, чтобы взять у убитого винтовку и наган.

А девушка упала на кочку и забилась в приступе истерического плача.

— Нашла место для слез?! А ну, вставай и марш к хлопцам!

— И никуда я не пойду-у! — уткнулась она лицом в кочку.

— Ты что, очумела?!

— Иди себе, Ваня, а я тут останусь!.. Я не могу-у!.. Я не хочу встать-а-ть!.. — плечи ее вздрагивали от спазм.

Пришлось взвалить ее, расслабленную, на спину и тащить.

Понемногу она успокоилась. А вскоре я почувствовал, что она вздрагивает от сдерживаемого смеха.

— Ты чего там?

— Ну и ползли же они от тебя!.. Как вьюны! — засмеялась уже вслух.

— А ты цирк себе нашла, потешные картинки?! — куда-то подевалась моя злость.

— Ваня, а ведь опять меня ты спас! Если бы не ты, мне — конец! Ну, пусти, пойду сама!

— Поблагодари Янковскую: выучила меня боксу!

— Кого, кого?

— Видела, какой я наган добыл?.. Че-ерт, Казака жалко!.. Ну-ка, иди веред, а то потеряешься в чаще!

Не однажды спасала Зина и меня.

6

Летом побывали у нас десантники и оставили своего разведчика Юзика Савоську. Человек этот попал к десанникам случайно, и его временно оставили у нас для

проверки. Но я тогда еще этого не знал и думал — он выполняет какое-то важное задание.

Новенькая армейская форма Юзика и его автомат, так и отливавший вороной сталью, вызывали восхищение и зависть.

Замирали сердца у наших партизанок, когда он, бывало, аккомпанируя себе на гитаре и томно закатив глаза, пел:

Те-емная но-очь!
Только пуды свистят по степи,
Только ве-етер гудит в про-ово-дах,
Тускло звез-ды мер-ца-аю-ут!..

Аж злость берет, когда вспомнишь, что это ничтожество и жалкий трус выглядел в доверчивых девичьих глазах настоящим героем.

Зина выпросила для меня у этого Юзика тол. Взрывчатку мы добывали с риском для жизни, отвинчивая взрыватели у снарядов и выдавливая тол штыками, выплавляли его на кострах. При восьмидесяти градусах Цельсия тол плавился, но если температура выше — взрывался: сносил ближние сосны, ели, а от пиротехников не оставлял и следа.

Поди угадай температуру «на глазок», выплави тол без градусника!

И вдруг в моих руках — желтенькие, плотные, как хозяйственное мыло, кусочки фабричного тол! Я сразу же смастерил мину и решил ее немедленно испробовать.

— Командир, возьми и меня на «железку»! — напросился Юзик: ему захотелось блеснуть перед своими участием в операции.

— Давай!

Немцы в то время не были еще напуганы, и пути днем охранялись слабо.

В полдень мы трое добрались до железной дороги. Неподалеку проходило шоссе. Зине я велел наблюдать за дорогой, чтоб немцы не появились с тыла, а Савоську оставил на опушке леса прикрывать меня в случае, если кто появится на путях. Сам пополз к полотну.

В тот день мне определенно не везло. С полчаса назад три солдата пошли на хутор. Так надо же было им возвращаться на железную дорогу именно в тот момент, когда я ставил мину!

Я уже закрепил под рельсом мешочек с толom и заклинивал его камешками, когда шагов за четыреста от меня на путь вылезли немцы. Солдаты сразу догада-

лись, зачем я здесь, и, сорвав винтовки с плеч, начали бить по мне с колена.

Все пропало!

Стало жаль Зининого толa, и я начал поспешно выковыривать мину, обдирая себе до крови пальцы. Мне очень хотелось оглянуться, но я подумал: увижу, как немцы целятся, не выдержу и побегу.

— Тиу-у! Тиу-у!.. — пропели рядом пульки.

Очень страшно. Ковыряясь в земле, я себя все время подбадривал: только бы не смотреть, как целятся в меня, только бы вытерпеть! Ну, еще секунду, сейчас Юзик тебя поддержит из новенького автомата, вот-вот секанет!..

Я успел вырвать тол из-под рельса и лишь тогда услышал выстрелы сзади. Но стреляла Зина. Немцы бросились в кусты, и я был спасен.

— Где Савоська? — удивился я, увидев ее на месте Юзика.

— Застрелю эту сволочь! Пусть только в лагере объявится!

И уже потом, когда мы бежали по лесу, более или менее спокойно рассказала, что произошло.

— Только немцы по тебе пальнули, он — бежать! Я — «Юзик, Юзик!» — а он даже и не оглянулся, так драпал! Бросила шоссе и — сюда! Ты ведь был как на ладони! Подстрелили бы, что зайца!

7

В середине мая немцы блокировали пушу, в которой дислоцировались партизаны. На эту операцию противник бросил целых три дивизии, сняв их с фронта.

Я уже говорил, что хорошего взаимодействия между группами мы тогда не наладили. Почти весь запас патронов и гранат был израсходован еще весной, во время неудачной попытки взять проклятые Крупки. Против испытанных в боях фашистских частей, против танков, бронемашин, артиллерии и авиации мы со своими ржавыми винтовочками и пулеметами, которые часто давали осечку, были бессильны.

Созвали нас, командиров групп, на совещание.

— Что будем делать, ребята?

— Известно что! — кричим. — Соберемся в кулак, ударим всю силой и — либо грудь в крестах, либо голова в кустах!

Тут подняли голос старые коммунисты-подпольщики.

— Больно уж вы, браточки, легко рассуждаете! В бой ввязываться нельзя. Ну, убьете еще сотню немцев, так ведь у Гитлера их — миллионы, а вас уже не будет!

— Только соберитесь в кулак, немец этого давно ждет! Окружит, на крупу истолчет да с болотом смешает!

— На то у них рации, самолеты и механизированные части!

— «Либо грудь в крестах, либо голова в кустах»!.. Всем известно, умирать умеете по-геройски. Но наша задача — остаться в живых, выйти из блокады с наименьшими потерями, чтобы сохранить силы для будущих боев. Пусть каждая группа спасается как может.

И мы стали так «спасаться».

Один командир вырыл землянку в чащобе, хорошенько ее замаскировал, укрыл там свою группу да решил переждать в надежде, что немцы их не заметят.

Иные пробовали ночью просочиться на стыке немецких батальонов и уйти в соседие леса. С одной из таких групп пошла и Зина.

А я со своим хлопцами залез в болото и решил там переждать критический момент.

Еды у нас было мало. Мне, при моей комплекции, есть надо было больше других, но положение командира заставляло отказываться и от той скудной порции, что выпадала на мою долю. И в трудные дни блокады меня больше других мучил голод.

Бывало, соберутся ночью партизаны в кружок и начинают:

— Черт, в ресторан никто не пригласит!..

— С отбивными да бифштексами!..

— А я уже об этом и мечтать перестал!..

— Хотя бы закурить!..

— Угу! Глотнуть бы табачного дымка, а там пусть целый полк фрицев!..

— За щепотку табаку и жизни не жалко!

И вдруг кто-нибудь постарше, побывавший днем в разведке, достанет кисет и, хитро подмигнув, начнет его развязывать.

— Ах! — только и вырвется у партизан.

— Чур, мне одну затяжку!

— Чур, я второй!

— Третий!..

А хозяин кисета при лунном свете осторожно, словно это не вонючая махорка, а крупинки чистого золота, свертывает самокрутку. И пойдет сигарка по кругу —

по одной затяжке на брата. Настроение у людей заметно поднимается. Возвращаются и силы.

Не принимаю участия в пиршестве один я.

— Железный ты человек, Ваня, — хвалят меня хлопцы, затягиваясь дымом. — Мы хоть курим, так легче делается.

— Ничего. Скоро немцам осточертеет шататься по лесу, снимут бокаду. Как-нибудь перетерплю... — утешаю я больше себя, чем товарищей.

Никто, конечно, и не знает, что у меня сейчас на душе. Кружится голова от голода. По телу пробегает, памятная еще со времен страданий в Вильно, дрожь, разливается слабость, глаза застилает мглой. Расслабляется воля.

Впервые в жизни я пожалел, что не научился курить.

— Братцы, ведро воды заменяет сто граммов хлеба, доказано партизанской наукой! — накурившись, шутил кто-нибудь из ребят и зачерпывал в пригоршню жирной болотной воды.

— Смотри ты, еще и диссертацию на эту тему защитишь после войны! — в тон товарищу отвечали повеселевшие голоса.

— Обязательно!

Только у меня одного нет настроения. Надо себя взять в руки.

Еще со школьной скамьи я знал, сколько в этой жиже микроорганизмов. Планктоном даже киты сыты бывают! Отвратительно глотать миниатюрных козявок, но если стоишь перед лицом голодной смерти и выбора нет?..

— А вы не смейтесь! Пейте, хлопцы, эту воду, она питательная! — поощряю я товарищей, убеждая и себя, что мне тоже хочется пить, и пью эту мутную рыжую бурду, процеживая сквозь зубы.

Днем солнце припекает безжалостно, пот катится градом, мучит жажда, и я пью опять — делаю как раз то, чего делать нельзя.

Чрезмерное потение привело к обеднению клеток солями, нарушило их способность держать влагу, расстроило гармонию процессов в организме.

Постепенно настолько ослабел, что не мог согнать с носа комара. А пустят немцы ракету, так не в силах даже проследить за ее полетом. Но во рту пересыхало, и я все пил, пил и пил.

Дошло до того, что сожму пальцами кожу на груди — выступали капельки воды, словно выжимал мокрую губку.

— И надо же было вести нас к черту на кулички, чтобы пропадать тут от голода и комаров! — слышал я, как сквозь сон, укоризненные слова товарищей.

— Что мелешь? Он тебе свой хлеб отдавал, прикидывался, что не голоден, а теперь видишь, как дошел? — пробовали защитить меня некоторые.

— А почему «тише»? Может, неправду говорю? Погибать, так в бою! А то сиди тут в могиле! Какая мне радость, что и он со мной вместе подохнет?

Мне теперь казалось, что и сам вижу свою ошибку. Но исправлять ее сейчас уже поздно — мы так ослабели все, что не в силах держать винтовки.

Если бы набрел на нашу группу хоть один немец, даже лядащий, взял бы нас голыми руками!

Оставалась одна надежда: немцам надоест кормить комаров, и они сами снимут блокаду.

И все же я нашел в себе силы организовать вылазку.

Ночью взял двоих товарищей, поползли к немцам. Палатка. Вскочили в нее и... трое солдат, спавших на сене, не успели даже проснуться.

Мы стали поспешно шарить.

Патефон. Стол с газетами. Пустые котелки на нем. Ведро — тоже пустое.

В уголке какой-то мешок. Пощупали — сухари! Схватили его и — вон из палатки!

Отползли в самую трясику, развязали мешок, а там — кожа на подошвы. Кажется, это был единственный за всю войну случай, когда я заплакал.

На десятый день я начал впадать в беспамятство, все чаще скрывала меня дремота. Но и сквозь этот туман видел я блеск воды, и губы сами тянулись к ней.

...Очнулся я на сухом месте. Надо мной склонялась Зина и лила в рот молоко из бутылки.

— Ты-ы? — хотел я спросить, да захлебнулся.

— Ванечка, золотце, не разливай, а — пей! — взмолилась.

— Где хлопцы?

— Спят еще! Дай-ка я тебя подниму! Вот та-ак... Бо-оже, какой ты у меня легкий стал!.. А теперь глянь туда!

Я сел, опершись спиной о ствол сосны, оглянулся.

И правда. Мои партизаны, развалившись на поляне, храпели на разные голоса. Впервые мне подумалось, что каждого из них я узнал бы еще и по храпу. Суши-

лась на солнце поразвешанная на кустах одежда, от нее, словно дымок, лениво подымался пар.

За поляной на болоте мирно похаживал аист, оставляя на траве темные следы. Там, где я лежал, был приятный холодок. Кое-где стыдливо краснели первые в этом году бусинки земляники. Покачивалась униженная росинками паутина — по ней резво бежал куда-то паук...

А над всем этим стоял такой щебет, что казалось, листва и хвоя кишат птицами. Я набрал полной грудью пьянящего воздуха и так потянулся, что затрещали кости, а по мышцам разлилось невыразимое блаженство.

— Все живы, не волнуйся! — успокоила с материнской заботой девушка.

— А остальные группы?

— В землянке всех отравили газом! Из нашей половины не вернулась! Хлопцы тебя хвалят. Только сам так дошел, что чуть отходила. Горе мне с тобой!.. Пей, специально для тебя с хутора принесла молока, на всю округу одна корова осталась, цени!..

— А блокада? — вдруг вспомнилось все, как тяжелый кошмар.

— Два дня, как немцы отошли.

8

Кроме прочего, была у нас с Зиной одна тайна.

Раздобыли мы с ней толу и взрыватель. Устройство взрывателя было довольно простое. От батарейки карманного фонарика шли две изолированные проводочки, одна — плюс, другая — минус. Из этих проводочек нужно было скрутить спиральку и положить на рельс. Колеса поезда нажмут на спиральку, произойдет замыкание, и...

Пошли мы вдвоем на «железку». Я закопал мину, поставил батарейку, и мы спрятались в кустах.

Прошел поезд, но взрыва не последовало. По инструкции, если такая мина не сработает, трогать ее не полагается: замыкание может произойти в любую минуту, и партизана разнесет в клочья. Но очень уж нам дорого достался тол!

Мы еще ковырялись у рельсов, когда вдали послышался гудок паровоза, — как раз в это время должен был проходить пассажирский.

— Давай попробуем еще! — голос у меня задрожал от волнения.

— Только скорее! — подхватила напарница.

Как на беду, проволоочки переломились под колесами предыдущего поезда и никак не хотели лежать на рельсе. Я нашел какую-то палку и, лежа на насыпи, стал подерживать ею непослушные проволоочки. Вытянутая рука скоро сомлела.

— Давай мне! — шепнула Зина.

Так мы и менялись, пока подходил поезд.

Нам было ясно, что если замыкание произойдет, от нас не останется и следа. Но мы находились в состоянии такого пьяного азарта, когда человек не отдает себе отчета в своих действиях. Мы думали только об одном: идет пассажирский поезд, в нем семь-восемь пульманов, полных гитлеровцами, — они самодовольные, с награбленным добром в чемоданах, веселые, самоуверенные.

Да мы готовы были подтолкнуть вагоны своими плечами, чтоб лучше летели под откос!

Скоро по рельсам прокатился грохот, потом показались фары, они росли на глазах, пока не пронеслись над нами, и тогда мы снова очутились в густой тьме. Поезд только выбил палку из моих рук, обдал меня ветром и брызгами горячего пара, а песчинки больно хлестнули по лицу.

— Будем пробовать еще раз? — разохотилась Зина.

— Не станем больше дергать за хвост судьбу! — опомнился наконец я.

Забрали мы тол и молча поплелись в лес.

Если бы на моем месте был другой партизан, я бы сразу отдал его под суд: бессмысленное удалство — никому не нужное, и законы на этот счет у нас были строгие. Но себя я, разумеется, под суд не отдал, и про случай со злополучной миной даже никто не узнал.

9

В Западной Белоруссии образованных людей из местного населения было мало. После воссоединения осенью 1939 года ощущалась нехватка кадров. И на Минщине объявили комсомольский призыв. По этому призыву и приехала в Западную Белоруссию Зина Квартенок.

Зима стояла лютая. Зина прибыла на новое место в толстых, не раз подшитых и опять стоптанных, валенках, в зимнем неуклюжем пальто — деревенский портной руководствовался лишь одним принципом: побольше всадить в него ваты, — об этом просила Зинина мать.

Города Западной Белоруссии с их бедной промышленностью заселяли главным образом чиновники, лавочники,

мещане. Не по душе была им Советская власть, не по душе были и люди, прибывшие с ней.

— Смотрите, смотрите, еще одна восточница-колода! — смеялись над Зиной в Белостоке мещанские модницы в фетровых ботинках, в расшитых замысловатыми узорами краковских тулупчиках.

Зина это слышала. Стесняясь своего неказистого наряда, девушка пробиралась от квартиры до «Заготзерна», где работала лаборанткой-приемщицей, малолюдными переулками.

Вместе с ней работали завзятые сторонники старого режима. Являлись на службу по утрам, начинали ворчать да шептаться. То один, то другой приносил новую сплетню.

— Всех детей до пяти лет будут забирать от родителей в приюты и воспитывать из них большевиков! — сообщала первая.

Другая подхватывала:

— А слышали? В галстуках и шляпах нельзя будет на улицу теперь выходить, готовят приказ!..

— Мы сухари заготавливаем — в тайгу всех скоро отправят...

Так и чесали языками до полудня.

— Еще успеем наработаться, день велик! — отвечали на Зинины укоризненные взгляды.

А после полудня, сложив руки, дожидались вечера.

— Мы не лошади, чтоб целый день спины гнуть! — заявляли с циничным спокойствием.

Не решаясь высказать свои обиды в другом месте, они отводили душу на бедной девушке.

— Эй, комсомолка! Что у вас за власть? Вот ты стараешься изо всех сил, а на тебе и платья порядочного нет! Только и знаешь работать, что батрачка! Вкалывать, как это у вас называется!..

— Ее за это на следующем собрании в президиум посадят.

— Да в приказе отметят перед праздником и в стенгазете напишут!

— Как же можно не работать? — защищалась девушка, потрясенная такой наглостью.

— А я, быть может, сегодня хочу спать! Да и завтра мне захочется полежать! Зато послезавтра задумаю выйти на работу да все дела сделаю сразу. А мне этого ваши законы не позволяют! Где же личная свобода, если я сам собой распоряжаться не волен? — приставали обиженные новой властью бывшие лавочники, хозяйчики да мелкие

дельцы. Приставали, будто всему виной — она, Зина. Девушка только смотрела широко раскрытыми глазами: так вот они, те люди, о которых она раньше только слышала! Недаром их свергли в революцию!

Внезапно началась война.

Нет, жизни ее ничего как будто не угрожало, ведь она была простой лаборанткой в каком-то «Заготзерне». Гитлеровцы не убили никого из ее родни — не было у нее чувства личной мести врагу.

Война с первых дней отрезала Зину от всего света. Девушка не успела получить ни инструкции в райкоме, ни совета товарищей, ибо все сразу пропали из виду — граница была рядом, немецкие танки заняли эту местность сразу же. Однако с первых дней войны Зина Квартенок избрала верный путь. Ведь если ты в душе человек настоящий, то и без приказа, по велению сердца, будешь делать то, что нужно. Зина ушла в партизаны.

10

Прошел месяц после блокады. Я уже отошел и поправился так, как только может поправиться молодой, здоровый человек после критических дней голодовки.

Зина целую неделю была в походе с группой и теперь вернулась в лагерь.

— Боже, какая на тебе рубаха?! — первое, что она сказала при встрече.

— Гм, а я и не заметил, что она у меня аж так задржавела!..

— Скидывай, на вот чистую! Специально двести километров несла, аж из-под самого Белостока, на колечко выменяла у польки!..

— Стоило ли? После войны будем крахмальные носить!..

— Ну, ну, не ленись, надевай!

— Вот ведь живет человек, как у Христа за пазухой!.. Э-эх! — вздохнул присутствующий при этом молодой партизан.

— Соль тебе в очи! — в тон ему ответила девушка.

— Заслужи, будут и тебе носить! — огрызнулся я.

— Браток, научи, как этого добиться?! — не отставал непрощенный свидетель.

Мы стояли на глазах у людей. Рядом, на возу, лежал раненый, доставленный на операцию. Средства для наркоза у нас не было, какая-то партизанка поила парня

самогоном, ожидая, пока он впадет в забытие. За телегой доктор точил ножовку. Тут же двое ребятишек бодали друг друга лбами — кто кого. Две девушки вертели жернов, то и дело поглядывая на нас.

— Пошли отсюда! — шепнула Зина, когда я управился с чистой рубахой.

Охваченные внезапным волнением, мы, как воры, прячась за повозками и шалашами, подымались в лес.

Еще только начинали отцветать ландыши. Пьянили запахи разопревшей на солнце зелени. Шуршали под сапогами сухие былинки, похрустывал мох, усыпанный прошлогодней хвоей, утыканный, словно пуговицами, еловыми шишками. От болота веяло прохладой.

А мы ничего не замечали, думали только: скорее бы отойти подальше от людей. Перебрасывались ничего не значащими словами. Обоим хотелось идти побыстрее, да сдерживала какая-то стыдливость друг перед другом.

С ветки на лицо Зине упала росинка.

— Дождь! — соврала она и побежала. Я охотно подержал ее притворство.

Очутились мы в глухом соснячке. Зина прислонилась спиной к дереву, словно и взаправду пряталась от дождя, выдохнула:

— Стань рядом!

Ее короткие пальцы с широкими мужскими ногтями нервно и беспорядочно мяти зеленые иглы, будто это не хвоя, а мягкие листочки мяты. Руки партизанки дрожали, она дышала тяжело и прерывисто.

— Ваня, ну-у? — попросила с тоской побелевшими губами.

Но я успел уже остыть.

Я словно проснулся и вдруг ясно почувствовал, что в отношениях с Зиной перешел какую-то недозволенную черту и надо исправить дело, пока не поздно.

Я весь внутренне собрался и внимательно посмотрел на девушку.

Кажется, никакая сила теперь не заставила бы меня прикоснуться к ней: если сердце не лежит к человеку, ничего с собой не поделаешь. Вот уже и забыл, что на мне подаренная ею рубаха. Мне неприятен на ее пальце след от колечка... А о той рубахе, что мне когда-то выстирала на Вилии Дануса, до сих пор помню. Знаю даже, где она лежит в хате, приходя иногда по ночам, обязательно притронусь к ней, и мне становится легче...

Я попытался преодолеть вдруг овладевшую мной от-

чужденность и, чтобы не обидеть Зину, хотя бы поцеловать ее: не отсыхали же у меня губы раньше?!

Это было бы усугублением обмана. Признаться, я тогда не был ни святошей, ни невинным дитем. Но Зина мне была, как сестра или даже, — как мать. Мог ли я бесконечно обманывать ее доверие?

И еще. Один шаг, и, мне казалось, я потеряю свою независимость. Меня сдерживал инстинкт самозащиты.

— Ну, что же ты?! — подгоняла она.

— Не надо, Зиночка! — попросил я как можно мягче, легко отстраняя ее руки.

— Почему же?! — выдохнула она с недоумением. — Тут же никого нет!..

— Я давно тебе хотел признаться...

— В чем?

— Знаешь... Несколько лет я люблю одного человека, и дальше так тянуться не может...

— Конечно!

— Только не обижайся на меня, Зинка, — взмолился я, не зная, чем смягчить для нее горечь суровой правды: всем существом ощутил, как будет ей больно. — Поверь, это от меня не зависит!..

Мне показалось, что на миг все замерло — такая наступила тишина.

И вдруг в этой тишине раздался громкий звук пощечины, у меня перед глазами все закачалось: Зина изо всех сил хлестнула меня по лицу.

Минуту стоял я ошарашенный.

Вот так-так! Впервые в жизни получил я по физиономии. И странно: не разозлился и не обиделся. Где там! Я готов был подставить вторую щеку: бей, Зинка, если тебе от этого легче! На, бей, бей!..

Закрыв лицо руками, Зина зашаталась в отчаянии.

— Ох, какая же я дура!.. А я-то думала! — прорывалось у нее сквозь рыдания. — М-м-м!..

— Но я ведь ни в чем не виноват, все это случилось помимо моей воли!..

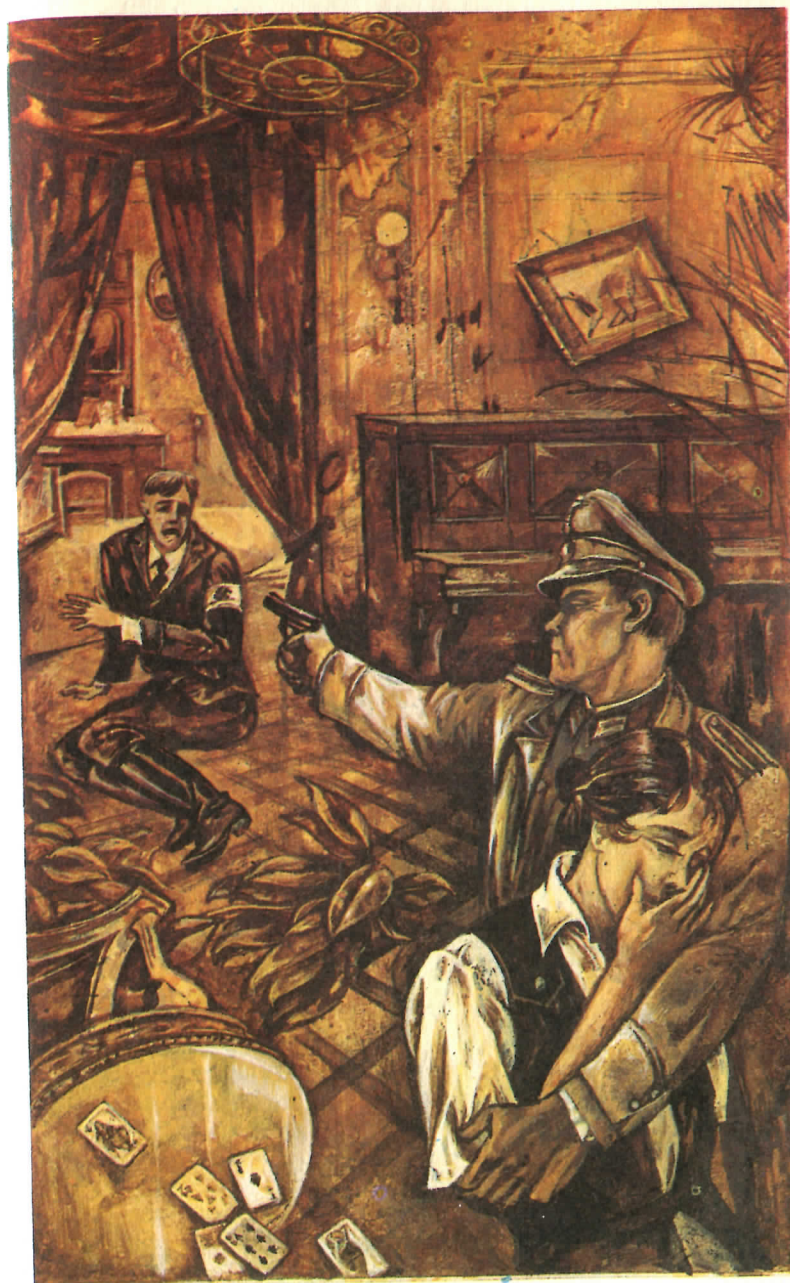
Слова мои только подлили масла в огонь.

— Да замолчи ты, чудовище!.. Я ему всю душу... А он все время думал о другой!.. Я ему всю себя отдавала, а он... Боже, боже, за что такая кара?!

Я разозлился. Выходит, если б промолчал, было бы честней?

Тьфу, черт бы все побрал!

Чтоб успокоиться, я углубился в чашу. Но меня мучила



совесть, было жаль Зину. Я вернулся. Она лежала на траве и плакала, как может плакать человек в большом горе. Плечи ее вздрагивали от бессильной боли.

— И зачем я такая несчастная народилась на свет? — уткнувшись в траву, причитала она.

Я беспомощно потоптался на месте, проклиная себя в душе: очень уж неприятно, когда из-за тебя ревет женщина.

— Кто она? — вдруг настороженно спросила.

— Да ты ее не знаешь!

— Кто-о?

— Что тебе за польза если и скажу?

— Нет, ты говори!

— Еще неизвестно, осталась ли она жива после всего, что произошло за три года!..

— Кто?

— До войны я учился в Вильно и влюбился там в одну...

— Ну?

— И с той поры не могу никого полюбить. Хочу, а не могу. Понимаешь, ничего не могу с собой поделаться!..

— А-а, ты еще и сочувствия у меня ищешь? — взорвалась Зина опять. — Какое мне дело до нее?! Привык плакаться мне в подол!..

— Зинка, возьми себя в руки, партизаны, возможно, подглядывают! Пошли в лагерь!

— И пусть глядят!.. Пусть все видят, мне все равно!.. Мне некуда идти-и-и!.. Янка, возможно, все это ты выдумал, может, бережешь меня так, чтобы не переживала, если с тобой что случится плохое? — вдруг взмолилась она горячо. — Тогда ты ошибаешься — мне так куда тяжелее!

— Именно поэтому я и не могу тебя обманывать. Если погибну, ты должна всю правду знать.

— Как это безжалостно!

— А врат, по-твоему, лучше?

— Да, да-а. Ты всегда служил нам эталоном прямоты и совести... Но какой ты жестокий!.. Как это ужасно!.. Она красивая? — в голосе девушки послышалась враждебная зависть к сопернице.

— Конечно, не такая безобразина, как я! — промолвила Зина с какой-то ненавистью к себе. — Мама-а, и почему ты меня такой родила-а?! — повалилась она опять на мох.

В лагерь возвращались мы порознь. Меня раздирали сомнения.

Я был крайне зол на себя. Вряд ли еще доведется встретиться с Данутой. Что же, тогда скитаться до старости одному?

Черт, возможно, и не надо было признаваться Зине во всем?! Возможно, это и был тот самый случай, когда умные люди применяют так называемую «святую ложь»!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Зимой 1943 года стояли мы километрах в семидесяти на северо-восток от Гродно, в Друскининкайском лесу. Взрывчатку нам уже доставляли самолетами с Большой земли. Аэродром партизанский в то время находился далеко, на озере в Литве.

Еще осенью у нас побывали представители штаба партизанского движения из Москвы. Они организовали из отдельных групп стройную систему партизанских отрядов, бригад, соединений. Невидимыми нитями радиосвязи все это объединили вокруг одного московского центра. И теперь мы стали грозной организованной силой.

Я тогда был командиром взвода разведчиков.

В начале февраля, получив задание доставить в отряд прибывший из Москвы груз, я с хлопцами направился на аэродром.

За лагерем нас нагнало несколько саней с людьми, отправлявшимися на очередное задание. Ехали по-партизански, лихо, со свистом и гиканьем, держась друг за друга, а иные даже стояли на полозьях и оглоблях, ухватившись чуть ли не за конские хвосты.

— Разведчики-и, доро-огу-у! — прокричали нам.

Мои хлопцы не растерялись, стали на ходу вскакивать в сани.

Я свалился в задние, упал кому-то на голову, больно ударился бровью о диск чужого автомата. С криком и шутками партизаны потеснились, и я кое-как примостился, потирая ушибленное место.

Подняв глаза, я вдруг увидел, что сижу рядом с Зиной. Зараженная общим весельем, она меня тоже поначалу не заметила.

С лета мы с ней еще ни разу не говорили.

— Ты-ы?! — невольно вырвалось у меня.

Зина промолчала. Только лицо ее слегка передернулось.

Ехали мы на низких деревянных розвальнях. На них и при обычной езде голова кружится. А тут сани просто летели, от этого все были, как пьяные, и нас с Зиной никто не замечал. Я прикоснулся к ее руке. Она не отреагировала. Тогда я осторожно оторвал Зинину холодную руку от боковины саней, переплел ее пальцы своими, сжал их и тихо сказал на ухо:

— На перекрестке буду слазить!.. Слышишь?

Но она опять не отреагировала.

— Зина, давай помиримся!.. Извини, будь человеком!.. Неужели не простишь?

Она и на этот раз ничего не сказала. Только оглянувшись украдкой, приложила мою руку к груди и мягко, тепло пожалала.

— Спасибо, Зинка! — прокричал я, обрадованный, как мальчишка. — Ты молодец!..

— Счастливо!..

Что-то она говорила еще, но я уже не расслышал. Через мгновение присоединился к своим хлопцам, которые уже ждали меня, отряхивая снег.

— Ох, и намело же сугробов, братцы вы мои! — воскликнул кто-то. — Потопай по ним сто верст — ноги отвалятся!

— Где ты видишь сугробы?! — заразил я хлопцев хорошим настроением. — Это же первоклассный паркет, даже с мягкой дорожкой!

— Даешь паркет!

2

Дней через пять прибыли мы на место. Из «Дугласа» уже выгрузили запакованное в брезент партизанское добро. К представителю соединения, огромному литовцу Шимкусу, подходили по очереди командиры групп, и он наделая их брезентовыми тюками — по одному, по два и по три.

Я тоже пристроился в очередь и от нечего делать принялся довольно бесцеремонно рассматривать стоявшую поодаль девушку.

Из ее носика вырвались в настывший воздух струйки пара. От мороза и болотной сырости отвороты новенького полушубка, ушаночка, белые валенки покрылись инеем.

Все на ней было как с иголки и напоминало о недоступном тыловом достатке и покое. Ее детское личико выражало благоговейное вохищение, когда она смотрела с каким проворством партизаны грузили в сани брезентовые тюки, как иные пытались делать надписи на алюминиевых бортах самолета...

— Логинов, взгляни, что там! Возможно, я перепутал! — посоветовал Шимкус подтянутому, молодому командиру, но тот придерживался принципа — дареному коню в зубы не смотрят, поэтому не повел и ухом. Махнул рукой и приказал тащить посылку к лошадям.

Но следующий тук хлопцы все же вскрыли. Заглянули внутрь, стали шуметь:

— Э-э, да это опять «сюрпризные» мины!

Такие мины пользовались у нас дурной славой, на них подорвался не один партизан.

— Казимир Витольдович! — взмолились хлопцы. — Лучше мы будем стаскивать немецкие паровозы за колеса под откос, только не давайте нам этих мин!

— Тыфу, вельняй грибиету!¹ Тоже мне герои! — употребил он ругательство Суткуса. — Нечего сваливать на мину, если не умеете взрывателем пользоваться! Смотрите сюда, покажу вам без тола... Вот эту чеку надо вытащить, усики эти загнуть...

— Эге, без тола она как раз и не взорвется!

— Как на зло, не взорвется — она хитрая!..

Девушка на все это смотрела с умилением. Но заметив, что я ею интересуюсь, отвернулась.

Новенький ее автомат — заиндевелый, хоть пиши на нем пальцем — был системы ППШ, это значит, последнего выпуска, и я определил, что девушка — с Большой земли. Видно, из службы охраны самолета.

В тот день я что-то неважно себя чувствовал. Болезнь еще только начиналась — было просто как-то не по себе, все меня раздражало. Раздражали разговоры, смех, суета, царившая вокруг. И уж совсем злило присутствие этой девушки.

«Партизанской романтикой увлекаешься? Начиталась там разной чепухи... — думал я неприязненно. — Благодаря бога, что скоро вернешься в тепленькую казарму с водопроводом и центральным отоплением, так и не хлебнув нашей житухи...»

Еще я подумал, что так выглядела бы, наверное, Данута, одень ее в военную форму да повесь на шею

¹ Черт возьми! (лит.)

автомат. Это сравнение заставило меня сразу забыть об окружающем.

С того июньского вечера, когда я глупо орал песни, взобравшись на ясень, прошло почти четыре года, а сколько промелькнуло событий! Но любовь — деревце, которое растет и без присмотра. Я порою не находил себе места. Ничего странного. Дануса была моим настоящим другом, а друга, как и мать, мы иногда, к сожалению, ценим по-настоящему лишь тогда, когда его нет уже рядом.

— Вам — радистка! — деловито прервал мои размышления Шимкус и указал на автоматчицу. — Принимайте!

— Одну-у? — удивился я.

— А сколько ты хочешь — десяток?

— Из-за этого тащиться пятеро суток? — проворчал я себе под нос.

И уже очень сожалел, что вместо беспомощной девчонки не получил мешок взрывчатки, патронов или тех же «сюрпризных» мин, — там хоть тол хороший. А с этой хлопот не оберешься, она тебе не Зина Квартенок!

Литовец заметил мое разочарование. Он потопал закоченными ногами, от чего заскрипело, словно под валенками был не снег, а сухой крахмал, неуклюже перебрал бумаги красными от холода руками, еще раз глянул в список, бормоча деревянными губами:

— Отряд Чапаева?.. Где он тут у меня записан... Э-э-э... — лицо его свело гримасой, и он приготовился чихнуть.

Попеременно прижимая пальцами ноздри, Шимкус чихнул, пожаловался:

— Простудился где-то, вельняй грибиету, холерр-ра!.. Ага, вот и отряд Чапаева... Ну, вам тут черным по белому написано: радистка — одна, рация — тоже одна! Что просили, то и получайте! Вон они, стоят!

— Сам вижу! — неохотно огрызнулся я.

— Дать ему еще что-нибудь, не обижать маленького!

— Конечно, надо еще что-нибудь подбросить на бедность! — как в подобных случаях, кричали добровольные адвокаты, стоящие рядом.

Начальство было непреклонно:

— Бартошевич, немедленно забирай радистку и — марш отсюда! Надо отправлять самолет и самим сматываться, пока фрицы нас тут не засекли!

Будь я не в таком состоянии, сразу бы заметил,

что мое поведение оскорбительно для девушки. Но теперь, больному, уставшему с дороги, голодному и перемерзшему, мне было не до сантиментов.

— Ну, айда! Берите рацию! — сердито приказал я хлопцам.

— Я сама! — неожиданно твердо возразила радистка и взвалила зеленый жестяный ящик себе на спину.

На нее смотрели десятки мужских глаз. Сгорбленная от груза, переступая с ноги на ногу, чтобы удержать равновесие, девушка торопливо застегивала на груди ремни. Для этого ей пришлось снять рукавицы. Руки у нее были маленькие, а пальцы тонкие, с аккуратно обрезанными ногтями — ну точно, как у Дануси.

Стало ее жаль. Я подошел и сказал, назвав себя:

— Давай, девочка, прежде всего познакомимся!

— Не девочка, — а девушка! — протянула она кончики пальцев.

— Ух ты-ы-ы! — удивился кто-то.

— К тому же у меня есть имя — Станислава Эдуардовна Дворецкая. Запомните — Станислава Дворецкая-я! — с ударением произнесла она и слегка язвительно добавила: — А можно и просто, товарищ Дворецкая!

— Нарвался наш Бартошевич! — посочувствовал кто-то.

Но никто не засмеялся. Всем стало неловко перед этим симпатичным гостем с Большой земли. Хлопцы укоризненно поглядывали на меня.

3

Необычным был наш обратный путь. Словно бы кто влил моим хлопцам в грудь чародейного эликсира — все ожили и помолодели.

Никогда еще так лихо не сидели на головах облезлые кубанки с красными ленточками. Мороз жарил всюю, а у них — полушубки нараспашку. Словно каждый говорил: а ну, выбирай, который тут из нас меньше боится холода?

Все старались вертеться перед глазами у Стаси. Даже сквернословить перестали. А когда приходили в деревню, наперебой галантно угощали ее неизвестно где раздобытым молоком, маслом и сыром.

Давно уже мои разведчики забрали у нее тяжелую рацию и тащили сами. Я своих хлопцев знал хорошо. Никто из них на дневке шалашей себе никогда не со-

оружал — то не из чего, то просто лень возиться. Так и валились в снег, подтянув колени к подбородку, и дрожали пару часов в дремоте. Зато для радистки при каждой дневке вмиг сплетали буданчик — любо-дорого смотреть!

Как раз по рации из Москвы передавали добрые вести. Только что окончилась битва на Волге. Наши войска на юге громили немцев. На побережье Средиземного моря союзники тоже их теснили. Все это возбуждало ребят, придавало им энергии. Тем более что информация теперь исходила из уст Стаси.

Едва только девушка выказывала желание ставить рацию, как хлопцы наперегонки бросались крутить динамку, считая это за великую для себя честь, лазали по деревьям, натягивали антенну.

— Не туда тянешь! — спорили. — Не видишь, там густая елка!

— Ну и что?

— Знаешь, сколько у нее в иголках железа — магнитные волны не дойдут до антенны и радиограммы не дойдут!

— Выдумай еще!

— Слушай, дубина! Стася вчера сама говорила! Ты в карауле стоял!..

— Ну-у?

— Не нукай, не запряг!

— Так куда, по твоему, тянуть?

— Сразу бы и спросил! А то берется за тонкое дело, ни шиша не понимая!

— Ты давно ученым стал!

Иной раз, выбравшись из теплого укрытого плащ-палатками шалашика, порозовевшая ото сна радистка выговаривала партизану:

— Товарищ Трухан, почему вы меня не разбудили, когда подошло мое время сменять часового?

— Стасечка, милая, ей-бо, забыл! — расплываясь в довольной улыбке, что так ловко провел девушку, отвечал хлопец, по партизанскому обычаю называя ее на «ты».

— Завтра дежурю и за себя и за вас! — подчеркивая «вы», говорила обиженная радистка.

— Ну, конечно, отдежурись!

Назавтра повторялось то же самое.

Однажды я наблюдал такую сценку.

Стася еще спала. Хлопцы повскакивали со снега и старались согреться: прыгали, топали ногами. Вдруг тот же Трухан закричал:

— Хлопцы, гляньте, что я в кустах нашел!

Партизаны обступили его, разглядывая кожаную рукавичку.

— Чья? Кто признается? — спрашивал Трухан, при-
творяясь, что и впрямь ничего не знает.

Чья, прекрасно знали и хлопцы, но не спешили отвечать, чтоб вволю на нее наглядеться. Чудеса! Словно это была не обычная, пошитая из шкурки кролика, до смешного маленькая рукавичка, а солнце, которое всех сразу обогрело.

— Гляжу, что-то лежит! Поднимаю, оказывается... — рассказывал счастливый Трухан, осторожно, как паутинку, держа свою находку двумя пальцами.

Каждому хотелось поддержать находку, да стыдились. А Трухан, бродяга, это почувствовал и, всем на зависть, воткнул свои корявые и со струпьями пальцы в шелковистый пух, промолвил:

— Эх, и теплая же!

— Ну, ты! — закричали ему все сразу. — Это — Ста-
сина!

— Ста-а-асина-а?!

— Будто не знаешь! Положь ей в будан!

Хлопцы мои после этого случая сразу как-то подобрались, сделались тихими, послушными. Я еще долго замечал, как светились их глаза и они ничего не видели.

Стася была со всеми ровной и вежливой и, казалось, никому не отдавала ни малейшего предпочтения. А в группе имелись бывалые сердцееды, да еще каждый из них имел болельщика. Только как ни старались болельщики заметить хоть намек на успех своего авторитета, Стася оставалась твердой, как алмазик. А это очень интриговало партизан, ведь, эх, как хочется заполучить то, что не дается в руки!

Несколько иначе радистка относилась ко мне. Она умудрялась часами бывать рядом и молчать, глядя на меня, как на пустое место. Между тем она меня интересовала не меньше хлопцев.

Стася была красивой девушкой, перед ней хотелось порисоваться, показать себя с лучшей стороны. Ребята и не подозревали, что я даже больше других заинтересован, только старательно это скрывал.

Я был поставлен в худшие условия, чем они.

Гордость мне не позволяла набиваться со своими услугами — выглядело бы как злоупотребление служебным положением. А после сцены на аэродроме мне было не по себе. Просить у нее прощения мне и в голову

не приходило — этому меня не учили сызмала. И со Стасей я почти не разговаривал. Только тихо завидовал друзьям, которые могли открыто оказывать ей услуги, и тайком посматривал, как радистка, одетая в ватные штаны, с женской неуклюжестью месит ногами снег. Я молча шагал следом и бранил себя за бестактность.

4

Мы были уже недалеко от лагеря. Подходили к ключам. Они, проклятые, не были отмечены даже на самых подробных воинских картах-километровках. Но в природе ключи эти, к сожалению, существовали. И пересекали болото в нескольких местах. Замерзали ключи редкую зиму. В большой мороз из них валил пар, и народное поверье утверждало — там зимуют лебеди.

В наш лагерь вели три дороги. Одна — у стоянки отряда Армии Крайовой¹, она совершенно отпадала. Оставалась вторая, дальняя, или третья — через болото...

Если б ключи замерзли, мы бы пришли к своим на целые сутки раньше. Всем так опостылел холод, что мы были на все готовы, только бы поскорее добраться до теплых землянок. Последние километры казались нам бесконечными.

Я послал к болоту разведчиков, а сам повел группу на знакомый хутор. И вскоре прибыли на место. Хлопцы мои сразу принялись рисоваться перед Стасей.

Вдохнув тепла, партизаны ожили и наполнили хату бодрими голосами: смотри, какие мы тут свои!

— Мамаша, нам бы маленько воды, а то есть охота и переночевать негде!

— Ах, боже ж мой, что же я вам дам, соколики вы мои? Я же не знала, что придете, не сготовила!

— Кислая капуста есть?

— Да, е-есть!

— Так несите миску, только полную!

— И каравай, да побольше!

— А к ним — сала кусочек!

— На полпудика, больше не съедим!

— И запить чего-нибудь!

— Лучше всего — водички от бешеной коровы!..

И началось звяканье, смачное хрустенье и такие шутки,

¹ Польские партизаны делились на политические группы. Группой Армии Крайовой командовали иногда, бывшие пилсудчики, которых мы опасались.

что от хохота вздрагивал слабый огонек керосиновой лампы.

Хорошо подзаправившись мороженым салом и квашеной капустой, опорожнив у тетки все жбаны с кислым и сладким молоком, хлопцы как сидели, так и задремали. Только в углу еще копошились два партизана. Натягивая, полученную от хозяйки свежую сорочку, один жаловался:

— А моя, брат, грязная — ужас! Стыдно отдавать ее людям!..

— Ничего, — успокаивал его другой. — Бабка ее постирает и мужу отдаст. Ты смотри, чтобы твоя совесть была чистой!

— За мою совесть будь спокоен!

В разговор вмешался дед — хозяин хаты. Он рассказывал, что в здешних местах еще в 1863 году один польский повстанец, убегая от царских войск, залез в дупло. Там его казаки и пристрелили.

— ...Я был еще хлопчиком, — бубнил старик, — спилили мы с баткой дуб для фундамента, глядим — дупло. А в нем — ржавое ружье, человечьи кости, пуговицы, пряжка. Сели мы и думаем, что с этим делать? Взяли да закопали у просеки, а на бугорок крыж поставили. И сейчас еще догнивает там...

Голос старика доходил до меня как сквозь сон. Я был занят радисткой.

Она перед печкой переобувалась, строго по инструкции держа между колен автомат. Можно было хорошо ее рассмотреть. Она о чем-то глубоко задумалась, не замечала ни хлопцев, ни меня, ни деда.

В радистке я находил что-то общее с Данусей. Долго над этим думал. Ага, у них одинаковая манера говорить намеками, одинаковое стремление держаться независимо, обе большие чистюли. Стася даже прическу в наших условиях сохранила в том порядке, как это умеют делать польки.

Я видел, что у нее дурное настроение, захотел его развеять. Все время искал случая, чтобы заговорить. В мороз еще не успею проснуться, а вспомню — с нами Стася! Всхватываюсь и с вечера до утра терпеливо жду. Наконец случай представился.

Стася кончила переобуваться. Тряхнула головой, рассыпала темно-русые волосы и пригладила их сперва с одной, потом с другой стороны — точно таким же движением, как это делала когда-то Дануся над Вилией. Ей мешал автомат. Я увидел, что он запотел.

— Вытрите, а то сразу заржавеет! — подал я тряпочку.

— Правда, правда, заржавеет! — убеждал я ее и с удовольствием вспомнил, что это «правда-правда» — Данусино выражение.

— Спасибо, — кивнула она, все еще думая о чем-то своем, и безразличным движением вытерла оружие.

Я минуту помолчал, раздумывая, с чего бы начать разговор. Вспомнил, что имя ее — Стася, вместо «молоко» и «звонить» говорит «мооко» и «дзвонить». Дошел и до смысла дедова рассказа. Подумал, что поляки в часы испытаний очень солидарны, куда больше, чем мы, что они мастера устраивать восстания и отличные конспираторы. В подпольных делах нам не хватает их тонкости. Недавно в Варшаве гитлеровцы убрали с памятника Копернику польские слова, заменив их немецкими: «Дем гроссен дойтче астрономен». В первую же ночь подпольщики вывеску сняли, а на цоколе по-польски: «За то, что хотели меня сделать фольксдойчем, продлеваю эту зиму на шесть недель. Николай Коперник».

Поляки гордые. Мне это нравится — я люблю гордых людей.

А еще у них любопытные обычаи: женщин называют — пани, незамужних — паненка, а мужчин — и министра, и столяра, и конюха — пан. В вежливой форме обращаются к собеседнику в третьем лице...

Потом еще подумал, что, наверное, из всех женщин на свете польки выделяются утонченностью вкуса, как немки аккуратностью...

Когда-то мы, белорусы, недоброжелательно относились к этой нации. Вместо того чтобы иногда поучиться у поляков, сколько мы сказали в их адрес оскорбительных слов. Я даже на Данусю глядел настороженно из-за ее национальности.

— Вы — полька? — спросил я Стасю.

Девушка неприязненно взглянула на меня серо-голубыми глазами.

— Что с того? — отрезала, будто я собирался ее оскорбить.

Так мне и надо — нашел время для знакомства! Четверо суток перехода на таком холоде для нее нелегкое дело. Девушка стала раздражительной.

— Что в этом странного? — продолжала она в том же тоне. — Знаете ли вы, что два генерала Парижской коммуны, Феликс Дзержинский — тоже поляки? А мой

отец — член ЦК польской компартии и погиб в Испании в Интербригаде! Это тоже вас удивит?

И она — от усталости, оттого, видно, что партизанское житье не такое, как представлялось — расплакалась, не пряча лица. Плакала так, будто я всему виной, навзрыд. Смотрел я на нее растерянн и не знал, что делать.

5

В хату ввалились разведчики.

— Командир, ключи не замерзли! — доложил старший.

— Вот черт! — вырвалось у меня. Кто-то отпустил недоброе слово в адрес Армии Крайовой, но партизаны его сразу обрезали — слушала полька.

Нужно принимать решение. Идти через ключи? Я представил себе радистку в воде, увидел даже, как она выходит из ледяной топи в прилипшей к телу, потемневшей гимнастерочке, как панцирем замерзает на ней одежда. Если она и перейдет, то вряд ли выдержит. Гм, сколько в ней весу? Килограммов шестьдесят с одеждой.

Я решил:

— Все равно, идем вброд! Подъем!

Пока партизаны суетливо натягивали сапоги, позевывали, лязгали оружием — Стася незаметно утерла слезы и подготовилась к походу тоже.

Уже рассвело, но немцев мы не боялись: рядом партизанские лагеря. Над ключами клубился пар, словно кто-то зарыл в снег котлы с кипятком.

— Ну, хлопчики, готовьтесь принимать ванну!

— От ревматусу!

— По латыни заговорил?

— Это слово знала даже моя мать! Мы и по-литовски знаем: по-нашему Неман, по-ихнему — Нямунас, Боровик — боровикас!..

— А дурак — дурнис!

— Один — ноль, в твою пользу! Чего валенки не снимаешь?

— А их пуля не берет и водонепроницаемые! — подбадривали себя партизаны шутками, приближаясь к воде.

Затрещали кусты олешника: хлопцы выламывали себе посошки. Дружно скинули полушубки, пиджаки и вместе с оружием подняли над головами.

— Мама, мама, мама, ро-одная, до чего же вода холо-одная!...

— О, ррропуже, о, вельный грибие-ету! — как сказал бы Шимкус!..

— Карау-ул!

— У-х! — послышались отчаянные выкрики.

Все сразу по грудь очутились в ледяной воде и разом притихли, следя за течением. Одна Стася нерешительно топталась на берегу, но и она непослушными руками начала расстегивать полушубок.

— Я вас перенесу! — остановил я радистку.

В глазах у девушки мелькнул ужас. Затем она гордо бросила:

— А я не хочу — пойду как все!

Это было уже слишком.

— Меня не интересует, что ты хочешь, а чего не хочешь, понятно?! Я тут командую, а ты, как и другие, обязана выполнять приказание! И не воображай, что такая красавица и носить тебя на руках удовольствию!

Стася послушно остановилась и впервые с уважением глянула на меня.

Я передал рацию ближайшему партизану, поднял девушку на руки и ступил в полынью.

Жгучая, как огонь, вода доходила до груди. Пришлось поднять свою ношу повыше.

Временами я проваливался в ямки, тогда Стася инстинктивно хватала меня за шею, но тут же виновато вскрикивала:

— О-ей, извините! О-ей, простите, я нечаянно!

Своими извинениями она мне мешала. Я не выдержал:

— Да сиди ты, наконец, и молчи! Не то брошу в воду, будешь тогда знать!..

Стася присмирела. Она даже старалась мне помочь. Сидела неподвижно, когда я не дышал, переставала дышать и она, от чего между нами установилась какая-то близость. Я сказал уже мягко:

— А знаешь? Только теперь вижу — ради тебя можно и помокнуть.

— Да-а-а? — растерялась она.

И тут, на двадцатиградусном морозе, бредя по грудь в воде, от которой захватило дух, я подумал о Данусе. Брызги били в лицо, кололи глаза и мгновенно застывали на воротнике и шапке, а мне хотелось верить, что волосы, выбивающиеся из-под Стасиной ушаночки и касающиеся моего лба — Данусины.

— Тут уже сухо, пустите! — воскликнула девушка и неловко соскочила на землю.

Хлопцы нас поджидали. Они лязгали зубами и, чтоб окончательно не закоченеть, прыгали, как шальные. С меня в снег стекала вода и валил пар, словно меня окатили кипятком. Стася смотрела на все это с виноватым сочувствием. Хотела поблагодарить, но не находила слов.

Сломан, стало быть, лед в наших отношениях!

— Не бойся, ничего со мной не случится! Через час-другой — обсохну! — успокоил я девушку.

— Командир-р-р-р, ты знаешь, что я пр-р-р-ридумал? — возвращая рацию Стасе, промышчал Трухан, часто клацая зубами. Его язык словно спотыкался на звуке «р».

— Говори!

— Как поймает Гитлер-р-р-ра, холер-р-р-ру, пока отсылать в Москву на р-р-р-растр-р-р-р-рел, подер-р-р-ржим фюр-р-р-ре-р-ра до весны в этих кр-р-р-риницах!

— Только поймай! — ответил я под хохот ребят.

Засмеялась и радистка. Впервые смеялась она так искренне и непосредственно.

— Ну, пошли! — дружелюбно бросил я девушке, пропуская ее вперед.

И мы двинулись дальше. Стася часто и озабоченно оглядывалась, будто хотела хорошенько убедиться, что я жив. А мне вновь казалось — впереди шагает Дануся.

6

В лагерь пришли мы за полночь. Хлопцы разбрелись по землянкам отсыпаться. Я доложил командиру и тоже пошел к себе.

В землянке стоял могучий партизанский храп. Я ощупью отыскал свободное место и протиснулся на нары. Приятная теплота окутала меня всего, и я сразу же заснул сном до предела измученного человека.

Проснулся и некоторое время соображал, где я и что со мной. В землянке царил полумрак. Свет падал только от печки, в которой весело потрескивали сухие дрова. Рядом, лежа на соломе, вполголоса разговаривали товарищи.

— Эх ты-ы! — укорял кого-то партизан, прозванный у нас ходячей энциклопедией. — Ошибаешься, брат! Название «револьвер» происходит от английского глагола «ту револьв», что по-нашему означает «вертеться». Револьвер соответствует нашему нагану, потому что в нем вертится барабан...

Я догадался, что уже вечер, что я проспал остаток прошлой ночи и весь день. Тело мое словно обновилось — стало свежее и сильнее. Только на душе было неладно.

Я знал, хлопцы, увидев, что не сплю, засыпят вопросами: и как садился самолет на озере, и был ли летчик с погонами — их только тогда ввели, — как прошли ключи, и стоят ли в такой-то деревне немцы... А мне теперь очень не хотелось вступать в разговор. Хотелось послать всех к черту и побыть наедине с собой. Поэтому я лежал неподвижно.

«Что произошло? — думалось мне, — Ага, Стася! — и тотчас же — Дануся?!»

— ...А пистолеты имеют плоскую рукоятку и в ней — магазин, — продолжал сосед. — Пистолеты есть: браунинги, вальтеры, парабеллумы — разные, разные марки, как наш «ТТ»...

Вот же нашел тему, идиот!

Это говорили молодые, необстрелянные партизаны, для которых оружие было еще чем-то романтическим, как некогда для меня в Вильно. Теперь же мне оно казалось ненавистным и тяжелым железом, и я с удовольствием забросил бы в кусты и свой пистолет, и автомат, если бы не надо было воевать и гнать немцев.

Осторожно, чтобы не шуршать соломой, я поднялся и вышмыгнул из землянки. Меня охватило беспокойство, я не мог найти себе места... «Даже колыг. украла у отца. На какие только не шла жертвы...»

У меня закружилась голова: вдруг показалось, что я слышу ее теплое дыхание и чувствую желанное податливое тело. Дануся, как живая, встала перед глазами. Мне, мужчине, так тяжело в войну, а ей?.. Захотелось ее, слабую, защитить, помочь ей. Почему-то верилось, что она не за границей, а в Вильно. В этом я уже был уверен.

— Ау-у-у!... — вернул меня к действительности далекий волчий вой.

Один хищник выл низко, гнусаво, до жути уныло и печально. Ему отвечали визгом на высокой ноте, полным, казалось, муки и боли. Из неведомой дали отзывались другие. Лесное эхо подхватило эти звуки, усилило их, и через минуту они слились в одну жуткую какофонию. В буданах испуганно захрапели партизанские кони и жалобно в смертельной и беспомощной тревоге заблеяла овца...

Я окончательно пришел в себя и осмотрелся.

Стояла безветренная лунная ночь. Перед глазами про-

плыла снежинка, сбита эхом с ветки, и затерялась в мириадах других на искристом снегу. Я стоял возле огромного шалаша — партизанской кухни. Сквозь прутья его пробивался тусклый свет — там разводили огонь.

Волков, вероятно, потревожил наш патруль — вой внезапно стих. Тогда я услышал, как на кухне кто-то сильно дует, а заикающийся ребячий голосок спрашивает:

— Т-т-тат-тка, а п-п-почему, ч-чтоб огонь горел, нужно на него д-д-дуть, и чтоб загасить спичку, т-тоже д-дуть?

— А еще и — чтобы остудить суп, дуть!.. Так уж на свете устроено, сынок!

— А п-п-почему, т-т-тат-та?

Это наш повар Василь со своим сыном. Жену его гитлеровцы расстреляли за раненого бойца, которого она кормила. Немец, убивший женщину, потом велел мальчику разыскать топор, чтоб расколоть полено. Малыш подумал, что немец хочет его зарубить, и с той поры стал заикаться. Уже несколько месяцев повар был в лесу с мальчиком, и тот ни на шаг не отходил от отца.

Разложив под котлом огонь, они посидели, погрели руки. Сквозь щели в шалаше я их видел как сквозь густую сетку. Отец сидел на колоде, держал между колен малыша. Ушаночка висела у мальчугана на груди, нацепленная тесемками на верхнюю пуговицу пальтишка.

Повар почухал измазанный сажей нос о ребячий ежик, чихнул и смачно причмокнул губами. Потом надел на мальчугана ушанку, взял за руку и, так и не ответив на его последний вопрос, сказал:

— Пусть себе вода греется, а мы пойдем.

— К-к-куда?

— Отведу тебя в землянку к деду Никодиму.

— А т-т-ты что будешь делать?

— Резать овечку хлопцам на ужин.

— И я с т-тобой!

— Не надо, сынок, этого тебе видеть!

— Ай, мамка разрешила б!

— Нет, не разрешила б и она!

— Ты с-сам говорил, что я б-большой!

— Дурачок ты еще...

Отец с сыном приближались, и я отступил за высокую ель.

— Т-тат-тка, а почему мы идем и месяц идет? — спрашивал уже мальчик, когда они проходили мимо. — И почему он такой отрезанный?

— Так тебе кажется.

— Не-е, т-тат-тка, пра-авда, отрезанный, глянь!..

Подсмотренная сцена меня растревожила. Я ощутил такую жгучую зависть к Василию, так захотелось подержать ребячью ручонку, подышать запахом дитяти! Ох, с каким удовольствием я бы отвечал Ленику на его вопросы!..

Наконец у меня застыли ноги, и я вынужден был вернуться в землянку.

В этот момент, когда я переступал порог, один из наших хлопцев рассказывал, как попался летом к немцам в лапы и как его выручила незнакомая девушка. Рассказ этот я слышал, должно быть, в десятый раз, но не очень над ним раздумывал. А теперь почему-то появилась надежда, даже уверенность, что Дануся где-то тоже спасает людей. И надо обязательно помочь ей, ибо, неприспособленная к суровым условиям военного быта, пропадет ни за что.

Я свалился на нары, лег на спину, подложил руку под голову и уставился в потолок, зажав в губах соломинку.

У Трухана зачесалась раненая спина. Он пробовал дотянуться до нее рукой. Затем подложил под себя автомат, попробовал потереться о диск — тоже безуспешно. Парень выругался, подошел к столбу, подпиравшему бревно наката и начал тереться о сучок.

— Сдурел? — взорвался я.

— А тебе что? — огрызнулся он еще сонный. — Лежи, если лежишь!

— Песок с потолка сыплется, дубина!

— От елового пня слышу! — все так же продолжал он занятие, побрякивая от удовольствия.

Это меня окончательно вывело из равновесия.

— Перестань или тебя проучить?

— Что вы, хлопцы? — мирили нас партизаны. — Петя, не трогай столба, и правда сыплется!..

— Проклятая рана как раз заживает, знаете, как чешется?

— Так валяй на улицу, потрись о сосну!

— Пань, мать вашу... Песка испугались!.. А, черт вас дерит!..

Трухан свалился на солому и сразу захрапел.

— Ваня, что с тобой? Чего ты такой раздражительный — обратишь теперь все внимание на меня.

— Чешется, как слон чесоточный, да еще и огрызается!.. Вот, трещит на зубах!..

— А я знаю, что его выбило из колеи! У него тоже

Наконец очередь скосила Зину, и она, упав ничком, неподвижно застыла на поле перед хутором.

Из бункера высыпали немцы. Перевернув кованым сапогом неподвижное тело, немецкий офицер долго всматривался в безжизненное лицо. Потом нагнулся, поднял тульскую винтовку. Проведя пальцем по жестяным полоскам, скреплявшим приклад, он недоуменно посмотрел на солдат. Те только пожимали в недоумении плечами. Действительно, было непонятно, что эта девушка с таким оружием собиралась здесь делать.

— Guck mal!¹ — крикнул кто-то.

И только тогда немцы увидели маленькие фигурки партизан, уже приближавшиеся к лесу.

Первым, кто догадался, почему так странно вела себя партизанка, был офицер. Он произнес только:

— Heldin!²

Об этом нам потом рассказал связной, на глазах которого происходила вся описанная сцена.

Полицаи надругались над ее телом.

Узнав, где Зина осталась на поле, я привязал в следующий день к седлу вожжи и, когда стемнело, вскочил на лошадь. Мы были научены горьким опытом: убитых партизан враги часто минировали.

Немцы из бункера время от времени бросали ракеты и с лошадью на место было добраться не просто. Наконец я нашел тело, осторожно привязал конец вожжей к руке Зины, отвел лошадь, на сколько ставало вожжи, сам лег в борозду, потянул за повод, чтобы гнедой пошел на меня.

— Бум-м-м! — раздался оглушительный взрыв, и лошадь с силой бросило на мою сторону.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Из виленского гетто, буквально из-под пуль, убежали к нам несколько парней.

— Спасайте в Вильно народ! — взмолились. — Что вы сидите тут, как на курорте, и загораете? Вы представления не имеете, что там делается!

Беглецы своими глазами видели жуткую трагедию десятков тысяч несчастных. Там оставались их семьи, а

¹ — Погляди! (нем.)

² — Героиня! (нем.)

фашисты как раз собрались приступить к ликвидации гетто. В огромной еврейской массе не нашлось силы, чтобы, по примеру белостокского или варшавского гетто, организовать вооруженное восстание.

С самого начала немцы в виленском гетто уничтожили наиболее здоровых. И теперь тысячи людей — стариков, женщин, детей, загнанных за колючую проволоку в старинном квартале, остались без вожakov.

Нужно было каким-то образом предупредить обреченных о том, что их ожидает. Наше командование решило помочь им уйти в леса.

В штабах лихорадочно обменивались разведанными о Вильно, уточняли адреса связных, отмечали опасные пункты. Одновременно в отрядах готовили хлопцев для засылки в город. В нашем отряде такое задание получил я, ибо город знал хорошо и владел немецким.

Несколько дней я истратил на подготовку: запомнил адреса, ознакомился с документами в штабе соединения. Они касались немецкого гарнизона в Вильно.

Так я и узнал, что Данута Янковская работает в настоящее время переводчицей в комендатуре.

И вот в середине февраля я отправился в город, где над тысячами людей нависла угроза близкой смерти. Судьба некоторых из них зависела от успеха моей миссии.

...Как-то еще летом выползли мы на автостраду Белосток — Волковыск ставить мины. Глянул я тогда на асфальт и глазам своим не поверил. Сквозь твердый, как гранит, панцирь автострады, не поддававшийся и лому, пробился обыкновенный боровичок — беленький, нежный, свежий!.. Мы его даже пожалели и заложили мину в стороне, хотя долбить асфальт в месте, где его проткнул грибок, было легче.

Теперь, когда вспоминаю поход в Вильно, встает перед глазами этот боровичок — еще неизвестно, кому из нас было трудней.

Хотя фашисты и признали Вильно литовским, но, дабы натравить одну часть жителей на другую, всю административную власть отдали уголовникам, шпикам и провокаторам из бывшей дефензивы. Эти подонки из всех сил выслуживались перед оккупантами, и провести их было порою значительно трудней, чем немцев, — они знали тут все ходы и выходы.

...Из лагеря я вышел с группой, направлявшейся под Новую Вилейку. Вместе мы сделали пять трудных ночных переходов. Ночами мы шли, варили себе пищу, шутили

смеялись, а днем забивались в чащу, боясь пошевелиться. Но как не остерегались, несколько стычек с немцами у нас все же было.

Особенно памяты два последних дня.

На пятые сутки, передневав в лесу, мы засветло вошли в незнакомую деревню. Отсюда группа должна была повернуть на северо-восток, к Новой Вилейке, а я — на север.

Нужно было разузнать дорогу. Я знал по собственному опыту, что лучше всего спрашивать местных жителей поодиночке и без свидетелей. Поэтому я отделился от товарищей и направился к облюбованной хате.

За изгородью под стеной ковырялся в снегу старик. За поясом у деда торчал топор.

— Добрый день, отец! Что делаете?

— Укрываю иву от мороза, — сразу вступил со мной человек в разговор. — Собака, холера, опять вырыла! — Еще перед рождеством ездил в лес по дрова, выдрал из мха пару штук. Привез, кинул в снег, весной, думаю, посажу, а кто будет жив, дождется дерева. А тут собака...

Он был без рукавиц. На огрубевшей коже между большим и указательным пальцами правой руки громадная трещина была скреплена суровой ниткой. Усы места-ми порыжели от табака...

Война, беда, горе, а он еще деревья собирает сажать! И вообще от всего его вида, от милой для слуха знакомой речи, какую услышишь только около Вильно — в этом конгломерате белорусов, поляков и литовцев, — повеяло на меня чем-то таким дорогим, что хотелось расцеловать деда. Надо было собрать всю волю, чтобы не разводить с ним тары-бары.

— Это хорошее дерево? — тянул я, обдумывая, как бы приступить к главному.

— О-ого! Ива — тверже дуба!

— Ну-у?! — притворился я, что верю.

— О-о, холера, это дерево — о-го-о!..

Я видел деда насквозь. Он вел беседу и тайком меня рассматривал, уже обдумывая, как будет рассказывать соседям о высоком человеке с автоматом: партизане не партизане, полицае не полицае, бандите не бандите. Старик был из породы тех деревенских людей, которые никогда не откроются тебе сразу. Надо было дать ему освоиться, да как это сделать в несколько минут?

— Фабричный? — спросил я и, вытащив у деда из-за пояса топор, попробовал пальцем острие.

— Кузнецкий! — оживился он. — Фабричный и в руки не возьму! А этот, о-го! Не топор — огонь!

Терпенье мое иссякло, дипломатия наскучила. Я напрямик спросил о дороге до знакомой деревни, расположенной неподалеку от Вильно.

— Верст тридцать с гаком, — охотно ответил дед. — Туда, на Сыроежки, Глиняны, Ятовы, Бондари...

Черт, разузнал, называется.

Верста в каждой деревне своя. Да еще я знал по опыту, с какой осторожностью следует относиться к пресловутому «гаку». Из старика, пожалуй, больше ничего не выужу. Где стоят немцы, не скажет. Признаться ему, кто я такой, — не поверит. Научен. И полицаи переодеваются под партизан, провоцируют людей, потом на месте их и расстреливают...

Попрощался с дедом и пошагал к хате с вертящимся ветрячком на плетне.

Бедная это была хата. Глиняный пол. Низкий потолок. Полумрак. Сырость. Холод. У печи на соломе — теленок с засохшим кончиком пуповины.

На скрип дверей обернулась возившаяся у печи с горшками женщина.

— День добрый, хозяйка! — переступая порог, я согнулся, чтобы не удариться о притолоку.

— Опять принесла нелегкая! — ошеломила она меня.

Девчонка, подметавшая пол, с перепугу аж шлепнулась на табуретку.

Неловко, ставлю под угрозу горемычную семью.

Рядом на лавке — брусок. Я спрятал еду, брусок положил на мокрый подоконник и стал точить финку. По стеклам пробежали тени — кто-то прошел за окном. Я хотел глянуть во двор, но стекла были основательно замурованы морозом. Видать, наши хлопцы уже собирались. Больно уж скоро управились...

Вдруг кто-то снаружи рванул дверь, в хату хлынули клубы морозного пара. На пороге стоял полицай.

— Разве я не говорила?! — с отчаянным горем воскликнула женщина.

Я почувствовал, как холодная волна страха сковала мое тело: сперва парализовало ноги, потом захолонуло сердце, сжало виски. По уверенному поведению бобика было видно, что их тут много и я основательно попался.

Но состояние такое во мне продолжалось секунду.

Страх, пробудив чувство самосохранения, прошел. «Спокойно, только без паники!» — сказал я себе. И как си-

дел спиной к двери; повернув только голову, так и остался сидеть.

— А-а, попалась птичка! — победно и злорадно, как демон, заорал полицаи, наконец-то разглядев меня в полумраке.

— Мама-а! — кинулась девочка к женщине.

— Могила нам, дети!..

— Руки вверх! — скомандовал бобик.

— Попался — бери, ничего не поделаешь, сдаюсь, — проговорил я, умышленно растягивая слова. Надо было выиграть секунды и успокоить бобика, чтобы он потерял бдительность.

Раздумывал он мгновение.

— О-о, хоть один умный кацап нашелся, пся крев! — полицаи приспустил автомат и шагнул ко мне.

Как можно спокойнее; я встал, поднимая руки.

Полицай не ожидал, что я такой высокий. Увидев финку, на миг растерялся. Я молниеносно саданул ему правым хуком в челюсть, и он беззвучно упал в нокдаун, громко стукнувшись затылком об пол. Не раздумывая я прошел его очередью из автомата и бросился на улицу.

— А чтоб ты света божьего не взвидел, за что же ты моих деток загубил, душегуб проклятый! Мало с нас было их отца?! — громко запричитала мне вслед несчастная женщина.

Деревня аж кишела желтыми мундирами жандармов и разношерстным одеянием полицаев. Трещали автоматы, словно кто-то сыпал на сковороду горох, глухо бухали гранаты.

— Где были наши часовые?! — орал присоединившийся ко мне партизан, будто это теперь имело значение.

— Бежим выручать хлопцев! — скомандовал я.

2

Собрались мы в лесу не все. Трое навсегда остались в деревне. Долго стояли молча. Ветер доносил запах горящей соломы. Местами снег почернел от сажки. К ночи начинался буран. Сквозь метель пожар едва просматривался.

— Жгут! — с бессильным чувством непоправимой беды произнес партизан, придерживающий раненую руку.

Другой, стуча зубами от волнения и пытаясь это скрыть, силясь шутить:

— Эх и холод! Кабы не дрожал — замерз бы!..

— Так иди в деревню, да погрей у пожарищ спину!..
— Крайняя хата сгорела совсем, а ветрячок на заборе вертится себе как ни в чем не бывало! Только почернел!..

— А у забора там какой-то дед лежит с топором за поясом! То ли прикинулся мертвым, то ли шальная пуля зацепила!..

— Ты гляди, дырка! — не слушая товарища, говорил третий, удивленно рассматривая полы посеченного пулями полушубка. — С близкого расстояния, гад, рубанул!.. Дырка вся словно обожженная каленым железом!.. Вот дыра еще!.. И тут!..

Все говорили торопливо, бессвязно, как в бреду.

Постепенно возбуждение прошло, мы отдышались, начали приходить в себя.

Материнское сердце словно чуяло. Меня больно уколола совесть: гитлеровцы жестоко расправлялись с хозяевами, в чьем доме был убит их человек. Как живые, возникли передо мной мальчик на печи, дед с топором за поясом. И ветрячок на заборе...

После стычки с полицаями и жандармерией наша группа находилась в таком шоковом состоянии, что идти под Новую Вилейку уже не имело смысла. Раненых нужно было доставить в лагерь, а это задача не из легких. В группе я был самым опытным, поэтому пришлось некоторое время сопровождать остальных.

На третьи сутки, растолковав командиру, как двигаться дальше, я с ним расстался и повернул опять на Вильно.

Свой автомат я отдал партизану, потерявшему оружие в стычке. При мне были два пистолета, финка, индивидуальные пакеты и вещмешок с формой немецкого офицера. Портные из гродненского гетто пошили на мой рост мундир немецкого лейтенанта пехоты и я уже пробовал с ним ездить в Белосток.

3

Задневал я на каком-то болоте в стогу.

Сено попало сухое. Я быстро согрелся и крепко уснул. Рука с компасом подвернулась под кобуру, и стрелка размагнитилась. Я с сожалением снял компас и швырнул его в снег.

Дальше пришлось ориентироваться по звездам и ветру. Даже вспомнил где-то вычитанное правило: не забывать, что шаг правой ноги всегда шире шага левой. Лучше бы я

не вспоминал этого, ибо что делать, чтобы не кружить на одном месте, не знал. И начал блуждать, проклиная себя за то, что не присоединился к товарищам, ушедшим в Вильно раньше.

На четвертые сутки добрался, наконец, до Порубанка — бывшего аэродрома. Когда-то приходил сюда смотреть на самолеты. Лазал с Данусей по живописным холмам: тут проходили лучшие наши дни. Но голод и холод отвлекали сейчас внимание. Оглядывался я лишь за тем, чтобы убедиться, что мне ничего не угрожает.

Отсюда до Вильно — километров восемь. Но за войну немцы могли на этой территории построить лагерь смерти, склад или военный завод с минным полем вблизи. Чтобы не напороться на какую-нибудь неожиданность, большим усилием воли заставил себя не бежать в город к связным, а — дожидаться дня, осмотреться, и уж к вечеру добираться до места. Взобрался на гору и залез в кусты. Чтоб хоть немного согреться, развязал мешок и укрылся немецкой шинелью.

Сильно клонило ко сну. Но засыпать нельзя, кусты голые, сквозь ветки человека видно издалека. Вырезал коротенькую палочку, подпер подбородок. Засыпая, расслаблял ладони, палочка впивалась в подбородок, и я просыпался.

Так в полудреме промучился до рассвета.

Уже совсем рассвело, когда внизу проехали машины — одна, вторая третья. Послышалась немецкая брань, плач, собачий лай... Потом все смолкло. Через минуту застучал лом о мерзлый грунт.

Я все понял, когда подполз к обрыву.

Внизу стояли три машины, покрытые черным брезентом. К ним были привязаны овчарки. Темнела свежеразвороченная земля. Несколько человек рыли яму. Заслонившись от ветра воротниками шинелёй, их охраняли полицаи. Укрывшись за машинами, оживленная группа немцев что-то распивала прямо из горлышка бутылок. Ветер доносил до меня обрывки гортанной речи, словно несколько человек, соревнуясь, с силой полоскали глотки.

Длинный, неуклюжий немец, косолапо ставя ноги, отделился от компании и захмелевшим голосом приветствовал полицаев:

— Na Polen, heil Ridz-Smigly!¹

¹ Эй, поляки, да здравствует Рыдз-Смиглы! (нем.)

И захохотал. Потом глянул в яму, ударил сапогом одного, другого из тех, что рыли, и визгливо-истерично закричал:

— Lo-o-os! Lo-os! Aber schnell, Verflucht!

Когда немец отошел к своим, полицаи засуетились, начали тоже бить людей. Особенно старался один. В бинокль мне хорошо было видно его лицо. Оно показалось знакомым. Был он похож на рыжего капрала, с которым я когда-то встречался на ринге. Те же впалые глаза, та же длиннорукая фигура гориллы.

Рыжий крикнул бобикам:

— Fertig!

— Gut! — принял к сведению длинный.

Недовольно гитлеровцы поспешили закончить свой пир. Это происходило внизу, шагах в пятидесяти. Все было как на ладони. Редко попадает такая выгодная позиция. Даже одной автоматной очередью можно было легко поразгонять немцев и полицаев. Но теперь у меня не было автомата. Ну, а если бы и был?..

Резко прозвучала команда:

— Anfangen!²

Мне стало душно, на лбу выступил пот.

Немцы начали выталкивать из крытых машин остальных обреченных и приказывали им раздеваться. Арестованных было человек двадцать. Женщины причитали, кричали что-то и мужчины, но раздевались все. Длинный немец расставил в оцепление полицаев, из кузова за подол вытащил девчонку лет шести, как сноп, швырнул ее в снег, закричал:

— Mitnehmen diese Dreck!³

Люди торопливо стали раздевать и ее.

Голый человек, плотно сжимая ноги, аккуратно сложил на снегу одежду и, указав на нее рукой, попросил о чем-то полицаю. Рыжий пнул его сапогом в живот. Тогда бедняга обратился к ближайшему немцу. Тот кивнул в знак согласия. И человек нагнулся, взял из кучи одежды шапку, надел. Мне был хорошо через бинокль виден каждый позвонок на его худой спине, когда человек, покорно согнувшись, стал лицом к яме.

...В сумерках я подался в направлении домишка тет-ки Антоси. Она жила на окраине, найти ее было легко, город я знал — недаром был посыльным в лицее.

¹ Давай, давай! Быстрее, сволочи! (нем.)

² Начинай! (нем.)

³ Забирай с собой и ее!... (нем.)

По городу, до места встречи с людьми из гетто, не меревался пройти в немецком мундире. Под видом немца предполагал с людьми и Данусей возвращаться в лагерь: будто бы веду группу арестованных. В том, что Данута пойдет с нами, я не сомневался.

Мало еще надеть немецкую форму. Наши хлопцы попадались только на том, что шли в город небритыми, с измученными лицами, в грязной обуви, и жандармы их сразу примечали. Нужно было обязательно привести где-то себя в порядок. Все это проделать я должен был у связанного, но к тетке Антосе меня тянуло, как к родному человеку, а сердцем чуял — она меня не продаст.

4

Мирное население было так напугано, что перед немецким мундиром двери открывались немедленно. Открылись они и передо мной в доме тетки Антоси.

Зайдя к бабке, я сразу же во всем признался и попросил дать мне возможность отдохнуть. Не веря еще ни одному моему слову, тетка, однако, на все согласилась.

— Ну, а что слышно о нашей лицеистке?

— Она в Вильно, — ответила старуха, как я и ожидал. — Живет с матерью в своем же доме... А-а, матка боска, вы же еще не знаете, что она... — старуха хотела что-то важное сообщить, но прикусила язык. — Вы тут побудьте, а я прендзей слетаю за Данутой!

Значит, уже не Дануся, а — Данута. Эта перемена напомнила мне, что с той мирной поры минула целая эпоха. Нужно было спросить, как она живет, но я боялся услышать что-нибудь страшное и промолчал.

— Нет, не надо ходить! — вернул я бабуку с порога. — Завтра вечером схожу сам.

— В городе много немцев. Посъезжались евреев вывозить, — пыталась она меня напугать.

— Ничего, что много. Завтра поищем выход. Поговорим лучше. У нас есть о чем, правда?

— Про что вам, молодому, со старухой разговаривать? Лучше Дануту позову и говорите с ней!

— Не прикидывайтесь, тетка! И перестаньте, наконец, меня бояться! Неужели я похож на предателя?

— Теперь такое время... В душу человеку не заглянешь...

— Тогда загляните в мою бороду! По-вашему, она приклеена? А руки какие, видите? Показать рубашку?

— Сама вижу...

О том, что немцы собрались ликвидировать гетто, мы в лагере знали со слов тех, кто оттуда бежал. Возможно, это только слухи? Когда тетка несколько со мной освоилась, я уточнил:

— А вы уверены, что немцы съехались из-за еврейского гетто?

— Кто же этого не знает?! Может, недели три или четыре назад немцы поотбирали у евреев все заказы: кто давал часы ремонтировать или сапоги, так и позабавили непочиненные. «Вам, мол, скоро будет капут». У нас только об этом все и говорят... Ой, чего же я расцелась — надо плиту растопить!

Понемногу женщина успокоилась. Через некоторое время она принесла от соседа, надежного человека, бритву, согрела воды и, пока я брился, с моими деньгами побежала в продуктовую лавку.

Валяясь уже в теплой и мягкой постели, я расслышал гул самолетов, затем взрывы бомб: одной, второй. Синхронно с нашим приходом в город с Большой земли должны были явиться два бомбардировщика и своими бомбами отвлекать внимание немцев.

— Ага-а, прилетели-таки! — прокричал я, обрадованный, что в городе я не один, пришел вовремя, и все идет как надо.

Весь следующий день до вечера я слушал тетку. Она рассказывала о довоенном времени. Вспомнила свою молодость, службу у генерала. Своих детей у женщины не было, и свое душевное тепло она отдала Данусе.

Старуха рассказывала, как однажды Данусе-подростку пошили зимнее пальто и она каждое утро выбегала на крыльцо и плакала, что не выпал снег.

— Точно, как моя сестра! — удивился я. — А мне казалось, что у генералов все не так...

— Известно, не как у простых людей, — задумчиво произнесла женщина. — Родительское сердце не заменишь нарядами и учителями. Ее отдали в чужие руки, а чужими руками и за деньги дитя не вырастишь, это я хорошо знаю, хоть своих не имела. — Отец ее бывал дома наездами. Нарекать на него не стану, он и так, бедный, счастья не имел. Ну и что с того, что такой большой чин. Этого человеку мало. Нужно отцовское счастье. А если ты из лавки не нес дитяти первой булки, не знал запаха сношенных его туфель, которые ты нес в починку, —

отцовского ты счастья не знал, хоть и имел детей. Одни только деньги и чужие руки этого не заменят...

Я удивленно уставился на бабу: а она мудрая. Спросил о знакомых, оставшихся в оккупации.

— Янина порезала себе ножницами вены и кровью изошла. Левандовского вместе с паном Мотыкой как заложников немцы расстреляли, только вошли в Вильно...

— А помните, жила у нас по соседству еврейская семья? У них была Бети, носила мне письма от Дануси, что с ней? В сороковом году вы говорили, что они собираются за границу...

— Залкинды? Их никого уже нет в живых.

— Тоже?!

— Ихняя Бети, бедное дитя, не ко времени расцвела... Гетто прошлый год охраняли жандармы и эсэсовцы. Командовал ими Визе. Не дай бог, что за зверь. Чего он только с людьми не вытворял!

Полная переживаний, бабка задумалась.

— У евреев, есть давний обычай: если встретишь похороны обязательно нужно их проводить. И вот, бывало, несут кого-нибудь хоронить и встретят Визе. Он приказывает всем взяться за руки, плясать вокруг покойника и петь «Идл мит а фидл»¹. Дико орет, подгоняет, а они, бедняги, пляшут и поют, пляшут и поют. Кто отказывается или не может, того убивает на месте. А то еще возвращается колонна в гетто с работы, Визе найдет у человека кусочек хлеба, купленный в городе, и — стреляет!

Ну, так этому Визе и приглянулась Залкиндова дочка. Немец приказал Юденрату привести девушку к себе. У Залкиных, как и у всех богатых евреев, был яд. Но собрались старики и давай, бедную, уговаривать:

«Бети, когда-то наша Эстер стала любовницей Казимира Великого, так мы чetyреста лет помним и ей благодарны за добро, что король сделал для евреев!»

«Бети-и, мы в твоих руках! Не дай нам погибнуть, пожертвуй собой ради нас!»

«Спаси нас, Бети-и!...»

Раввины пристали к ее родителям.

«Ничего не сделаешь, доченька, спаси свой народ, если тебе такая участь!» — приказала ей мать.

Не помогли и отговоры Дануси. Бети только заплакала, заплакала и согласилась. Бедная, три месяца прожила с окаянным фрицем.

¹ «Еврей со скрипочкой» — евр. нар. песня.

Однажды Визе устроил бал. Собрались офицеры жандармерии, гестаповцы, переводчик-белогвардеец Семенов... Жандармы с гестаповцами жили, — что коты с собаками. Напились и давай друг друга подначивать:

«А-а-а, Визе, ты нами командуешь, а сам с жидовкой живешь!» «Купили тебя жида!» «Может, ты и сам из жидов? Чем докажешь, что — нет?!»

Видит Визе, что берут над ним вверх, и рассвирепел. Позвал Бети, велел ей раздеться. Переводчик Семенов привязал бедную к стулу и оттащил к стене. Повымали они свои револьверы и начали стрелять. Кто в левый глаз метит, кто в правый, кто в грудь, в колено...

За дверью в то время стояли в охране два еврея из «Орднунгдинст»¹. Когда девушку изрешетили всю, Визе позвал охранников, приказал тащить ее к оврагу и вытереть от крови стены и пол. Узнали родители и приняли отраву...

После бала мы с Данутой за водку выкупили тело у полицаев, а ночью, необмытую, так и схоронили тайком в горах.

Бабка вздохнула и концами платочка вытерла глаза. Я поинтересовался:

— А жена генерала с воеводихой куда делись?

— Обе здесь! Когда мне понадобятся деньги на доктора или на соль, пеку картофельные оладьи и выношу на рынок; всегда встречаю там их. Не дай господи, как они между собой плохо живут, как грызутся — будто суки!

— Между собой? А чего-о? — удивился я.

— Генеральша выносит на рынок разных слоников, подсвечники или сахарин от скуки, — дочь продукты от немцев получает, хватает обоим. А Боцянская живет одна! Раньше выносила гардины с окон, коврики, посуду и все кричала: «Тюль из Парижа, ковры персидские, кастрюли медные!» Но сейчас на такой товар не очень и покупателя найдешь. Подойдет ко мне, бывало, и просит: «Дайте, пани Антося, в долг картофельной бабки, истинный бог, деньги отдам!» С жалости дашь, она тут же кушает, а пани Вацлава обязательно ее подкусит:

«Ты еще за прошлую бабку Антосе не уплатила!»

Воеводиха огрызается:

«Это только пани умела копить! У пани и теперь имеется золото и даже — валюта!»

¹ Полиция из евреев, организованная гитлеровцами в гетто.

«А ты, рыжая кудла, мое богатство в покое оставь! — кричит уже на весь рынок генеральша. — Когда честные поляки, как мы с мужем, о защите Польши пеклись, ты свое богатство на алтарь отечества не клала! Только думала — как бы нажиться! Не подарок ли румынского принца у тебя на плечах?!»

«А твоя дочь в комендатуре работает, и еще спекуляцией занимаешься! Бо тебе все мало! Сахарин у тебя чей? Бывшей служанки, Проси, что теперь надсмотрщицей в тюрьме на Лукишках! Большевиков на тебя надо, они таких комбинаторов быстро прибирают к рукам!»

«А я немцам заявлю, что ты стоишь здесь и о большевиках только и мечтаешь!»

«Беги, беги, заявляй!.. Я тоже кое-что про тебя знаю!..»

— А то иногда как сцепятся биться — matka свента, два мужика едва разнимут!.. А то опять мирно разговаривают и чего-то плачут...

Я так разнежился, что не хотелось уже и расставаться с домашним теплом. Ни предстоящая встреча с Данусей, ни обязанности перед теми, что меня ожидали, как бы и не трогали уже. Что я один могу в этом море событий?!

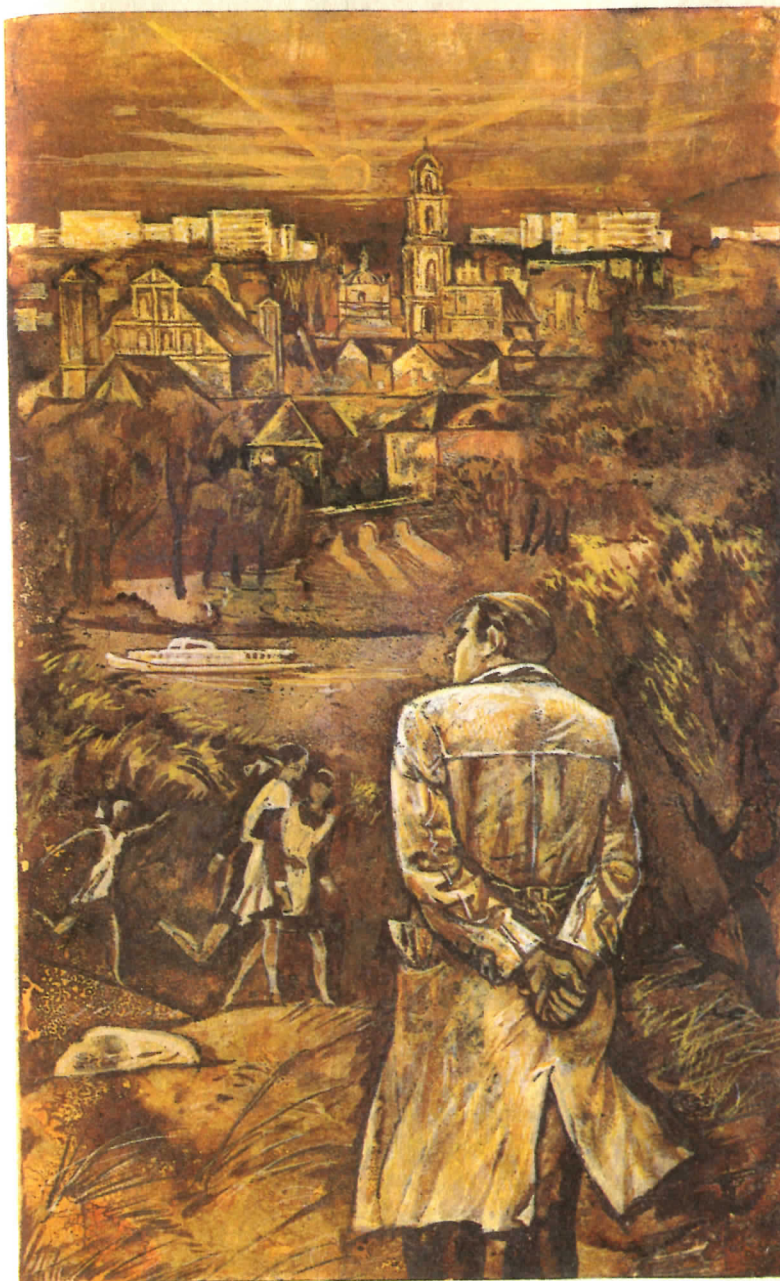
Пришлось собрать всю волю, чтобы отутюжить мундир, надраить до зеркального блеска офицерские сапоги, почистить оружие и собраться в дорогу.

Как только стало темнеть, я рассовал пистолеты по карманам, положил туда же запасные обоймы, тепло распрощался со старухой и пошагал на условленную квартиру. Странно я почувствовал себя, шагая по этому, так хорошо знакомому, ярко освещенному, словно в добрые мирные времена, электрическим светом, и донельзя чужо-му городу. Хоть и был я насторожен, но не мог преодолеть в себе обычного человеческого любопытства.

Где-то в лесах мерзли наши партизаны. На фронтах лилась кровь. Гибли тысячи несчастных в немецких концлагерях. Как лакомство, грызли сырую картошку и варили суп из ремней наши военнопленные за колючей проволокой. В смертельной тревоге ждали конца доведенные до безумия обитатели гетто. Не успела еще слежаться, не окостенела даже по-настоящему земля на могиле в Порубанке. А здесь, на улице, спокойно текла мирная жизнь.

Стало, кажется, электрических лампочек даже больше, чем до войны, — на улицах светло как днем.

Процокала коваными копытами извозчичья лошадь, провезла в фэтоне пышную даму в мехах, не иначе, немку.



Пронесся мне навстречу немецкий мотоциклист в огромных, во весь лоб, очках, похожий на существо иного мира — хищное, злое.

Проехала грузовая машина с крытым верхом и эмблемой бубнового туза на кабине. Обычно немецкие военные машины имели на кабинах головы зубров, оленей, куниц, зайцев. Когда-то с Данусей смотрели американский фильм о Грюнвальдской битве. Там рыцари фон Ульбрихта носили такую же эмблему на щитах...

Словно с зелеными термосами, прошел с противогАЗами на боку взвод солдат. Отъевшиеся и самодовольные фрицы в хорошо пригнанных шинелях и до блеска начищенных сапогах маршировали слаженно, равнение держали легко, без усилия. От них повеяло чужой и ненавистной мне силой. Подумалось — встретить таких в бою и они от первого выстрела, сволочи, не побегут, так просто их не испугаешь и на дурака не возьмешь!..

Я уже почувствовал в себе возбужденную осторожность — как перед схваткой. Спohватился, что меня выдают шаги настороженной кошки. Постарался ногу ставить уверенно и независимо.

Прошла группа солдат литовских «национальных» войск, лихо мне откозыряв.

— Великая победа фюрера! — вдруг по-польски прокричал где-то впереди мальчик лет двенадцати, пробегая с пачкой газет под мышкой. — Покупайте «Пройсише нахрихтен»! Германские войска планомерно оставили Великие Луки! Новая победа фюрера!

Мальчишка меня рассмешил и ободрил. Я намеревался купить газету и уже полез в карман за деньгами, но вдруг подумал: видимо, я не должен понимать по-польски? С другой стороны очень хотелось принести в отряд свежие немецкие газеты и почитать — о чем же они в них пишут. За это время мальчик боком, боком меня обошел и исчез так быстро, что я даже не заметил, куда он делся.

Перед магазином, на сквозняке, стояли женщины в очереди за картошкой. Последней была девочка лет тринадцати. Она подняла тонкий воротничок совсем коротенького осеннего пальтеца, мешок свернула муфтой, сунула в него руки и, бедняжка, приплясывала то на одной, то на другой ноге.

Женщины о чем-то спорили на своеобразном виленском диалекте — смеси белорусского, польского, литовского и

русского. Когда я приблизился, они замолкли. Я ясно услышал:

— А ладный немчик!

— А что ему? В колейке стоять не надо, как нам с тобой за гнилой бульбой, чего же ему не быть ладным!

— Ограбил, р-р-ропуже, полсвета...

— Только птичьего молока им не хватает!

— Вы что болбочете? Хочется на Порубанок?

Я еще больше вошел в роль. Хороший отдых, вареная пища, молодость сделали свое. Я дышал здоровьем, силой, был бодр и уверен в себе.

Эх, милые теточки, ругайте их, проклятых, молодичны вы!..

Заметив патруль, сделал надменное выражение лица, придал походке уже неторопливую важность. Патрульные подтянули автоматы, поправили ремни и с прусской выправкой, с тыловым шиком приветствовали меня, на что я ответил небрежно, даже не взглянув в их сторону: в первые месяцы войны, пока не ушел в партизаны, на немцев нагладелся достаточно и нравы их изучил.

На центральной улице набрел на толпу зевак.

По мостовой вели людей с желтыми шестиконечными звездами на спинах. Мне, высокому, хорошо было видно, что происходит на скользкой брусчатке.

Люди, выбиваясь из сил, волокли свои пожитки — перины, подушки, узлы. А какая-то женщина, перевернув стол, тянула его на веревке, как сани. Среди тряпок и кастрюль там сидел малыш, закутанный в платки, с застывшими слезинками на глазах. Ребенок вцепился в ножку стола, чтобы не вывалиться, когда стол ударялся о вывороченные камни мостовой. Женщина споткнулась и упала. В толпе заржали. Она умышленно неуклюже поднималась, чтобы зеваки посмеялись еще: бедная мать так задабривала врагов.

— Ю-ды, до бу-ды! Ю-ды, до бу-ды! — скандировали бывшие эндеки, а теперь полицаи или просто городские хулиганы, стоявшие впереди меня; лица их аж расплывались от удовольствия.

И жили же такие среди нас!

Начиналось все с «невинных» надписей на заборах: «Не покупай у жида». С бунта в университете под лозунгом: «Не будем сидеть на одних скамейках с жидами!» А кончилось вот чем... Ну, постреляете вы их, а потом что? Гитлер вот так же примется за вас.

Вдруг несколько типов ворвались в ряды, распоро-

ли перины, ветер вмиг подхватил тучу пуха и швырнул людям в глаза.

Зеваки стали плевать и поносить евреев, словно они виноваты.

Рядом со мной торчал фельдфебель с красно-бело-черной ленточкой железного креста в петлице шинели. Он, давась от смеха, рассказывал соседям, что евреи и не догадываются даже, куда их ведут. На станции у них отберут вещи — вот где полно богатства! — затолкают в вагоны, повезут в Треблинку, а там всем им капут!

Наржавшись всласть, он обернулся, потер руки от удовольствия и, словно мы старые знакомые, доверительно и убежденно произнес:

— Na, jetzt ist Wilna Judenfrei, nicht wahr?¹

Пока я нашелся, что ответить, он пошатал, исполненный удовлетворения от правоты того, что творилось перед его глазами.

В другом месте, выходя из переуллка, я наткнулся на ворота из колючей проволоки в каменной стене. У ворот немцы обшаривали евреев. У одного часовой обнаружил бутылку постного масла. Разгневанный гитлеровец долго бил оборванного доходягу куда попало: в лицо, в живот, в пах. Но этого ему показалось мало. Он приказал:

— Trinke zugleich!¹

Я понял, что за воротами — это самое гетто. Смотрел я на все, словно в каком-то кошмарном сне, чувствуя себя в чем-то непростительно виноватым.

Вильно в сравнении с мирным временем почти не изменилось, и я легко нашел на Антоколе нужную квартиру. Там жил старый белорусский художник — надежный связной.

Художник ждал, оказывается, меня уже несколько дней, у него все было подготовлено. Он сразу же назначил свидание с группой еврейских парней и девчат, которые хотели уйти в лес. Молодежь должна была выбраться из гетто по канализационным трубам, спрятаться в кустах на татарском кладбище и ждать до полуночи, когда за ними придут.

В моем распоряжении было еще четыре часа — вполне достаточно, чтобы зайти и к Дануте, собрать ее в дорогу.

¹ Стало быть, Вильно теперь без евреев, не так ли? (нем.)

² Немедленно выпей! (нем.)

К генеральскому дому я подошел в восьмом часу — по условиям военного времени довольно поздно.

А вот и двор Янковских. Знакомые силуэты. Даже ветер так же гудит в голых кронах яблонь, а на тополях чернеют галочки гнезда. Страху я не чувствовал: темно, достаточно стать под дерево, и никто тебя не увидит. Только от возбуждения меня всего трясло.

Звонок в парадных дверях не действовал. Нажал на двери — не поддаются. Только тут заметил, что снег у меня под ногами не тронут. Запущенным двором, полным какого-то металлолома, я направился к черному ходу.

Двери открыла генеральша. Она почти не изменилась. Разве что на сморщенной верхней губе выразительней, чем раньше, бросились в глаза редкие, седые и жесткие усики, какие часто бывают у армянков.

Сразу было видно — немцы в этом доме частые гости, ибо она не удивилась и не испугалась меня, а вежливо сказала по-немецки:

— Пожалуйста, заходите! Вы к Данке?

Сбиваясь от охватившего меня вдруг неуместного смущения, я начал сразу и по-польски и по-немецки объяснять, кто же я такой.

— С каких курсов?! — напряженно пыталась вспомнить дама, отчего у нее на лбу образовались частые морщинки, их я увидел и на шее и только теперь по-настоящему разглядел, как она постарела.

Пришлось объяснять все сначала.

— Мы давно уже вернулись из-за границы. Года полтора! — так ничего не вспомнив, сообщила. — Теперь наша Дана работает в комендатуре... Однако, проходите, прошу, туда к ней, как раз ее муж зашел! Он тоже почти военный, будет вам компания! — мешая польские и немецкие слова, говорила она. — Проходите, герр лейтенант!..

Разразись в тот момент гром, ударь молния, разверзся подо мной земля, я не был бы так ошеломлен, как при этом известии.

Муж?.. Что за черт, или я не туда попал?!

— Прошу вас, снимите шинель, я повешу, и проходите! — хлопотала дама, берясь за мои пуговицы.

— Благодарю... Разденусь сам... — я все еще не справлялся с растерянностью и топтался на месте. Было из-за чего теряться.

Данута замужем? Не может этого быть!.. Но раз у нее муж, значит — замужем!

Так вот чего не договаривала Антося?!

Да, но разве она имеет право быть замужем?! Возможно, все это мне снится?.. На самом деле, какой муж?.. У моей Дануты — му-уж?! В войну она вышла замуж?.. И почему Антося не предупредила?! Пожалела меня, старуха?..

В данной ситуации надо было извиниться, выйти во двор и успокоиться, а зайти потом. Или вовсе махнуть рукой на Дануту, если так получилось. Но этого я не сделал.

Охваченный злой решимостью, я уже отстранил генеральшу, прошагал через коридор в зал и остановился как вкопанный.

Первым, кого увидел, был Станевский. Увидел и глазам своим не поверил. Так вот кто ее муж?! Нет, не может такого быть! Люди, это какое-то недоразумение!..

Но больше мужчин здесь не было, в комнате сидел только мой земляк. Возмужавший, постриженный, как стриглись обыкновенно немецкие офицеры — под высокую польку, с темными, блестящими от бриллиантина волосами, в желтых ремнях, воинственно перекрещенных на груди. На рукаве его зеленого френча белела повязка с черной свастикой и ненавистной готической надписью «Гильфс-полицай». По выражению его лица, мундиру, ремням я догадался — он комендант участка полиции и живет с ему, как у нас говорят, «файно».

Тут же была и Данута — какая-то чужая, незнакомая.

Была она вызывающе хороша. Вечернее платье темного бархата еще более подчеркивало матовость белой с розовым оттенком кожи, мягкую округлость груди, плавную линию шеи. Во взгляде — игривое кокетство и сознание своего обаяния.

От скромной симпатичной и милой паненки не осталось и следа. Передо мной была роскошная красотка с шикарной прической французской киноактрисы и сверкающими перстнями на пальчиках. Чужая. Незнакомая. Холодная. Неприятная.

Они сидели за круглым столиком друг против друга, держа в руках веером новенькие карты. Данута делала это грациозно, а на губах у нее застыла лукавая улыбка. Ген-

рик, подбоченясь свободной рукой, картинно наклонив голову, испытующе смотрел на партнершу.

Оба были так увлечены, что даже не обернулись, когда я открыл дверь, только на лицах появились недовольные гримасы, что кто-то, видите ли, им помешал.

В критических случаях человек часто мыслит не словами, а образами, воспоминаниями. Ох, и много же можно вспомнить в такую минуту. Но я быстро овладел собой.

Ха, молодожены!..

Через мгновение уже смотрел на этих гуляк, как на незнакомцев. Осталась только обида за несчастных, расстрелянных на Порубанке, за женщину с детьми в незнакомой деревне, за своих хлопцев, которых не проводил до лагеря...

И вдруг мне так захотелось в партизанский лагерь, к своим, как порою хочется домой малому ребенку, когда он у чужих.

Однако же надо как-то выпутываться из этой глупой истории, тем более что мне, наконец, сделали одолжение, взглянули в мою сторону. Наступила такая тишина, что из кухни донесся звон воды, льющейся в ведро и — далекий гул самолета.

— Нет! Нет! Не-ет, не может быть этого!.. — с ужасом, будто перед ней призрак, прошептала Данута после минутной растерянности и уронила карты.

— Добрый вечер, Янку!..

Мы посмотрели друг другу в глаза. У Дануси мелькнула на лице улыбка — светлая и тревожная сразу. Неуверенную радость и одновременно страх прочел я в ее глазах. Но что-то очень дорогое навсегда исчезло в ее облике, и мне вдруг стало тоскливо.

Я молча вошел в комнату и остановился.

— А, герр Бартошевич?! — удивился и Станевский с дружеской интонацией в голосе, но и с ноткой тревоги.

Знаешь ли ты, обормот, кто я? Если нет, то легко будет разыграть тут перед тобой комедию. В конце концов, если и догадываешься, то справишься с тобой сумею всегда. Твой пистолет еще в застегнутой кобуре, а я держу палец на спусковом крючке...

— Янек, не заходи же, прошу! — проговорила Данута.

Она уже овладела собой и встала мне навстречу. Но, видимо, потому, что я держал руки в карманах, а взгляд у меня был решительный и злой, растерянность стояла с минуту и вернулась к столу.

— Садись, прошу, сюда... — Придвигая третий стул,

неуверенно и виновато произнесла: — Ты замерз, видимо? Может быть, все-таки снимешь шинель?

Данута не знала, что делать. Оттого, должно быть, что я не произнес ни слова, даже не ответил на приветствие, что был насторожен, будто ожидал нападения сзади, она о чем-то стала догадываться и еще больше терялась. Станевский проглотил комок в пересохшем горле, а у него на лбу выступили блестящие капельки.

— Вот мы и встре-етились, — судорожно сглотнула и она.

В районе Закрета опять послышался слабый гул самолета. Как то вяло, неуверенно там несколько раз бабахнули зенитки и сейчас же умолкли.

Сел я с таким расчетом, чтоб можно было мгновенно вскочить на ноги. Начал оглядываться.

Те же самые картины в позолоченных тяжелых рамках. Тот самый блестящий паркет и будто черное зеркало — фортепьяно. Обитые коричневой кожей кресла. Фикус разросся, и листья его блеснули свежей глазурью... Одним словом, в комнате — тот самый генеральский лоск, добротность и позолота, что мне, дураку, когда-то так импонировали и привлекали. Сейчас, в войну, этот комфорт оскорблял, я с превеликим удовольствием все это взорвал бы гранатами, поджег...

Стараясь овладеть собой, Данута искала темы для разговора.

— Янек, а ты слышал, что арестовали Любецкого? На прошлой неделе взяли. Что ты на это скажешь?

— Он тоже остался в Вильно? — сообразил, наконец, я. — И за что же его взяли?

Объяснил Станевский:

— Его грузовик на Вильгельмштрассе подцепил правым бортом «мерседес» самого шефа гестапо — Эрилиса!..

— Любецкий работал шофером?

— Князь даже водить машины не умел! Пассажирам сидел в кабине! Но у шофера — дети, семья, и Любецкий взял вину на себя!

Станевский добавил:

— За такое оскорбление немцы водителей расстреливают на месте! А с князем сделают это потом!.. Выходит, что стукнет князь нам на прощанье дверью... нет?

— Генек, но он же оказался порядочным!

— Это, Дана, получилось у него случайно, я-то знаю! Ха-ха! Бронислав думал, что...

— Как ты так можешь, Генек!?

Уже почти успокоенная Данута перенесла внимание на меня:

— О-ей, Янек, но ты теперь лейтенант? Поздравляю!

В ее голосе и взгляде чувствовались не то искренняя радость, не то страх и неуверенность. Она украдкой взглянула на Станевского и заговорила опять:

— Тебя пустили в отпуск? На каком фронте служишь?

С какой легкостью ты веришь, будто я — в немецкой армии. И знаешь, негодяйка, что офицеры приезжают с разных фронтов. Вот такую пададь еще собирался вести в лес, к своим — ну и ну!..

Впрочем, чего от нее было ожидать?!

Чтобы гитлеровцы не мстили родителям, свой уход в партизаны мы организовали так, будто немцы нас мобилизовали на работу по сооружению укреплений.

Ей же теперь я разъяснил:

— Прислали повестку. Куда денешься? Обмундировали. Выдали оружие. Служу в белорусском батальоне Каминского. Уже полгода, как в Минске стоим.

Стало чего-то жаль. Одновременно я почувствовал облегчение, словно вдруг получил, наконец, ответ на долго мучавший меня вопрос. Что-то подобное я уже однажды пережил, убедившись, что генеральская дочка не про меня. Но это было четыре года назад и скоро очень прошло. Неужели я все это время обманывал себя?

Тьфу!

В комнате минуту царило тягостное молчание — каждый из нас напряженно думал, как себя дальше вести, прислушиваясь к тому, что творилось на улице. Гул самолета переместился на Погулянку. Зенитки уже молчали — небо, видимо, затянуло тучами, и самолет шел выше них. Южнее Погулянки два раза бабахнуло — прозвенели стекла.

Авиаторы, видимо, расходовали бомбы экономно, город бомбили символически. До наших аэродромов было километров семьсот, у самолетов дел было не впрокорот на фронте и я к летчикам почувствовал благодарность. Только бы их не сбили!..

— Железнодорожную станцию большевики колошат! — сказал уже осмелевший Станевский. — В такие минуты, как закон, в город проникают партизаны. И сегодня под шумок заберутся к нам обязательно!.. А у вас в Минске спокойно? Курите, прошу! — услужливо протянул он серебряный портсигар, шелкая зажигалкой.

Нет, он так ни о чем и не догадывается. У него на лице застыла уже беспечная уверенность. Конечно, не Степанов наган был в его кобуре. Я сразу определил — «парабеллум». Была возможность оружие выбрать. Ты же теперь «фольксдойч», почти что немец, властелин. Тебе даже доверили командовать бобиками.

— Благодарю... — я взял левой рукой папиросу, неловко, как человек, никогда не куривший, и раздумывал, что делать дальше.

— Какие употребляете? Это — «Экстра», нет?

Станевский уже совсем успокоился.

— Прима сорт, нет? — он затянулся и с франтоватой элегантностью скрипнул новенькими ремнями.

— И курить уже научился, Янек?! — как бы попрекнула меня Данута.

— Война всему научит, нет? — ответил за меня полицай.

«Нет» он выговаривал на немецкий лад, как «нэ».

У некоторых людей имеется потолок, выше которого они, несмотря на житейский опыт и образование, уже не в состоянии подняться. Не переступил своей границы и Станевский. Он был тем же, что и четыре года назад, только сменил хозяев. Его сознание закоснело так, что уже никакой силой ничего живого из него не выжать. А я старался когда-то его образумить, переубедить. Таких можно только победить.

— Пожалуйста, вот пепельница. И вообще, могли бы попросить разрешения у дамы, рыцари! — заметила Данута, неловко пытаясь скрыть свою тревогу.

В ее голосе слышалась какая-то печаль.

— Солдаты фюрера не имеют привычки просить разрешения, нет? Даже — у красивых дам, нет? — отпарировал Станевский и обратился ко мне. — Я в своем селе не был с июля сорок первого. А вы уже побывали в своем Стражникове?

— Как раз еду...

Данута вытащила откуда-то из-под стола бутылку коньяка, рюмки.

— Надеюсь — ты уже теперь и пьешь? — с ноткой сарказма произнесла она, разливая коньяк. — А как же твоя клятва!.. Вот и полетели наши мечты к черту! Ты был левым, Генек — правым, я — польская патриотка, а все мы служим гитлеровцам!

— Прощу извинить! — перебил ее Станевский. — Мы им не служим, мы временно с ними в ко-лла-бо-рации!

— Помолчи, Генек!.. Ну, за нашу встречу!

Они выпили. Данута сразу же снова налила себе и мгновенно опорожнила рюмку.

— Ну, Янко, пей! Никогда не поверю, что и теперь не употребляешь!.. А я все чего-то ждала, ждала, надеялась...

Наполнив уже третью рюмку, Данута подошла к фортепьяно, где стояло фото Любецкого, и чокнулась с ним:

— Бронек, милый, только ты, разорившийся князек, остался самим собой!.. Как тебе, дорогой, там в тюрьме на Лукишках?.. Жив ли еще?.. Будь здоров, пью за тебя!

— Тоже мне, героя нашла! — съязвил Станевский, наливая рюмку себе. — Бронислав думал, что его сразу выпустят, поэтому и вину на себя взял! Порисоваться хотел, как всегда, да не на тех нарвался на этот раз!..

— Замолчи, выродок! — Данута замахнулась на него бутылкой.

Я уже и счет потерял, сколько она выпила. Вдруг с силой швырнула рюмку об пол, и осколки брызнули во все стороны.

— Где моя Польша-а? — прокричала, а на ее лице выступили розово-белые пятна, глаза неестественно заблестели. — Где твоя мощь, Янку? Где справедливость? Где бог?.. Нет! Нет! Нет!.. Всюду один хаос, грубая сила, хамство и цинизм! Апокалипсис!.. Эх, разве поймете вы, дети холопов деревенских, все это?! О, Езус коханы, какой поганый свет!.. Пей, Бартошевич!..

Она наполнила стакан, подошла ко мне.

— О-ей, але ж ты и ладный в мундире!.. Правда, правда!.. Генек, посмотри, как ему к лицу «фельдграу»!.. Ты — прирожденный военный!.. — Показывая на значок, указывающий, что форма моя принадлежит лишь войскам сателлитов Германии, с насмешкой заметила: — Ха, чистокровным вермахтовцем не сделали и тебя, правда? — Данута отхлебнула из стакана жидкость, а остальное плеснула мне на шинель: — Ох, как ненавижу этот мундир!

— Сумасшедшая! — хватил ее за руку испуганный Станевский.

Я страхнул с груди коричневые капли и заметил:

— Ничего, ничего. Опынела. Много ли ей надо? Слушай, земляк, а ты не думал, что скоро нам с тобой придется держать ответ за службу у немцев? — начал я осторожно. — Сталинградом большевики повернули ход войны.

Станевский будто от меня этих слов ждал.

— Говори смело, ее бояться не надо, за нее ручаюсь! — подхватил он сразу, хотя и захмелел. — Отвечаю! Во-первых, мы не какие-нибудь заурядные предатели, а — колла-бо-ра-ци-о-нисты!.. Временные и из-за крайней нужды партнеры, нет? Мы тормозим зверства гитлеровцев, нет? Если бы не наше умеренное поведение, фашисты, знаешь чего бы натворили?.. Все это нам потом зачтется, нет? Во-вторых, — Станевский перешел на полусшепот: — Ко мне из Лондона приходил посланец, и уже мы наладили связь... Сказать им про тебя?

— Ох и ловкий ты жук, ох и негодя-ай!.. — не то в шутку, не то всерьез, сказал я.

— А ты еще больший негодяй! Ты — негодяй из негодяев!.. — с истерикой прокричала Данута.

— Замолчи, а то — свяжу! — предупредил Станевский. Но это не помогло.

— Ты — негодяй больший!.. Он никогда не декрар... декр-ра... декларировал больших идеалов, но — ты?! Даже я через Антосю пробовала швабам насолить, но — ты?! Ты-ы? Ты-ы?.. Тьфу на вас! На тебя и на тебя! На вас обоих!.. Тьфу! Тьфу!..

Стало ясно, что этому не будет конца. Я для себя все выяснил, а рассиживаться в генеральской квартире больше не имел права. Настало время кончать комедию. Я почувствовал, как весь наливаюсь решительностью.

Увидев, что встаю сам не свой и вынимаю пистолет, Данута на шатких ногах подалась ко мне:

— О-ей, Янек, что с тобой?! О-ей, Янек, успокойся!..

Чтобы Данута не мешала, я схватил ее за руку и оттащил к дверям. Окна были наглухо закрыты массивными ставнями. Полицай попался в западню. Бросаться на меня не имело смысла, он прекрасно знал, что я — сильнее. Выхватить из застегнутой на пуговку кобуры парабеллум не было уже времени.

Но Станевский не растерялся. Он не вставая с силой толкнул стол на меня. Я отбил стол коленом, выстрелил и... не попал.

— Бартошевич, что ты?! — с ужасом взмолился он и отскочил за огромную кадку с фикусом, опрокидывая ее в мою сторону.

Фикус меня даже не задел.

Я считался хорошим стрелком в бригаде. Но тут приходилось левой рукой держать Дануту, которая в страхе жалась ко мне. Это меня сбивало. Сперва из одного, потом из другого пистолета выпускал пулю за пулей, и все напрасно.

Только брызгами разлетались кусочки паркета и со звоном раскатывались по полу пустые гильзы.

— Ruhe bleiben!¹ — вдруг вырвалось у меня почему-то по-немецки.

— Herr Leutnant, was denn!² — простои́ал Генрик, мечась по гостиной.

— Я тебе не герр! Я — партизан, Иуда Искаротский! — со злорадным наслаждением крикнул я. — Сколько ты наших людей предал, гад?!

Генрик наступил на пустую гильзу, поскользнулся и растянулся на полу во весь рост. Почувствовав, что все кончено, он прикрыл руками голову, взмолился:

— Лонги-инус, я тебя не выдал тогда с прокламациями на Мицкевича!

Но я его добил.

— Генек?! — с ужасом позвала его Данута. — Он — мертв!.. Янек, но это же — мой муж!.. Нет, не муж... Что теперь делать?!

Я — от рождения купанный в горячей воде — в молодости был очень скор на решения. Напоминание про замужество разъярило меня еще больше. На тумбочке у зеркала попала мне на глаза их фотография. На ней лица Дануты и Генрика расплывались от счастья. Опыненный стрельбой и убийством, я вытолкал Дануту на середину комнаты и прохрипел:

— А теперь — ты иди за своим муженьком!

Она не умоляла, не плакала, не пыталась бежать. Смотрела на меня испуганными и покорными глазами. На какое-то мгновение стала прежней Данусей, какую я знал до войны.

У меня дрогнула рука. И сердце. Я уже не знал, что делать. Пригрозить ли ей, чтобы молчала и придумала для немцев какую-нибудь историю, например, — самоубийство? Кто-то строгий мне подсказывал: а что ее жалеть? Нельзя рисковать, оставляя немцам свидетеля! У тебя ж и старики живут в деревне, немцы станут им мстить.

— Янечек, за что? — задыхаясь от страха, спросила она тихо, уже совершенно трезвая. — Вот мы и встретились!.. — захлебнулась слезами.

Меня охватила новая волна бешенства.

— Ах ты-ы, интеллигентная полицейская подстилка, еще будешь меня упрекать?.. — не находил я слов, чтобы высказать свое возмущение.

¹ Не двигаться! (нем.)

² Господин лейтенант, что это значит? (нем.)

Когда я подымал пистолет, она тихо вскрикнула, словно у нее заняло дыхание от того, что кто-то толкнул ее в холодную воду. Я нажал спуск. На мгновение ощутил знакомую невесомость пистолета в момент выстрела, потом металлический стук гильзы о стену, о пол.

К счастью, Данута отскочила.

Выработанное долгим военным опытом чутье подсказало, что в пистолете вышли все патроны. От этого я вдруг почувствовал облегчение. Но все еще хотелось казаться разгневанным, и я себя обманывал: опять прицелился и нажал спуск.

— Цик!.. — щелкнул боек вхолостую.

Кладнул я затвором — пустой магазин. Второй пистолет разрядил раньше.

Пока менял магазины, пришел в себя окончательно. За спиной услышал плач генеральши — еще один свидетель! Значит, надо и ее? Нет, теперь стрелять в женщин, вот так, в комнате, я уже не мог. Будь что будет.

Станевский все так же лежал среди зала. Его глаза тускло глядели в потолок, а из-под кителя на паркет текла и собиралась в густую лужу кровь. Я снял с полиция ремень с парабеллумом. Надел его поверх шинели, бросил Дануте:

— Меня тут не было, понятно?! Кто убил твоего муженька, придумай сама! Выдашь — найду, ты меня знаешь!..

Последние слова намеревался бросить ей внушительно, строго, и неожиданно для себя самого они прозвучали скорее как просьба.

— Хор-рошо, Янеч-чк-ку... — икнула она. — Прид-умаю...

Я направился к дверям.

— Куда ты, а я-а?! Не уходи-и, Янек! — взмолилась она.

На нее действовал запах крови. Ей надо выпить холодной воды. Надо глубоко и ровно дышать, не то начнется рвота.

Еще немного, и я бы вернулся.

7

Через неделю с группой беглецов из виленского гетто, я, наконец, подходил к лагерю. Посты миновали еще днем, а когда приближались к землянкам, уже темнело.

А вот и он, родной дом партизана!

Ноздри защекотали дым и те запахи, по которым всегда

отличишь свой лагерь от любого другого. Пахло сушеным мясом, кожей. Ноги цеплялись за еловые веточки, упавшие с натянутой сверху проволоки — камуфляжа от самолетов.

Кто-то прошел с мокрым веником из бани, и я вдруг ощутил зуд во всем теле. Подумал, что первым делом надо будет и мне помыться. Стало легче на душе. Я ожил.

Отрядный повар Василь вез дрова. Лошадь все никак не могла втянуть сани на пригорок. Василь, упершись плечом в бревно, натужно кричал:

— Но-о, милый, но-о! Еще маленько, ну-ну!

Лошадка, бедная, и старалась, торопливо перебирая передними ногами, но подковы были сбиты, и она скользила, как на коньках, а сани — ни с места. Вдруг лошадь потеряла опору и села на круп, как собака.

— Здоров, Василь! — крикнул я. — Все возишь да варишь?

— А-а, явился на мою голову?

— Как видишь! И не один!

— Здоров, браток! Живой? Хорошо!.. Вожу, как же! Гитлер, чтоб его холера, не сдастся, ничего не поделаешь, надо возить! — беззлобно ворчал повар. Подергивая лошадь за гриву, стал уговаривать:

— Ну-у, Гнедой, я тебе помогу, вставай, чего рассясь!..

Я глазами показал своим людям на сани, и они мигом выволокли их на пригорок.

— Спасибо тебе, Ваня!

— Думаешь, этим отделаешься? Сейчас явемся к котлу, готовься!

Обведя нас озадаченно глазами, повар немного подумал и неуверенно проговорил:

— Да уж приходите, поищу чего-нибудь, перекусите до ужина...

У землянок я чуть не столкнулся лоб в лоб с партизаном, бежавшим навстречу по узенькой, протоптанной в глубоком снегу тропке. Я отступил вбок, но человек, как это иногда бывает, отступил в том же направлении. Мы остановились и посмотрели друг на друга.

— Ванечка, ты уже вернулся?! — слышался радостный до слез голос Стаси.

Она вскинула руки, хотела меня обнять, но вдруг смутилась и куда-то, за спину себе, прокричала, выговаривая на польский манер «уо» вместо «ло».

— Хуопцы, Барташевич из Вильно пришел!

— И не один, как видишь! — показал я на группу обросших и утомленных людей, которые, сбившись в кучу, с каким-то виноватым любопытством посматривали на нас.

И только теперь мы увидели, что некоторые виленцы — плачут от счастья.

Мы растерялись.

— Ну, для вас все плохое уже миновало! — стала успокаивать их Стася. — Тут вам будет хорошо! Вон там ваши уже лагерь семейный устраивают... Ваша группа — пятая за эту неделю!.. Ваня, vedi людей покамест в мою землянку, вы ведь перемерзли... Там и комбриг у меня! Миготом вернусь! Схожу только к суворовцам за аккумулятором, а то скоро сводку из Москвы принимать! Слышал, как наши на Донце жмут фашистов?

— Дозорные кое-что рассказали... А вообще-то уже три недели ничего не знаю...

— Приду, все расскажу! Только отдай мой пистолет. А то все время делала вид, что он у меня, в кобуру насовала индивидуальных пакетов...

— Его нужно почистить.

— Ага, значит, пригодился, стрелял из него?! — и, уже обращаясь к евреям, пожаловалась: — А он все «не возьму-у да не возьму»!

По тону ее голоса, в котором звучал ласковый упрек, я понял, что ей приятно об этом говорить.

8

Оставляя Дануту в комнате с мертвым Станевским, я выбежал на улицу с чувством какой-то неуверенности и сомнения в справедливости своего поступка. Где-то в подсознании засел червячок:

«А может быть, Данута и не такая, как мне показалось? Может быть, Станевский зашел к ней случайно?»

«Ага, случайно! Он же ее муж!..»

«Этого не может быть!..»

«Да ведь она тебе сама сказала!..»

Эти вопросы не оставляли меня всю дорогу, висели надо мной, как комариная туча. И только сейчас, увидев счастливый блеск Стасиных глаз — преданных мне и ласковых, вмиг освободился от сомнений. Со злорадным торжеством произнес:

«Так ей и надо — полицейской подстилке!»

ГЛАВА ШЕСТАЯ

I

В 1943 году немцы подскребли последние свои тыловые резервы, даже гарнизоны на оккупированной территории сократили, и все это бросили на Курскую дугу. Мы вздохнули полной грудью. А потом весть о разгроме немецких армий наполнила нас безмерной радостью. У нас словно устроились силы. Мы стали действовать необычно дерзко.

В один из августовских дней мой взвод вышел на автостраду Белосток — Волковыск и притаился в засаде. Первым показался немец на велосипеде.

— Пропустить! — приказал я хлопцам. — Этого для нас мало.

И немец проехал.

Через пять минут выскочила легковая машина. Ее мы захватили и вместе с двумя офицерами и солдатом-шофером пригнали в лагерь.

И только на допросе выяснилось, что пропустили-то мы как раз самого генерала, которому пришла фантазия прокатиться по свежему воздуху на велосипеде. Но ничего не поделаешь, приходилось смириться. Легковая машина с офицерами тоже не пустяк.

Вечером партизаны, спасаясь от мошкар, теснились у костра возле кухни. Про случай с генералом наговорились так, что уже не ворочались языки. Кто чинил одежду, кто чистил автомат. Повар Василь помешивал в котлах, а его Леник забавлялся немецкими медалями.

— Салам! — лихо приветствовал я компанию, появившись из темноты.

— А, герой! Салют!

— Хлопцы твои еще отлеживаются? — откликнулись голоса, в которых звучало приметное расположение ко мне.

— Я набрал минут шестьсот, хватит! А мои еще добирают. На, Леник, еще игрушек! — я подсыпал мальчику горсть новеньких немецких медалей. — Василь, поужинать оставил?

Повар налил мне котелок горохового супу.

— Что ты мяса так мало положил, жмот?

Я был в том возбужденном состоянии самовлюбленного опьянения, какое бывает временами после удачно выполненного задания, когда кажется, что все тебе позво-

лено, все на тебя не нарадуются и сам ты не можешь нарадоваться своим новым качеством.

— Кому оставил, жила? — полез я с ложкой в котел.

— Не лезь! — замахнулся Василь поварешкой.

— А ну вас! — завопил партизан, которому за шиворот упала горячая капля. — Ты, Бартошевич, еще генерала не поймал, а шуму делаешь на весь лес! Вот не люблю, когда мужик кокетничает!

И в самом деле, чего это я так распоясался? Это не к добру.

Я постарался все перевести в шутку:

— А горох у тебя, Василь, совершенно сырой! Съешь такого, так в животе, что дробь в копилке, будет грохотать! Немцы за километр услышат — тогда мне капут!

Но шутки не получилось, никто не рассмеялся. Сделалось всем неловко.

Выручила Стася. Вынырнув из темноты, она позвала:

— Янка, идите, пожалуйста, покрутите динамку!

— К-гм, к-гм, — слышались многозначительные покашливания, партизаны понимающе переглянулись.

— Может, я покрутил бы?

— О-ей! Сколько охотников, скорей, Бартошевич! Как раз будут передавать про сегодняшнее ваше геройство! — оправдывалась Стася. — Так неужели согласитесь, чтоб кто-нибудь другой крутил?

— Ясно!

— Ясно, что дело темное!..

— А вы чего плачете, герои? — попыталась радистка перевести разговор.

— Известно, не с радости за твоего Бартошевича.

— И не от зависти.

— Всего только из-за комаров и дыма!

— О-ей, бедненькие! — посочувствовала девушка и исчезла в темноте.

Рассерженный на Стасю, что якобы скомпрометировала меня перед хлопцами, я встал с пня, не зная, что делать. Пойти сразу? Скажут — вот, побежал, только поманила! Не пойти?

А если и вправду некому покрутить аппарат?

Мою растерянность использовал Трухан, чтобы овладеть вниманием слушателей.

— Кстати, о комарах, — заговорил он. — Недавно в группу Соколова приходила барышня из Вильно. Комары ее покусали, так до того опухла, что будто на нее пчелы напали! Честное слово! И где только такая выросла?

— А-а, та! — воскликнул второй парень. — Шика-ар-ная! Видел, как десантники вели ее!

— Между прочим, Бартошевич, ихний ездовой Воlessь Лепуха говорил, что она о тебе почему-то выспрашивала.

— Обо мне-е?! — я вперился в Трухана, а ноги у меня начали словно переламываться в коленях.

По лицу Трухана было видно, что он говорит правду.

— Спроси Воlessя, если не веришь! Я сразу хотел тебе сказать, да все не выпадало, тебя где-то носит...

— А куда же он денет радистку теперь? — сострил кто-то. — Отдай мне одну!

Но было не до шуток — я крепко встревожился. Похоже на то, что от себя и от других старался скрыть чувство какой-то вины, знал, что мне предстоит расплата, и — вот, приходит она, никуда не денешься!

Лепуху месяца два тому назад перевели из нашей бригады к десанникам. Он стал у них возчиком. И хоть Воlessь обязан был держать в секрете дела своей группы, он, по старой памяти, часто приходил в бригаду и рассказывал обо всем, что у них делается.

Неужели это была Данута?

Я словно одеревенел. Друзья не заметили моей растерянности. Как раз в этот момент где-то далеко раздались взрывы.

— В конце концов, он такой, что и с двумя справится...

— Тихо! — закричали хлопцы.

Все насторожились.

В направлении, где прогремели взрывы, вспыхнуло зарево ракет. Фронт от нас был еще в сотнях километров, но, вопреки логике, всем хотелось слышать в этих взрывах грохот нашей артиллерии.

— Это чапаевцы, видно, поезд подорвали у Голынки! — разочарованно произнес наконец кто-то. — Утром шли на «железку», когда мы возвращались с задания.

— Должно быть, они, — с сожалением, идущим от зависти, подтвердил другой, тяжело вздыхая.

— Взрывы были. Ракеты пускают. Вон сколько!.. Значит, повезло, хлопцы рванули эшелон по всем правилам!

— Вот где-то там, под обломками, немчики поминают своего фюрера добрым словом, не дай бог!

И партизаны переключились на бодрый тон.

Тем временем я переживал другое. Потрясенному словам Трухана, мне впервые не захотелось идти в землянку к Стасе.

«Что за черт, какая там барышня была у Соколова?» — меня так и тянуло расспросить.

Вместе с нами жило в то время в лесу несколько групп десантников. Каждая выполняла особое, только ей известное задание и свою работу держала в секрете.

Десантники отличались сдержанностью, дисциплинованностью и большей рассудительностью в сравнении со слишком порой расхлябанными, бесшабашными и лихими партизанами. Именовались эти группы по псевдонимам командиров.

От костра я кустами пробрался до места, где размещалась группа капитана Соколова.

Между сосен и елок — три землянки. Шалаш-кухня. Другой шалаш для лошадей, возов и фуража.

Все удобно распланировано, ничего лишнего, дорожки посыпаны желтым песочком и ночью казались белыми.

На бревнах — два силуэта, мужской и женский. Единственная женщина в их группе — радистка — на прошлой неделе погибла в бою, поэтому я насторожился: неужели это и есть Данута?

— Ты это, Ваня? — окликнул меня голос лейтенанта Трешкова.

Я почувствовал, что его лицо в напряжении повернуто ко мне.

— Я, Петро... Здравствуй! — голос мой дрогнул, а ноги словно приросли к земле. — Лепуха твой где?

— Поехал еще днем за Мишей!

— А-а... А капитана вашего нет? — вырвалось у меня.

Командир их был мне совсем не нужен, но ничего другого я сказать не нашлся.

— Пока нет. Садись вон на лавочку, подожди!

Трешков сразу же заговорил с девушкой.

Я весь обратился в слух. Голос лейтенанта надтреснутый, сипловатый от простуды и недосыпания. Соседка его, видимо, совсем молодая. Говорила она мелодично, мило, но это был незнакомый голос. До меня долетел отрывок ее фразы: «Няхай» — так скажет только наша, белорусская девушка. Нет, это не Данута.

У меня отлегло от сердца.

На самом деле, почему бы и не дожидаться Соколова и не спросить капитана прямо и открыто?

Я уселся поудобнее и стал ждать.

Эта девушка не иначе как из Вильно. «Антоколь, Зверинец, Субоч...» — упоминались в разговоре. Очень может быть, что она знает Дануту. Возможно, они дружат? Вот бы расспросить!.. Да ведь она разведчица, не станет с тобой откровенничать!..

Соколовцы считали меня своим человеком, поэтому Петя говорил в полный голос. По обрывкам фраз, по тону разговора я понял, что они ждут какого-то важного известия. Вот их разговор:

— А вы, Петр Дмитриевич, научили меня так, как надо?

— Не сомневайся!.. Ну подумай сама. В головах мину класть нельзя, потому что взрывом только подбросит подушку, и все. Ее не каждая пуля пробивает! Ты не в головах подложила? Под матрац положишь — матрац спасет!

— И это помнила! Я ему под перину сунула!

— А перед тем детонатор всадила в мину?

— Он еще не влазил, так я по нему щеткой разок стукнула...

— Вот это ты зря! Нельзя ни в коем случае этого делать! Благодарю бога, что не взорвалась в руках. Неважно, что до конца не влазил, все равно бы сдетонировал!

— Но я его вогнала на место!

— Следовательно, детонатор запихнула и дырочки сошлись?

— Что-о-о?

— Дырочки в детонаторе и mine сошлись?

— Ой, ой, дайте яду!

Было видно, как ее темная фигура зашаталась в отчаянии.

— Ой, я-яду мне! Убейте меня, задушите!..

— Дай слово сказать!

— Сколько готовились, сколько жертв ради этого проклятого ляйтера, и все пропало из-за каких-то дурацких дырочек! Ой, ой, не выживу!

— Дурочка, не вопи! При чем тут дырки? Мина все равно сдетонирует, только бы...

— Мамочки-и-и!..

— ...Только бы взрыватель прикоснулся к толу, этого уже достаточно!

— Ой, и слушать ничего не хочу-у! Вы мне про них не го-во-ри-ли! Никаких там дырочек не было! Я о них ничего не знала! Я же вам твердила не раз, что для этого дела не годюсь! Ой, дура я, дура, зачем согласилась?

— Прекрати истерику! Успокойся! Вот тебе другой взрыватель. На, и взведи его тоже!

— Я на него и глядеть не хочу!

— Бери, приказываю! Вот та-ак!.. Еще тyani, не бойся! Вот молодец!

Теперь мы положим его под сосну. А через полчаса, увидишь сама, взорвется!

— Не взорвется!

3

Охая и держась за голову, девушка потащила в землянку. Петр подошел ко мне. Хлопцы у десантников — как на подбор, а Трешков ростом с меня. Он весь дрожал словно в лихорадке и жадно курил. Тихим от волнения голосом произнес:

— Отважная дивчина! Черту голову свернет! Служила у немцев официанткой. Попросила дать ей задание. И потребовала — самое опасное. Мы и дали. Вчера подложила одному типу мину в постель. Не было возможности смотаться, так тяпнула себя тесаком по пальцу и выбежала, якобы к доктору на перевязку. И — к нам! Ехала попутными немецкими машинами... Да вот что-то сообщений нет: взорвалась ли? Мина английская, черт ее знает... Уже сутки ждем. Соколов пошел даже к соседям, запросить по радиации Москву, может, там знают. Плохо без своего радиста...

— На кой дьявол вы занимаетесь этим? Ну, гробанете этого, взлетит в воздух еще один бонза из гестапо или СС. И что же? Гитлер заменит его новым! А сколько невинных людей немцы за это расстреляют! Так хорошо наладили связь с городом, а после взрыва полетит все вверх тормашками, изволь начинать все сначала!

— Эх, Бартошевич, а еще — командир разведки!..

— Ты не читай мне морали! Нам, разведчикам, из-за вас потом больше всех достается!

— Потерпите, на то и война! Зато как лупанем такого ляйтера, так потом каждый ихний солдат подумает: э-ге, дела швах, если даже до таких добираются! И почувствует, что земля у него горит под ногами. Знаешь, как это морально действует на армию, как ее разлагает?

Я спорил сейчас с Трешковым просто потому, что было неловко молчать.

— Сколько таких наши повзрывали, и холера их не берет!.. Что еще у вас новенького?

— Не везет нам, вот что! То радистка напоролась на полицаев, то Воронов на «железке» попал под обстрел...

Черт его знает, что на нас навалилось! — огорченно произнес он и вспомнил: — Да ты слышал? Наконец-то мы наладили отношения с Армией Крайовой!

— Тпр-р-р, холера, волчья шкура! Стой, говорю! — послышался голос Лепухи.

К шалашу подъезжал дядька. Хоть и было темно, но я различил торчавшие с воза неподвижные ноги покойника.

Так вот за каким Мишкой ездил Лепуха!

Трешков сразу забыл обо мне и быстро подошел к повозке. Было слышно, как он шуршит брезентом, отгибая полотно, как говорит ездovому:

— Давай оставим его, Воlessь, на ночь на дворе, а?

— Ну да! — из-за лошадиной спины возразил тот.

— Ему тут лучше, на воздухе!.. — оправдывался лейтенант. — Завтра днем похороним...

Лепуха понес в землянку хомут и вожжи. Проходя мимо меня, он, как и полагается в такую минуту при мертвом товарище, не поздоровался. Только покачал головой, вздохнул и пожаловался:

— И когда все это кончится, скажи мне ты?

Вскоре вернулся и сам капитан. Еще издали бодро прокричал:

— Трешков, Маруся! На выход, ребята! Ах, вот вы где! Слышали? Так слушайте в оба уха! Разорвало вашего крестника на кусочки!.. Траурные флаги по всему городу!.. Черный из города передал по радиии!

Трешков хлопнул девушку по плечу:

— Вот тебе и дырочки! Знаешь, как ты мне испортила настроение? Чуть себе пулю в лоб не пустил!

— А мне, думаете, легко было?

— Хватит вам, дети, счеты сводить и пререкаться, радуйтесь! Лепуха, достань нам пол-литра, помянем фашиста, царство ему немецкое! И Бартошевича, конечно, возьмем в компанию!..

— Товарищ командир... — виновато и мягко перебил его ездovый. — Я только что Мишу Воронова привез.

— Да-а? — сразу посерьезнел капитан.

— Вон, на повозке!

Соколов посветил фонариком, и мы посмотрели на десантника.

— И надо же было напороться как раз ему! — вздохнул Лепуха. — Эх, Михаил, Михаил, как это пережить твоей Лиде из отряда?!

— Разрывной, сволочь, в самый висок попал! — капитан отхилил солому и осмотрел рану. — Что теперь отцу

сообщить на Урал? Профессору дал слово присматривать за ним, как за своим сыном...

— Слишком низко голова лежит! — не слушая капитана, Трешков подsunул под затылок другу солому.

— Ему теперь все равно.

В этот момент рядом трахнуло так, словно разорвалась ручная граната. Сверкнула вспышка, сильно запахло серой. Все мы вздрогнули, машинально схватились за пистолеты. Из землянки показалась перепуганная девушка.

— Отбой! — первым пришел в себя я. — Петро, ты клал под сосну взрыватель?

— Тыфу-у, мать его... — выругался Трешков с облегчением и достал из кармана часы.

— В чем дело? — поинтересовался капитан.

— Все в порядке, командир. Взрыватели не наши, заграничные. Я уже думал, что испорчены химикаты, решил проверить. Оказывается, молодцы союзники! Взорвалось точно через тридцать минут, как положено было ей взорваться! Что, разве я тебе не говорил, Маня?

И опять никто на меня не обращал внимания.

Я проникся уважением к этому маленькому коллективу героев-профессионалов. Их группа порой делала больше, чем несколько наших бригад. Я им позавидовал.

— Бартошевич, когда ты идешь в разведку? — обратился ко мне капитан.

— Немедленно. По железной дороге немцы начали возить какие-то бутылки. Москва приказывает проверить: не готовятся ли они, часом, к химической войне.

— Это и нас интересует. А еще стали чего-то ходить поезда с тюками прессованного сена. Зачем немцам столько сена там, где нет у них никакой кавалерии?

— И про сено знаю. Связные мои уже действуют.

— Маруся с тобой пойдет. Ей как раз в ту сторону. Тебе на Виленскую дорогу? Мои люди все заняты. Возьмешь ее с собой?

— Конечно! — обрадовался я возможности поговорить с девушкой. — Ну, до свидания.

4

Мы с Марусей шли первыми, за нами — хлопцы. Она шагала бойко и легко, как девочка, но все время оставаясь серьезной. У дороги на поляне стоял дикий козел и любопытными глазами рассматривал нас. Потом рассерженно топнул ногой, брехнул.

— Не узнаешь? Привет! — крикнул я. Козел еще раз брехнул, перепрыгнул елочку, хотя, казалось, куда легче было ему ее обойти, и исчез так стремительно и незаметно, что не шелохнулась ни одна веточка.

Марусю не развеселила даже эта идиллия.

Я заглянул в корзинку соседки. Там была ноша типичной спекулянтки военного времени: нитки, иголки, сахарин, немецкое мыло из глины, кусочек скверного сала. А на дне проблескивали черным лаком магнитные мины. Из-за Дануты я был к ней излишне внимателен.

— Надо прикрыть получше! — неодобрительно покачал я головой.

— Есть еще время, — ответила она беззаботно. — В какой-нибудь деревне добуду сыра и еще чего, прикрою...

Показались девчата с обвязанными дерезой корзинами. Губы и пальцы их — будто в фиолетовых чернилах.

— Красавицы, дайте ягод! — задержал я их.

Девчата часто дышали от испуга.

— Толстушки, а такие скупые! Чтоб вас лесовик наказал!

— Ой, дяденька, подставляйте шапку, только снимите проклятье! — подхватила уже игру одна.

— Испугались, ага-а!.. С тебя — снимаю!..

Все рассмеялись и начали вытрясать кошелки.

Девчата ушли, а я остановил Марусю и присыпал мины ягодами:

— Не надо, чтобы чужие глаза это видели!..

— Угу, — согласилась она равнодушно.

Девушка никак не давала втянуть себя в разговор.

Маруся была невысокой, шупленькой, лицо бледное, тонкие губы. Черные глаза смотрели исподлобья. Разгоряченная ходьбой, она чуть порозовела. Коротко подстриженные волосы ее ветер сбил набок, она их не поправляла, инстинктивно догадываясь, что это ей к лицу.

Воротник серого ее плаща был приподнят и плотно застегнут под подбородком, отчего при разговоре ей было неудобно поворачивать голову. Когда нужно было обратиться ко мне, склоняла голову к плечу и поднимала глаза — выходило это у нее очень мило.

Беззащитная и слабая, она шла в самую пасть врага, ей было не до меня. Лезть к ней с расспросами, мало-значительными по сравнению с ее заботами, нелепо. Разведчица была из тех людей, которым ничего не стоит человека малознакомого язвительно обрезать:

«Слишком ты, братец, любопытен. Какое тебе дело до моих виленских знакомых?»

Я старался себя убедить, что Маруся такой же человек, как и я, да к тому же ее, женщину, должна заинтересовать моя история. Может быть, у нее явится желание помочь мне...

Наконец, наступил момент, когда я освоился с разведчицей и готов был уже начать разговор. Но вдруг меня снова заело самолюбие.

Вспомнил фото Дануты со Станевским. Вспомнил самоуверенного Генрика на квартире Янковских. А ее шашни с Любецким?.. Во мне заговорила гордость. После всего, что произошло, начну опять завязывать отношения с генеральской дочкой! Ни один человек не обидел меня так, как эта паненка! И вообще хватит о ней думать!

У Маруси я так ничего и не спросил.

Однако невольно думать о Дануте продолжал. Где-то глубоко таилась слабая надежда, что, когда разведчица вернется в Вильно, Данута сама будет расспрашивать ее обо мне, как и во время своего посещения группы Соколова. Словно прячась от самого себя, я тем не менее старался изо всех сил, чтобы Марусе, на всякий случай, было о чем рассказать.

Вскоре мы расстались, чтобы уже никогда не встретиться.

5

Моя мама, чтобы собраться с мыслями, обычно садилась вязать чулок. Отец в таких случаях брал топор и дотемна упрямо рубил дрова. А чем заняться партизану в таком случае?

Пошел я в лес, отковырнул финкой кусок коры от старой сосны, присел на пень и стал строгать. Мысли потекли без системы и связи. Постепенно главное, что лежало на сердце, вытеснило временное.

Вот гоняюсь за призраком дочери генерала, как Дон-Кихот за Дульциней, и не вижу, что творится под самым носом. А как невнимателен к радистке — с первых дней нашего знакомства и до сих пор. Для ребят же она — волшебница, которая владеет рацией и разговаривает с Москвой.

Сдержанная и волевая обычно, Стася, увидев меня, тушевалась и начинала разговаривать с людьми чуть ли не шепотом. Готова была выговаривать всем за невнима-

ние ко мне. Я же веду себя с ней как когда-то с Данутой. И сколько можно это терпеть? Долго ли это может продолжаться? Что я за принц? Разве мало у нас хороших парней? Чем хуже, например, Виктор Кучерин?..

Группа партизан привела из-под Вильно однорукого летчика. Его вылечили польские крестьяне. Виктор сразу стал общим любимцем.

Меня грызла ревность, что он летчик, что у него синий комбинезон и планшет авиатора с разноцветной картой за целлулоидом. Этот Кучерин глаз не спускал со Стаси...

Возбужденный, я поднялся и пошел в лагерь.

По пути посмотрел на свое творение с коры. Выступавший корабль с мачтами и якорем — будто пароходик, которые плавали когда-то в Вильно.

— От черт?! — искренне удивился я.

Оглянувшись, куда выбросить игрушку, но пожалел.

Под можжевельником росли фиолетовые колокольчики, я свернул с тропинки.

...У землянки радистки — ни души. Вместо дверей висела занавеска из марли от комаров. Занавеска чем-то напоминала родную, милую Стасю. Я проникся к ней сердечной благодарностью за ее упрямую заботу и доброту, захотелось сделать для нее что-то хорошее.

Осторожно отвернув марлю, я нырнул в землянку, поставил на зеленый металлический ящик корабль и положил колокольчики.

6

От землянки я направился на кухню.

У шалаша — веселая компания. Хлопцы с похода приносили огромный чайник самогона и теперь «заправлялись» перед обедом. Кучерин, определил я по голосу, был центром внимания. Кричал:

— Стася, за твоё здоровье, девочка!

— Все равно получите только по одной миске! — смеялась она, подавая через головы еду.

— Согласен, но только — из твоих ручек! И наливай уж такую, из которых поят лошадей!

— Поварешкой пусть хлебает, подай!

— Полундра, начальство появилось!

— А мы задание выполнили и сейчас сами себе начальство!

— Янка, подсаживайся, нацедим и тебе!

— Попробуй и ты чайку! Птичьего молока!

— Вы лучше деньгами выдайте мою долю!

— Рублями, марками?

— Все равно! Стася, привет!

Оживленная, она только блеснула в ответ счастливыми глазами и легко понеслась к котлу, совершенно не стесняясь своего не совсем складного вида: на ней было шелковое платье и кирзовые сапоги. Но сегодня ее будто подменили. Смелая и уверенная, девушка вся словно светила. Я настороженно присмотрелся к ней, глянул на золотые погоны капитана, выглядывающие из-под нового комбинезона.

Кружка была одна, ходила она по кругу, а наполнял ее Кучерин:

— Хочется и ему, конечно, но начальству надо соблюсти фасон, показать пример. Эх, доля командирская!.. Я не захотел бы такой славы, лишь бы только... Стася, твоё, деточка, драгоценное!..

Его подковырки по моему адресу девушке не нравились.

— Что-то вы слишком часто пьете за моё здоровье, — попрекнула она. — Так и своё можно пропить!

Глаза ее светились тихой радостью, и она была под впечатлением какого-то только ей известного, приятного секрета. Выходит, это не из-за Кучерина! — отлегло у меня на сердце.

— От дае-ет! — восхитился летчик.

Ребята неуверенно рассмеялись.

Ох, как ненавижу это выражение!..

— А меня ты, наконец, накормишь?! — напомнил я о себе.

Перехватив мой взгляд, Стася будто заглянула в душу. И мне показалось, что все вокруг исчезло, а в шалаше — мы только вдвоем. Растворилось моё одиночество. Куда-то подевались все мои переживания. Стало на душе спокойно. Я весь наполнился уверенностью.

Подавая глиняную миску, она вдруг обнаружала в борще разваренную сосновую шишку и виновато воскликнула:

— О-ей, налью другую!

— Ничего, так вкусней будет! — успел я схватиться за край посуды.

Стася рассмеялась.

— Правда, правда, вкусней, — не знала разве? Это же початок кукурузы, приглядишься!.. А ты сама обедала уже? Давай вместе! Бери ложку!

Радистка под села и тихо прошептала:

— А я знаю одну тайну!

— Ну-у-у?! — я почувствовал, как от ее счастливого взгляда и меня охватывает радость.

— Пошла на озеро прополоскать гимнастерку, а меня все что-то тянет домой. Влетела в землянку и сначала со света ничего в полумраке не разобрала. Только интуитивно поняла, — тут кто-то был.

— И сколько нас было? Долго будешь выкать?! А помнишь, надо мной издевалась, когда забирал тебя с аэродрома?

— ...Был — ты?.. Гляжу — на рации!..

— Довольна подарком?

— Очень!

— Прими его на здоровье!

— А в последнее время так тяжело было на сердце, что уже решила — просить чтоб перевели в другое соединение.

Я представил себе жизнь без Стаси и даже похолодел.

— В другое?!

— Аг... — Горло девушки перехватила спазма, глаза наполнились слезами.

— Извини, Стась...

Я почувствовал, как грудь мою наполняет счастье. Мне стало так хорошо, как бывало только в Вильно.

Дней через десять я направился к десанникам, чтобы для очистки совести расспросить Соколова.

Но землянки опустели. С неделю назад, как оказалось, группа направилась всем своим составом в Пруссию.

— Осталось только их повариха. Она в семейном лагере! — подсказали соседи.

Я разыскал эту женщину.

Действительно, недавно десанники Соколова привели из Вильно какую-то барышню. Она разговаривала на смешанном польско-русском языке и в лагере пробыла только с утра до вечера.

Женщина хорошо запомнила незнакомку — ее так искушали комары, что поднялась температура и медсестра делала ей какие-то уколы.

— Сколько живу, первый раз вижу, чтоб человек так боялся комаров! — удивилась повариха.

— А вам с ней разговаривать не приходилось? — поинтересовался я.

— Ой, нет! Сколько людей к десанникам приходило, — ни с кем не вступала в разговор. Нельзя было! Я ж служила у таких секретных людей!.. Я и вам говорить про это не имею права, да ладно уж, как вы свой человек...

— Значит, не разговаривали с ней?! — вздохнул я.

— Нет. У нее с Соколовым были какие-то секреты, все обсуждали что-то. Девушка и не показывалась весь день из землянки...

Больше ничего я не узнал.

Уходя от старухи, я постарался себя утешить: Соколов мне сказал бы небось, если бы спрашивали обо мне.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Но если бы вся история с генеральской дочкой так просто окончилась, я бы ее и не рассказывал. В том-то и дело, что на этом еще не конец.

Прошло пятнадцать лет. Я давно уже женат на бывшей партизанской радистке Станиславе Эдуардовне Дворецкой. У меня два сына. А живем мы в Гродно.

Пришли новые времена. Душа моя успокоилась. Я — человек, о котором говорят, что вот, мол, достиг кое-чего в жизни и счастлив. Меня ценят на работе. Я неплохо зарабатываю. Живу в удобной квартире. Но я не из тех людей, для которых хорошая зарплата, удобная квартира и удачная женитьба — цель жизни. Все это пришло ко мне как-то само собой, между прочим.

Я замечаю, что остепенился. Уже не так подпрыгиваю от радости и не так часто теряю равновесие из-за пустяка.

Мне уже не безразлично, спать на левом или на правом боку, идти по лестнице вверх или вниз, не бегаю уже через три ступеньки, а когда в поле встречу на пути изгородь, то лучше ее обойду, но перелезть не стану. А в общем-то я остался, вероятно, таким же, как был.

Мне, например, самое большое удовольствие доставляет сообщение, что именно наш спутник первым достиг Луны или что какая-нибудь страна в Африке опять получила независимость, и уже личная трагедия для меня — что какой-нибудь бюрократ загубил полезное начинание. Не могу смириться, что еще полно подхалимов, бездельников, пьяниц, разгильдяев, что есть лодыри, воры и бандиты.

Я уверен — случись только какая беда, война, например, так я, хоть с болью в сердце, но сразу и без колебаний оставлю и семью, и достаток, и размеренный быт, чтобы снова пойти сражаться за дело, которое с

детства стало моей совестью, законом жизни, нормой моего поведения.

Одним словом, я — из миллионов людей того поколения, которому довелось закаляться в горниле исторических событий, самоутверждаться через социальные и общественные достижения, у кого все это отождествилось с собственными успехами.

Но есть у меня и слабость. Одна из них, как и прежде, — генеральская дочка. Хотя я слышал из ее собственных уст, что она — жена полицака Станевского, но в ее словах находил какую-то недоговоренность и себя утешал — это недоразумение.

Прошло столько времени, а о Дануте я не забыл. Ибо может ли инвалид забыть отнятую ногу? Она ему снится, «болит», «зудит» и «чешется».

Что ж, правду люди говорят, первая любовь — резьба по камню.

Не раз подшучивал над собой:

«Если бы не Павлов открыл условные рефлексы, их открыл бы, вероятно, я». Стоит услышать где-нибудь имя «Данута», весь так и встрепенусь.

А у нас на Гродненщине каждая третья, как назло, — Данута.

Хоть я ни на минуту не забывал о ней, но до последнего времени ничем себя старался не выдавать. Казалось, мне это удастся. Сажу, например, с женой дома, и вдруг у меня срывается — «Дануся!». Вырвется слово, и уже его, как говорится, не поймаешь. Тогда я торопливо выпаливаю какую-нибудь немецкую фразу, чтобы слово потонуло в ее потоке, и прикидываюсь:

— Ты смотри, я уже забыл даже, как правильно построить простую немецкую фразу!

— Ну да, — сочувствует мне моя Станислава Эдуардовна. — Иностраный язык, если не практиковаться, забывается быстро!

— Надо бы взяться за немецкий.

— А ты не ленись, что тебе мешает?

Особенно вспоминаю Данусю, как повздорю с женой. Вопреки очевидным фактам и логике, образ Дануты вырос в моем воображении в идеал совершенства и красоты. Это превратилось у меня в какую-то хроническую болезнь. Я уже не раз думал, не сходить ли мне к психиатру. И не шел, только боясь, чтоб не узнали о моей тайне.

Правда, все это не мешает мне любить жену. Мы с

ней живем душа в душу. Если не считать генеральской дочки, я не имею секретов от нее, а она — от меня. Это настоящая любовь или я приспособился, как приспособливается инвалид ходить на одной ноге? Кто знает.

Встреча с князем в загородном автобусе меня тревожила. «Неужели Дануту казнили из-за меня?»

А недавно я совершенно случайно встретился с бывшим нашим партизаном. После того, что он мне рассказал, я потерялся окончательно. Но не стану забегать вперед.

2

На днях — забыл сказать, что работаю инспектором облоно, — поехал в далекий район проверять подготовку школ к новому учебному году. Приближалось время летних экзаменов, и директорам было не до меня. За несколько дней объездил все школы, более или менее все выяснил и мог уже возвращаться в Гродно.

Стоял конец мая, кругом была такая красотища, что, казалось, не наглядеться, не надышаться.

Побывав у районного начальства, побывав и в столовой перед дорогой, после нескольких дней, проведенных на свежем воздухе в такой благодати, я почувствовал себя бодрым, а в сердце было столько доброты, хоть ты раздавай ее пригоршнями. Я был весь, как хорошо настроенный музыкальный инструмент: тронь только — и заиграю.

— Эй, начальник, подожди! — окликнул меня кто-то.

Я даже вздрогнул от неожиданности и оглянулся: меня нагонял Виктор Кучерин.

Только это был не тот Кучерин — с сиянием золота на погонах и в блеске славы. Этот казался даже меньше ростом, а по его виду можно было определить — он только что очнулся после очередной попойки. Волосы у него были взлохмачены, лицо — изможденное и серое, засаленный пиджак неопределенного цвета с отвисшим пустым рукавом висел, как на пугале.

— Витя?! — искренне обрадовался я, бросаясь ему навстречу.

— Как видишь, — протянул он мне левую руку.

— Здоров, Витька! — все еще не мог я прийти в себя от приятной неожиданности и неловко пожал своей левой рукой его левую, как привык здороваться с ним еще в лесу.

Все это подбодрило Кучерина, и он осмелел:

— Привет, привет, областной начальник! — сказал он как-то с упреком, скептически оглядывая меня с ног до головы.

Странно — мне стало неловко от того, что я побритый, подтянутый, жизнерадостный...

Но это продолжалось не более минуты. Я рассердился: а что тебе мешает быть таким же? Сколько раз в послевоенные годы я унижался из-за тебя, замаливая твои грехи, ручался за тебя головою; мол, возьмешься за ум и перестанешь пить.

— В шля-апе, с новеньким портфе-елем, — как министр! — добавил он и сплюнул: — Тьфу... вашу мать!

Меня всегда удивляет, откуда у алкоголиков такая странная философия: их всегда раздражает пристойный вид других людей. Они словно щеголяют своей неряшливостью и, согласно своей дурацкой теории, весь мир хотят видеть огромной помойкой.

— Ну, как живешь? — сразу потеряв к нему интерес и чувствуя только жалость, спросил я.

— Живем — хлеб жуем, — кисло усмехнулся он, доставая мягкую пачку дешевых сигарет.

— Рассказывай, где ты теперь, что поделяешься? — спросил я, хотя мне все о нем было известно. Сперва работал он даже заместителем председателя райисполкома, потом стал запивать, катился все ниже и ниже. За эти годы успел несколько раз жениться.

— Где? Вот уже третий месяц кочегарю в больнице! — ответил он раздраженно, словно говоря этим, что вот, мол, сидите себе там в области на тепленьких местечках, черт вас побери, а о товарище забыли.

Витя, Витя, славный сокол, зачем ты отклонился от своего курса?!. Эх, недоглядел и я, как тебя понесло!.. Потому что, дурень, очень уж преклонялся перед твоей профессией! А может, слишком был занят своими делами?.. Да, в конце концов, человек в первую очередь отвечает за себя сам.

Жалея его, я мучился, не зная, что и сказать.

Кучерин закурил, швырнул пустую пачку на тротуар и с вызовом спросил:

— Ну, что, так и будем стоять и молчать?

— Гражданин! — укоризненно произнес шедший мимо опрятный старик. — Куда вы бросили пачку? Ведь вот же рядом урна!

— Та-ак? А я и не знал, что вы тут лакеем служите, вот и подберете! — обрезал его Виктор.

— Витя?! — взмолился я и взглядом попросил старика: мол, ладно, не обращайтесь внимания! Затем поднял пачку и опустил в урну.

— Что, компрометирую? — с обидой подчеркнул Кучерин. — А мы люди темные, живем в захудалой провинции, столичного лоска не знаем!

Из горького опыта я знал, что в таких случаях никакие разумные доводы не действуют.

— Давай лучше пойдем да перекусим!

— Пошли, черт с тобой! Ты начальник, рубли водятся, веди! — переменялся уже он.

3

Мы сидели в ресторане, и Виктор все насмехался, что я не ем, потому что не выпил, а кто не пьет, тот неполноценный человек, ибо не знает настоящей жизни.

Чудеса! Это он ее знает?!

Я смотрел, с какой жадной дрожью в руках Виктор опорожняет рюмки, и думал, что и в употреблении спиртного должна быть граница, переход которой равнозначен самоубийству. Виктор эту запретную зону перешел и в сорок лет превратился в погасший вулкан.

— Ну, а твоя полечка как поживает? — не очень выбирал он слова. Отхвати-ил кусок, ловка-ач!

— Чего же ты зевал?

— Гм, влазить тебе поперек? Я не такой! Черт с тобой, пользуйся, и знай наших!.. Тогда выпьем за нее!

— Извини, уже сегодня выпил свою порцию.

— Все хитришь? Выслуживаешься перед начальством? Боишься, чтобы не было пятнышка на биографии, чтобы не донесли на тебя шавки-подхалимы! За меня будь спокоен — могила!

Я и это вытерпел.

— Все равно не будешь? Ну, как хочешь, мне больше останется! Тогда — ешь!.. А правда, у вас интеллигентные желудки, разные диеты, печени...

Где он живет? Кто стирает ему белье?.. Однако кто-то его обстирывает, терпит. Он даже, может быть, по вечерам играет с детьми — своими или чужими...

Захотелось узнать о нем подробнее, но при его безалаберной жизни рассказывать ему о себе, вероятно, было бы тяжело, и я не стал его мучить. Только показал на пустой рукав и поинтересовался:

— Витя, ты никогда не рассказывал мне, где тебя стукнуло... В самолете?

— Вот то-то и обидно, что на земле! — задумался он. — В лесу напоролся на гадов-лесников, — Кучерин тяжело вздохнул. — Спасла немецкая переводчица из Вильно, дай ей бог здоровья и хорошего парня в мужья... — Глаза его потеплели вдруг, и он на какое-то время стал опять обыкновенным, славным хлопцем.

— Курносая! — крикнул он официантке. — Подай, детка, папирос!

— Переводчица? — укололо меня внезапное предчувствие.

— Ну да.

«Мало ли в Вильно во время оккупации было переводчиц-полек, спасавших наших людей?» — успокоил я сам себя.

— Сбили меня под Гродно, — жадно глотая дым, начал Кучерин.

— Приземлился на чьем-то огороде. Светло, месяц светит во всю морду!.. Отцепил парашют и — ходу! Был у меня только пистолет. Зашел в какую-то хату. Хозяин дал на дорогу сала, торбу квашеной капусты, солдатское одеяло, спичек, табаку, и я подался на восток. Пробирался ночью. Днем отсиживался в чаще и дрожал: мокрень, холодина и слишком длинные дни — мои враги. Партизаны, как назло, никак не попадались.

Еда скоро кончилась. Одежда которой день не просыхала. Вылетит птица, вздрагиваю. Из-за каждого куста так и жди опасности. Одним словом, положение — аховое.

На вторую неделюхватила меня вдобавок еще и лихорадка. Ослаб совсем, думал — капуг!

И вот однажды кто-то толкает меня в бок. Проснулся и долго не мог прийти в себя. Лежу у шоссе, между свежими штабелями дров. Как сюда забрался, не могу вспомнить. Вижу перед собой двоих с винтовками, да никак не могу смекнуть, зачем они тут, только прошу: «Воды!»

«А ну, хватит вылеживаться! — сердятся они и опять тычут винтовками. — Вставай, сталинский холуй!»

Сперва думал, что это партизаны. Когда сказали «сталинский холуй», понял — лесники! Одного уложил сразу. Другой выстрелил в меня, перебил кость правой руки и отскочил, падлюга, за дерево.

И вот началась между нами дуэль. Он из винтовки, я из пистолета. Оба горячимся. К тому же с левой руки целиться неудобно. Он, гад, прострелил мне еще и грудь. Наконец, вышли у меня патроны. Но, видно, кончились

и у лесника, потому что он бросил винтовку и побежал. А у меня не было уже сил перезарядить пистолет, сомлел.

Очнувшись в деревенской избе. Надо мной склонился доктор и делает вливание крови, а я трясусь, весь в холодном поту. Правой руки, смотрю, уже нет... Ну, а через месяц проходила группа, и меня подобрали ваши хлопцы...

Виктор жадно затянулся. Погасив окуроч, он продолжил:

— Очнувшись, поинтересовался, каким образом очутился в избе. Мне рассказали. На шоссе лесник остановил первую же немецкую машину и стал объяснять, что в лесу лежит советский десантник. С немцами ехала переводчица. Она перевела немцу, будто в лесу сосной придавило рабочего и нужна скорая медицинская помощь. Лесник, разумеется, не понимал, что она говорит. Немец посадил его в машину. Через час девушка возвратилась с доктором-поляком. Куда исчез лесник, — тайна. Меня перевезли в деревню, оттяпали руку...

— А переводчица какая из себя? — спросил я и замер.

— Не видел. Был без сознания, когда она приезжала. Доктор несколько раз наведывался, говорил, что девушка — дочь польского офицера и я должен за нее всю жизнь молиться. Я спросил, как ее имя. «Конспирация!» — рассмеялся он. А хозяин избы утверждал, что красивая. Впрочем, польки все ничего себе...

— Не дочь генерала? А когда это произошло?

— В марте сорок третьего...

— Ты хорошо помнишь? — не спросил, а, скорее, попросил я с искрой надежды, хоть и сам хорошо помнил, что Кучерин пришел к нам спустя полгода после того, как я стрелял в Дануту.

— Такие вещи, брат, не забываются, будь спокоен.

— А в какой деревне живет дядька?

— Под Вильно. Ездил туда после войны — не застал. Не с кем даже было выпить... Выехал он в Польшу.

— А почему тебя вся эта история так интересует. Ты что-нибудь знаешь?

Я перевел разговор на другую тему.

4

Вернулся я из командировки.

Подала жена мне обед, сел есть, ничего в горло не лезет. Включил телевизор. Идет фильм с Татьяной Самой-

ловой, а у меня перед глазами иное. Выключил. Пристали с какими-то вопросами дети, я их прогнал. Жена купила новую пластинку «Аве Мария» Баха (когда-то не любил классической музыки, по молодости лет), но на этот раз и классическая музыка не успокоила.

— Что с тобой, Янка, нездоров ты, что ли? — встревожилась Стася. — Может, на работе какая неприятность?

— Выдумай еще!..

— Так чего же ты?

Я передал все, что поведал мне Кучерин.

Стася промолчала. Потом как-то подозрительно произнесла:

— У меня три урока в восьмом и девятом. Я иду теперь в школу. Ровно в семь часов встретишь меня у магазина «Колос» и поможешь кое-что тащить.

И вечером мы с женой выходили из магазина. Я нес пачки, кулечки и ожидал бури за свое признание.

— Пожалуйста, проходите! — в дверях пропустил какую-то женщину, остерегаясь, чтобы она чего-нибудь не выбила у меня из рук.

— Благодарю! — обласкала меня благодарным взглядом симпатичная молодичка и прошмыгнула.

В предчувствии я не ошибся. Буря вскоре грянула. На улице жена дернула меня за рукав:

— Куда это ты так прешь?

— Да за моей спиной тебя не так будут толкать, Стась!

— Что-то уж очень заботлив ты стал в последнее время! — с болезненным раздражением заметила она. — Жди, жди его у магазина, торчи у всех на виду...

— Так ведь это не ты меня, а я тебя ждал, Стась! Ты мне что сказала? Прийти ровно в семь, а сама явилась в половине восьмого, на целых полчаса опоздала! — опешил я от несправедливости.

— Ага, ты меня ждал потому, что я тебя должна была ждать, какая разница!

— Ну и логика у тебя, не дай бог! — пожал я плечами.

— Поработай в школе, тогда посмотрим, какая у тебя будет! Подумаешь, подождал немножко, так уже стонет, ноги у него, видите ли, отвалились!

В последнее время Стася стала очень нервной, и малейший пустяк выводил ее из равновесия. Что ж, на то были причины. После войны нам с нею немало пришлось пережить. Почти на одной стипендии кончили институт. Поженились — ни квартиры, ни одежды, ни ложки, ни миски. А тут дети. Фактически стали мы на ноги в последние

несколько лет. На мне все это не оставило и следа. А ей, бедной, досталось. Одни дети сколько стоили сил и здоровья. Я жену понимал и старался избавить от лишних волнений. И вот надо же было передать кучеринский рассказ, разбередить старую рану, будто не знал, что из этого получится.

— Зайдем в универмаг, посмотрим тебе туфли! — чтоб как-то отвлечь ее, предложил я.

Но Стася прошла мимо, даже не взглянув на витрину. Фу-ты, вот еще не было печали!

Запертые в квартире сыновья-дошкольники обрадовались нашему приходу и бросились навстречу:

— Что купили? Семечки? Ура-а-а!

— Не лезьте! — турнула их мать.

Та-а-ак, дело дрянь.

Я днем слабо пообедал, и мне захотелось есть. Позвал на кухню ребят, разогрел суп, застлал столик бумагой, поставил на него миску.

— А ну, хлопцы, давайте подрубаем. Только из одной посуды, по-партизански, идет? Стась, идем до ужина перекусим!

Садимся за стол.

— Что ты мне все кулаком в лицо тычешь? — ворчит она. — Не мог разлить в тарелки? К чужим ты заботлив, что и говорить!

— Я хотел, чтобы тебе меньше посуды мыть. Да и к кому я более заботлив, чем к тебе?

— Небось видела, с какой галантностью расшаркивался перед красавицей в дверях магазина: «Пожалуйста, проходите!..»

Я бросил ложку, лег на диван, подложил руки под голову и уставился в потолок.

Говорят, муж и жена — самые близкие люди. Это — так. Но почему никто не скажет правды, что они одновременно могут быть — самые далекие. Есть вещи, о которых запросто расскажешь чужому человеку, а жене — ни за что.

Подошел старший сын, протянул в ладошке семечки и сочувственно предложил:

— На, татка...

Я зашелкал.

— Ты почему соришь на пол? — увидела Стася.

— Хорошо, буду на потолок!

Я отвернулся к стене. Нет, хватит с меня!.. Чем я виноват, что на свете была такая Данута Янковская, что

от царя Гороха существует любовь, поэтому я влюбился?

Через несколько минут жена опомнилась:

— Янка, и не стыдно тебе так без дела валяться

— Очень! Сейчас возьмусь за дело — спать буду.

— Хлопцы, а ну, стаскивайте с отца туфли!

Лежу и не обращаю внимания на то, что ребята вытворяют с моими ногами.

— Стащили? Вот молодцы! А теперь бегите на улицу, поиграйте себе!

Дети выбежали, и она оповестила:

— Сегодня воспитательница рассказала, что старший приходит в детский сад и все время держит руку за воротом. Говорит — она у него сломанная.

Я вскочил с дивана и рассмеялся.

— Вот-вот, он еще и хохочет!

— Почему же не посмеяться? Фантазер — я сам таким был! Когда-то в школе, что бы прослыть героем, затылком доски выбивал на крыльце!

— Так ты был уже учеником, а этот?

— Акселерация, дорогая...

Жена тяжело вздохнула. Затем без всякого перехода, подозрительно спокойно сказала:

— После войны, Янка, ты ни разу не был в Вильнюсе. Съездил бы...

— А чего я там не видел? — растерялся я.

— Поедешь.

— Чего-о?!

— Я сказала — поедешь! Должен! Нужно, Ваня, чтобы твоя совесть успокоилась. Ты обязан точно выяснить, что произошло с Янковской! Может быть, она жива...

— Вот тоже нашла важное дело!..

— Важное! Да и... хватит, наслушалась я твоих упражнении в немецком языке! — вдруг выпалила она.

Видя, что я словно воды в рот набрал, жена вспыхнула:

— Думаешь, глупая, глухая, ничего не слышу, не вижу? Иди и проси у завоблоно отпуск и поезжай в Вильнюс, выясни все!..

— Искать тени прошлого? Пустое говоришь...

— Я хорошо знаю, что ты хочешь этого, только прячешься. Но сам от себя никуда не денешься. Неужели, думаешь, я такая оголтелая стерва, что стану тебя за это корить?.. Возможно, Данута еще там, и вы увидите! Мало ли таких случаев было, когда человека похоронили, а он — жив оказался?!

— В таком случае, чего же ты меня пилила целый день?

— Ты мужчина, выдержишь! И перед кем еще могла я излить свое настроение, не перед учениками же! На то ты мне и муж!

Я захохотал.

— Не насилуй себя, Ваня. Не знаю, как это раньше не додумалась выгнать тебя в Вильнюс. Но ведь и сейчас не поздно. Между прочим, детям что-нибудь купишь. Старший ведь скоро в школу пойдет, и то ему надо, и это...

По глазам я понял, что жену мучили старые обиды. Но что это были за обиды, она и сама не сказала бы. Против того, что влекло меня в Вильнюс, мы оба были бессильны.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Было начало июня.

Поезд остановился, и я вышел на перрон.

— Поднести? — спросил меня пожилой человек в форменной фуражке с номером на груди, хватая за чемодан.

— Ты что — сам справлюсь!

Хо, теперь я тут — как пан! А не люблю, чтобы мне прислуживали...

Опускаясь в тоннель, я даже потрогал руками белые кафельные плитки стены — такими они показались мне знакомыми.

«Ишь ты! Уцелели в войну?!» — обрадовался я им, как родным.

Но, войдя в здание вокзала, опешил: вместо тесного и мрачного помещения — громадина! В большущем зале с монументальными колоннами я почувствовал себя маленьким, старомодным.

С привокзальной площади открылась мне незнакомая великолепная панорама улиц в приветливом блеске новеньких окон. Над зданиями где-то в районе Погулянки небо подпирали тонкие ажурные мачты, и уже они с церквами и костелами определяли силуэт города.

Я собрался было идти, но мне бросились в глаза густое переплетение проводов и необычные для Вильнюса троллейбусы. Хотелось пойти по городу пешком, я просто из любопытства спросил у какого-то мальчугана:

— Слышь, братец, на Антоколь они тоже ходят? — и указал рукой, что я имею в виду.

— Ходят! — Тот удивленно на меня посмотрел и пожал плечами, как сделал бы когда-то я, если бы спросил кто: течет ли каждый день Вилия.

Чудак, я никак не мог привыкнуть к новому Вильнюсу.

Прямо с вокзала направился на старую квартиру.

Во дворе, у забора, — тот же лопух. Тот же дом. Та же самая цвета бордо обшивка покрывала сгнившие стены. Но теперь жили здесь совершенно незнакомые люди. И я направился к генеральскому дому.

По развешенному во дворе белью понял — здесь обосновалось несколько семей, притом не очень богатых.

Калитка отсутствовала.

Я миновал перекошенные, изрисованные бортами грузовиков бетонные столбы и постучал в парадную дверь.

Вышла молодая женщина, на ходу запахиваясь в цветастый ситцевый халат — видимо, только что кормила ребенка грудью. Она дышала молодостью и здоровьем.

— Янковские? — удивилась. — Таких тут нет!

— Они тут жили.

— Не-е, никогда не жили!

Заметив мое разочарование, женщина попыталась помочь:

— Вы, видимо, ошиблись номером?

— Номер этот, девушка. И дом этот. Уж я знаю, не сомневайтесь!

— Гм, странно! Все тринадцать лет мы живем здесь, я тут и выросла, и замуж вышла, ребенка родила, а такой фамилии не слышала. Как вы сказали, Ян-ков-ски-е?.. Нет, даже и близко чего-то такого не слышала!

Я с минуту постоял.

Вот и все мои волнения.

Благожелательность в глазах женщины сменилась растерянностью. Видя, что я все еще нерешительно и слишком озабоченно топчусь, на ступеньках она предложила:

— А то, может, зайдете в дом?

Женщина, видимо, полагала, что я на вежливое приглашение отвечу вежливым отказом и пойду себе туда, откуда пришел. Но утопающий хватается за соломинку, а я — за лучик надежды.

— Ведите! — поймал ее на слове.

Растерянная вконец, молодница повела меня.

В коридоре, некогда сверкавшем лаком и плюшем,

теперь были обычные ящики, узлы, велосипеды, металлические корыта: то было жилье рабочего люда.

Чтобы успокоить женщину, я проговорил:

— Когда-то я тут...

— Ах, так вы здесь не иначе и сами когда-то жили?!

Так бы сразу и сказали! — подхватила она, вздыхая с облегчением. — А я то все гадаю, чего этот человек хочет, чего-то он так смотрит?!

— Слава богу, договорились!

— Пожалуйста, проходите сюда, прошу... Только у меня тут еще не убрано...

Я вошел в бывшую генеральскую гостиную, где когда-то стрелял в Станевского и Данусю. Грудной ребенок с соской во рту спал в колыбельке у открытого окна, как раз там, где у генеральши стоял большой фикус.

— Ого! Челове-ек, ничего не скажешь! — польстил я хозяйке.

— Три месяца уже! Смеется!

Молодая мать была счастлива и добра, как все молодые матери. Я почувствовал симпатию к ней, и мне сделалось по-свойски хорошо, словно я зашел в дом к близким, давно знакомым людям.

Однако я вел необязательный разговор, а глазами, всем своим нутром, жадно обследовал и обшаривал кутки помещения. На дубовом паркете в елочку еще виднелись черные ямки, выбитые пулями.

Заметив, что я нагнул и внимательно рассматриваю пол, хозяйка тоном осуждения сказала:

— Это не мы паркет испортили. До нас, еще, говорят, в войну. Здесь немецкие солдаты жили. Дрова в комнате кололи... Ленились вынести во двор... Знаете, как фашисты себя вели...

Я нагнул и потрогал дырочки пальцами:

— Вот бродяги...

Не хотелось омрачать ее светлую, как июньский солнечный день, душу тяжелыми воспоминаниями.

Вскоре я попрощался и вышел.

Идя по Вильнюсу от бывшего генеральского дома, я подумал: до чего же все на свете не вечно. Кажется, вчера только я тут жил, бродил, чего-то хотел, к чему-то стремился, а как это, оказывается, было давно, и тебя даже уже никто не помнит!

На башне Гедимины ветерок развеивал алое полотнище, оно будто плавало над городом...

На Заречной, у моста — памятник. Тот самый, польскому мальчику Мечиславу Додику, который утонул, спасая — еврейского — Хецкеля Хармеца. Зимой 1943 года проходил мимо него и не заметил. Возможно, меня отвлекали события, переживания, а памятник все время стоял, как символ человеческого постоянства и смело глядел на выходы гитлеровцев.

Как теперь все видится отчетливой.

Улицы полны молодежи — рослых парней и девушек, одетых элегантно и удобно. Что ж, родители отстояли независимость, создали условия... Раньше законные хозяева Вильно, литовцы, были тут еще в большем загоне, чем белорусы. Зато везде теперь слышна литовская речь и на этом языке все вывески.

И во всех этих переменах принимал участие и я.

Помню, когда-то завидовал болгарам, что у них есть Димитров, а датчанам, — что у них Андерсен и очень переживал, что белорусы так бедны. Сейчас и я могу гордиться. В войну гитлеровцы из белорусов не смогли сколотить ни одной воинской части, зато в наших лесах обитало четыреста тысяч партизан. Где их еще столько было? И в войне с немцами погиб каждый четвертый житель нашей республики. Конечно, погибшими не хвалятся, но о них и не забывают!

Что сделать, что бы то, что произошло, было не напрасным?

Вот приближается военный патруль. Военные — свои, близкие. Только у солдат необычные автоматы Калашникова — новенькие, отливающие синевой вороненой стали. У капитана на ремне пистолет незнакомой мне системы в деревянной кобуре, похожей на ту, в какой носили свои маузеры партизанские командиры. Патрульные ходят так, словно век ходили по этим улицам. На груди у них комсомольские и гвардейские значки, ими ребята щеголяют, как мы когда-то орденами и медалями...

Пройдут годы. Будут жить все люди зажиточно и мирно. Полетят на другие планеты, откроют новые миры... А наши ордена, автоматы и пистолеты найдут место в музеях, их будут разглядывать с любопытством и нам сочувствовать, как сочувствуем мы далеким предкам, разглядывая их луки и пращи.

Перед кинотеатром стояла беспокойная очередь школьников за билетами на какой-то партизанский фильм.

Эти мальчики и девочки будут через минуту тихонько сидеть в темном зале, лизать мороженое и с замирающим сердцем следить за кадрами. Они о войне знают столько же, сколько мои сыновья.

«Папа, а что это такое у него в руке, как эскимо на палочке?» — «Это немецкая граната, глупенький!» — «А-а!...».

И для этих происходящее на экране — давняя, полная романтики история. Скажи им, что вот идет по тротуару живой участник этой истории, они очень удивятся: такой обыкновенный? Вы, дядя, шутите!..

Многое изменилось. Неважно, что вон в скверике сидит старый интеллигент и читает газету так же, как это делали пожилые люди двадцать лет назад, сложив ее вдоль. С этого времени прошла целая эпоха. А я, чудак, приехал искать вчерашний день.

— Гражданин, простите... — прервала мои мысли продавщица напитков, выглядывая из-под брезентового тента. — Помогите, пожалуйста... Завинтите, если не трудно, помпу на бочке. Забыла, в какую сторону ее крутят, и не могу продавать пиво! И так и сям, — не получается!..

— Завинчивать всегда вправо, отвинчивать — влево, что тут сложного! Как можно забыть такие вещи? Не понимаю! — учил я, налаживая помпу.

— Ого! — наивно удивилась женщина той легкости, с которой я исполнил ее просьбу. — Спасибо!

Уходил с чувством, что, наконец, и я сделал в Вильнюсе что-то полезное.

Ну, а что делать дальше?

3

Не помню, как очутился над Вилией.

Где-то вот здесь должен лежать огромный валун. Ага, вот и он. Тот самый, точно. Могучие его бока вылизали волны, а пушок мха, как и прежде, придавал ему зеленоватый оттенок.

Однажды мы с Данусей поспорили: я хотел на этом камне посидеть, а она отказывалась. Теперь его облепили девчата, которые вели себя так, будто они открыли это место и вообще жизнь берет начало с них. Видно, они только что сдали экзамен, настроение у них было праздничное, а конспекты беспорядочно валялись на песке грудой ненужной бумаги.

— Ой, девчонки, карау-у-ул! — игриво и звонко воскликнула одна. — Ноги набрякли, не могу туфли обуть!

— Придется босиком щеголять по городу!

Подошел парень:

— Ага, то-то будешь иметь успех! Каждый мужик оглянется, гарантирую!

Посмеялись. Парень поинтересовался:

— Эй, курские соловьи, а почему больше не поете?

— Уже напелись...

— Давайте еще — я специально шел подпевать!

— Ничего не получится, семечек нагрызлись, — в горле першит!

— Беда-а! — посочувствовал шутник, подсаживаясь к крайней.

— Еще какая!.. Не лезь, не то — толкну в воду! — предупредила она. — О-ей, почему ты не побреешься?

— Денег нет. Вот, еще и брыкается, не притронься к ней!.. Эх, несознательный ты, Люська, элемент, хоть и получаешь повышенную стипендию, носишь очки и в президиум тебя приглашают!

— Потому как ученая!

— Что пользы? Вот была бы ты еще и добренькая!

— Что тогда?

— Дала бы мне тридцать копеек!

— Всего? И что дальше?

— Я пошел бы да побрился! Поцеловал бы тебя! Такой пахучий, гладкий, как колено!..

Поднялся смех, шум. Замелькали загорелые руки, взлетели фонтаны брызг. Большие капли серебром заблестели на солнце.

— Во-во, будь с вами искренен!..

— У меня есть пять копеек! — объявила девушка, когда шум улегся.

— На — три!

— Погнутые!..

— Возьми камень и выпрями!

Собрав необходимую сумму, отправили весельчака в парикмахерскую.

А оставшись одни, заскучали и притихли.

— Бр-р-р, мне холодно. Надо пройтись немного, — проговорила одна из девушек, вставая. — Майя, ты уже можешь обуться?

— Попробую...

— А куда теперь пойдешь, еще рано! — вздохнула другая.

— Вот идея, девочки! — вдруг воскликнула третья: — Давайте после обеда походим по кондитерским магазинам.

— Денег нету!

— А мы просто так, для интереса! Присмотримся, какие появились новые конфеты!

— Эврика!

— Я и старых не видела — год из общежития не вылезала!

— Пошли! Он вернется, а нас — и след простыл!

— Пусть побегает и поищет!

— Ну, запихивайте тетрадки мне в чемодан — и айда!

— Вот еще! Я своим сейчас...

Ви-илия, Ви-илия, мать род-на-а-я-а.

На пода-а-рочек, при-ми-и!..

бросила озорница конспекты в реку.

Как стая скворцов, девушки поднялись с камня и враз их не стало. В этой безумной бодрости, в светлом оптимизме было новое, рожденное временем. И в то же время в них было нечто, что роднило их со мной и Данусей.

Я вздохнул. Мне сделалось очень грустно. Может быть, потому, что ни одна из студенток на меня ни разу не взглянула хотя бы из любопытства, все они вели себя, будто вовсе меня тут не было.

Ничего не поделаешь, моя юность прошла.

А все-таки интересно устроена жизнь. Ее, словно непрерывную эстафету, передают от поколения к поколению. Что ж, мы свою эстафету не так уже и плохо несли...

Направился в город и я. Чувствовал себя не в своей тарелке — в будний день, взрослый человек, да еще отец двоих детей, таскаюсь по городу, как бродяга, подсматриваю за молодежью, словно и сам не был таким. Но поезд мой отходил только вечером, и мне совершенно нечего было делать.

Очень уж не люблю ходить по магазинам. Стася поручила кое-что купить. Заглянул в один магазин, в другой. Везде у прилавков толпился народ — возбужденный, живой. Не толкаться же нам здесь!.. Скажу жене, что магазины были закрыты на «санитарный день». Будто в Гродно у нас нельзя купить то же самое. И чего моим хлопцам не хватает? Только птичьего молока. Выдумают же эти женщины, слушай только!

Чтобы чем-то заняться, направился на окраину, где некогда жила тетка Антося.

На горе старушка пасла коз. Бабуля сидела на солнечной стороне и высохшими, как куриные лапки, руками перебирала коричневые бусинки четок, ее губы беззвучно шептали молитву. Старая коза с подвязанным выменем спокойно паслась у тротуара, а молодая, упершись передними ножками в дерево, с изящной ловкостью, как это могут только козы, объедала листочки.

— А ну, артистка, оставь дерево, ты его не сажала! — швырнул я в нее камешком.

Старушечка виновато подхватила с места и с чрезмерной суетливостью погналась за шкодницей.

Боже мой! Только теперь я узнал в этой состарившейся женщине тетку Антося! Это меня так потрясло, что я лишился дара речи.

— Идите к моему дому, я сейчас туда приду! — когда мы наконец поздоровались, сказала не меньше меня растерянная старуха.

Невозможно было поверить, что это высохшее существо женского пола в драном и каком-то ржавом, словно кольчуга из белорусского музея, свитере — рассудительная и некогда твердая характером тетка Антося. У меня сжалось сердце.

Я вернулся в магазин за подарками, а через час уже стоял во дворе тетки Антося. Крапива, гнилая солома, ржавое железо — ноги сломаешь. Я попытался, было навести порядок, да увидел, что работы тут не на один день, и махнул рукой.

Старуха уже суетилась в доме. Меня удивило, что комната полна котов. Черные и серые, малые и большие, чистые и грязные, гладкие и в лишаях — они везде лазали, высокомерно задрав хвосты, потягивались лениво, выпускали когти, позевывали розовенькими ротиками или в независимых позах африканских львов лежали на засаленных подушках, табуретах, на полу и даже — на столе.

Воздух в помещении был неимоверно спертым.

— Что это у вас за войско, тетка Антося?! — спросил я, осторожно, чтобы не наступить на какое-нибудь из этих созданий, пробираясь в комнату.

— Мои детки... — как-то стыдливо и виновато, не глядя мне в глаза, отвечала старуха.

— Зачем же они вам?

— Подобрала, бедненьких, на улице... Одной-то жить очень уж скучно, Яночка!

— Так лучше взяли бы себе ребенка из детдома, а не эту паршивую дрянь!

— А что с ребенком мне делать здесь? Человек, Яночка, и сам себе поможет. А бедному зверю даже пан Езус завещал помогать. Вот так, Яночка, и живу! — ответила женщина на той милой слуху мешанине польского и белорусского, на какой разговаривали еще до войны жители бедных виленских окраин: служанки, рыночные торговки, извозчики. — Никому, денькуе богу, не виновата, и сама себе господня!

Приняв от меня пакеты, тетка Антося вдруг уронила их на стол и всплеснула руками:

— Матка боска, Езус Христус! Я же вам главного — передачи от Дануси нашей — не даю! Чего же я, старая, молчу об этом! Она наказала передать вам шкатулку!.. Брысь, не лезьте под ноги!

Старуха бросилась открывать почерневший от старости и источенный шашелем шкаф.

Меня обожгло болезненное предчувствие.

— Езус Мария! Пан Ян аж пятнадцать лет не был у нас! Боже свенты!

Прижимая к груди хорошо памятную мне шкатулочку слоновой кости, в которой Дануся хранила свои ленты и шпильки, женщина стояла в растерянности. Она боялась: видимо, то, что собиралась мне сообщить, может меня убить наповал.

— Ну, ну, не тяните, тетка Антося! — взмолился я. И вот что рассказала мне старуха.

В годы немецкой оккупации в Вильно было сильно развитое польское подполье. Им руководила польская организация с центром в Лондоне — Армия Крайова. Дануся, работая в гестаповской комендатуре, была тесно связана с этим движением. Чтобы чувствовать себя уверенной, оформила фиктивный брак со Станевским.

Выходит, предчувствия меня не обманули.

После убийства «мужа» Данута еще полтора года служила в комендатуре. И все время спасала людей, попадавших в лапы к немцам. Через год наладила связь с советскими десантниками и даже побывала у них в лесу.

— Я ее собирала тогда в дорогу, — рассказывала тетка. — Уходя, она была уверена, что увидит вас. А верну-

лась — стала грустная — слова из нее нельзя было вытянуть, только все плакала...

Весной 1944 года гитлеровцы взяли Дануту под подозрение. Стали за ней следить, а потом арестовали. За одно посадили и мачеху.

По странному совпадению тюремной надзирательницей у генеральши была Прося — бывшая служанка, над которой Янковская когда-то так издевалась. С пани Вацлавой обращались не очень строго, и ей через служанку удалось пообещать немцам выкуп и выйти на волю. А Дануту продержали на Лукишках в одиночке три месяца, стараясь что-нибудь от нее добиться.

Тем временем вся польская администрация, состоящая на службе у немцев, начала хлопотать за дочку генерала, которого все знали и уважали, начала давать взятки. Немцы пошли только на уступки. Дануту судили по всем немецким законам, позволили нанять адвоката.

В выступлениях судьи и прокурора было сказано, что «Янковская Данута — истинная польская патриотка, опасная для третьего рейха, и ее перевоспитать, к сожалению, невозможно, посему — подлежит казни через гильотинирование с конфискацией имущества...»

Перед смертью ей удалось написать письмо, и один поляк — служитель тюрьмы — вынес его на волю.

Письмо было адресовано мне. Оно хранилось в шкатулке вместе с несколькими фотографиями.

Я вышел во двор, сел на какую-то бочку.

«Верю, что ты получишь мое послание, и очень хочу, чтобы ты его получил, — читал я на пожелтевшем от времени и сырости листке, исписанным простым карандашом. — Янечек, я не только не сержусь на тебя, я твоим поступком даже горжусь. Тысячу раз думала, что так и должно было случиться. За это тебя и люблю. Ты меня словно разбудил. После того ужасного вечера я начала действовать.

Я старалась уговорить наше панство считаться с вами, убедила искать связей с белорусскими партизанами. Даже сама вызвалась пойти на встречу, чтоб договориться о совместных действиях.

При моей должности и возможностях совсем не трудно было найти нити и наладить связь с вашими партизанами, узнать и о тебе. И вот я в лагере Соколова. О многом с ним договорилась, только в одном... опоздала. Капитан мне показал тебя с другой, и я поняла, что буду лишней. Но об этом, думаю, рассказал тебе он сам.

Какая потом была мука чувствовать твой локоть и одновременно понимать, что ты уже не мой! Видимо, и понятия не имеешь, что именно я тебе развела: под тюками сена немцы возили танки, в баллонах — не газы отравляющие, а — кислород для заправки самолетов...

Жить осталось считанные часы. Я слабая. Умирать страшно. Пан Адам, который вынесет письмо, сегодня шепнул: фронт у Минска! Я понимаю разумом, что живу в исторические дни, а история человечества пишет кровью и слезами, и я только одна из миллионов жертв. Но чувства встают: почему именно я должна быть роковой жертвой, почему именно на меня показал перст божий?!

Временами уговариваю себя, что не может быть, чтобы я совсем исчезла из этого мира, перестала видеть и слышать... Я не могу представить смерти, и мне легко уговорить себя, что ничего не изменится, хоть меня и убьют. Знаю, Янку, ты или отец встретили бы смерть гордо и спокойно, как настоящие мужчины. За эту силу я и любила тебя... Одно только знаю точно: если бы теперь вернули мне жизнь, я опять сделала бы то же самое и вела себя бы точно так же!

Какая была когда-то наивная! Ради своих родителей решила стать Марылей Верещак, и мне казалось: в этом высший подвиг. Мечтала, что о моем поступке узнает писатель, напишет роман, и я тогда стану бессмертной.

Могло стать, что окончив школу, вышла бы замуж за самовлюбленного маньяка и глупца Любецкого и существовала бы, как то деревце, без вершины. Самым большим событием для меня было бы то, что муж сломал ноготь, а уж и вовсе трагедией — если бы вовремя не получила модного платья из Парижа или в оперетку с Яниной Кульчицкой билеты были бы не в первый ряд, а в пятый.

Звенят ключи. О, это за мной!..

...Не знаю, долго ли была без сознания. Пришла в себя разбитая и мокрая на койке в своей камере. О, проклятые норманны! Вы только на первых порах могли иметь успехи, пока цивилизованный мир не опомнился! Вы не можете победить, ибо возвращаете историю к периоду гуннов! Если будет еще время, Янек, я опишу тебе все, что со мной случилось на допросе. А теперь продолжу письмо.

Тетка Антося даст тебе фотографии. Есть одна, где стою над Вилией. Когда-то мы с тобой там ходили, ты просил посидеть на камне, а я закапризничала. Перед арестом, словно все предчувствовала, сделала этот снимок. Узнаешь камень?

Сняла и другие места. И то место, где был наш колодец... Туда упала бомба, представляешь?

Я тебе, Янку, благодарна. Когда узнала тебя, мне стало душно от мещанских приличий и светских разговоров и пустого времяпрепровождения. Захотелось чего-то большого... Только начала познавать и...

У меня совесть чиста. От кровавой арийской банды спасла не один десяток героев. Бросалась спасать их не только потому, что в каждом из них видела тебя. Это потом стало моим долгом и моей совестью.

Прости, что пишу бессвязно. Нет времени переписывать. Мне хотя и страшно так, что не могу вздохнуть полной грудью, но мысли мои ясные и светлые, как никогда. Говорят, у приговоренных перед смертью всегда это бывает...

Объявили, что выполнят мои последние желания: могу заказать обед, написать и отправить письмо (о, тевтонская гуманность!..), и с кем-нибудь перед смертью познакомиться. Я выбрала твою знакомую студентку Ольгу...

Еще объявили, что сделают одолжение и не будут вешать, а гильотинируют, будто французскую королеву. Пришел тюремный парикмахер, обрезал волосы, чтоб не мешали. Утешил, что ЭТО продолжается всего пять-семь секунд и происходит на рассвете, но гильотина теперь перегружена, могут вызвать в любое время, что шее у меня тонкая, поэтому боли почти не почувствую...

Подумала: что бы тебе послать на память? Локон! Вспомнила — его посылали в подобных обстоятельствах своим возлюбленным героини романов из казематов. Подняла с пола прядь, но волосы попались совершенно седые, и я не отважилась посылать, — не хочу в твоей памяти оставаться старухой.

Обязательно поговори с капитаном Соколовым и с Ольгой. Присмотри за тетей Антосей...

Прощай. Целую. Твоя Дануся.

Последний раз — прощай!!!»

На этом письме кончилось.

«...Поговори с капитаном Соколовым и с Ольгой...» Разве они остались живы?!.

Кроме письма в шкатулке было сделанное рукой Дануси описание допроса и встреча в камере с бывшей служанкой Просей. На разных бумажках польские фразы шли

вперемешку с немецкими, а подробное описание всех деталей соседствовало порой с неясными обрывками мыслей...

Словом, все эти записи для человека, не знающего ни гитлеровцев, ни немецкого языка, были бы непонятными. Лучше мне пересказать их словами.

Едва успела она сунуть под матрац неоконченное письмо ко мне, как в камере появился эсэсовец и приказал собираться.

«Ну вот, и смерть моя пришла!» — подумала Дануся. Она вся обмерла, ноги стали словно чугунные. Последний раз окинула взглядом стены, окна, нары — странно, теперь ей стало даже жаль расставаться со всем этим.

Вышли они во двор. Увидев, что гитлеровец ведет ее не к машине, чтоб увезти, а в канцелярию, Дануся начала на что-то надеяться.

В коридоре, ведущем в канцелярию, слева и справа две шеренги арестованных с поднятыми над головой руками ожидали каждого вызова в одну из комнат. Как хорошо знакома ей эта поза людей! Вот они стоят сейчас лицом к стене, все здоровые, чистые и нормальные, а через некоторое время превратятся в окровавленные, с переломанными костями человеческие ошметья... И опять в ней все замерло: лучше бы кончали сразу.

Вошли в кабинет.

За столом — эсэсовец Меклембург, а напротив него — незнакомый штурмбанфюрер. У их ног — большая овчарка. На столе под белой простыней — контуры какой-то посуды.

Переводчик стоял в стороне и держал коричневую ремennую плетть. Окинув Данусю деловым взглядом, он стал пошлепывать себя плетью по ладони, словно набирая разгон.

Меклембург заметил, что Данусе страшно. Гитлеровец любил, чтобы при его появлении у людей от ужаса глаза лезли на лоб. В таких случаях он даже становился в позу милосердного. Он переводчику приказал:

— Weg!¹

Когда за переводчиком закрылась дверь, эсэсовец указал на свободный стул. Дануся села.

Эсэсовцы занялись разговором, будто в комнате никого больше и не было, и Дануся немного отдышалась. Украдкой подтянула чулки, попыталась расправить платье — напрасно. Три месяца не видело оно утюга.

¹ Прочь! (нем.)

Ах, не все ли равно?! Подумала: что им известно? Как отвечать на вопросы?

Вот они сидят перед ней — тщательно выбритые, надушенные, аккуратно подстриженные. Прилизанные волосы блестят от бриллиантина. Новенькие мундиры добротного сукна шикарно облегают фигуры. Картинные позы. Самоуверенные движения. Одним словом, уверенные, опьяневшие от успехов завоеватели.

Но все это неожиданно произвело на Данусю обратное действие. Ее задело за живое. В ней вдруг пробудилась гордость и желание схватиться с этими типами.

Не-ет! Ничего они не узнают от нее, пусть хоть режут на кусочки! Ей даже стало радостно и легко оттого, что они ничего не добьются, что будет так, как хочет она. Только бы казнили на людях, а не душили в камере... Неужели отважатся мучить? Еще совсем недавно Меклембург добивался ее расположения, рисовался перед ней, играл в благородство и щеголял эрудицией.

Дануся стала улавливать смысл разговора, который вел между собой гитлеровцы:

— ...Потопили русский пароход в Черном море. На нем везли медсестер в Севастополь. Над водой — разбитая корма. На корме — медсестры. Увидели нас, обнялись и — в воду! Так, обнявшись, и пошли на дно. Русские — не поляки, их так легко не победишь!

— О, да-а, с этими труднее-ее!..

Ого! Вы думаете, что поляков уже победили! А знаете вы, неучи, что нас вы только разбили? Разбить поляков можно, победить — никогда! Имеете ли вы понятие, как мы организованны? Знаете ли вы, что в подполье работает университет? Что существуют офицерские школы, что мы даже выплачиваем своим военным жалование?

Зазвонил телефон. Меклембург снял трубку. Слышно было, что на другом конце провода кто-то, прямо-таки захлебываясь, докладывает. Меклембург сморщил лоб, закричал в телефон:

— Вы представляете, дорогой ротенфюрер, как ослабла дисциплина среди населения? Люди не приветствуют порою вас и меня, разве такое допустимо? А сегодня шофер грузовика на Вильгельмштрассе зацепил бортом мой «оппель»!

Голос в трубке начал оправдываться. Но Меклембург оборвал:

— Организованность и порядок возможны только в том случае, если мы расстреляем каждого, кто даже ко-

со на нас посмотрит! Почему у нас так много врагов, вы не задумывались? Потому, что проявляем излишнюю мягкость! Надо вытравить из себя мещанскую жалость, взяться за них так, чтобы аж дым пошел из задниц!

Меклембург с силой швырнул трубку на аппарат. В его злости Дануся почувствовала рисовку: не будь здесь арестованной — вел бы себя иначе.

— Звонил Эрих Вульф! — объяснил он приятелю. — Ему было приказано сегодня до вечера вывезти на Порубанок сотню заложников. Бойтся. Говорит, чудак, в его взводе новенькие, не приученные к расстрелам солдаты. Просит отложить экзекуцию или хотя бы отделить от заложников женщин и детей!

— Я понимаю Эриха! — произнес штурмбанфюрер. — Легче вести роту в атаку, чем с ее помощью конвоировать на ликвидацию отвратительную толпу Untermenschen¹, слушать бабий вой и плач. Да еще приходится делать это в адскую жару или тридцатиградусный мороз...

Они минуту помолчали. Было слышно, как под столом зевает овчарка, а в коридоре солдат отрывисто покрикивает на арестованных: комнаты для допросов были отлично изолированные и стонов пытаемых стены не пропускали — хоть ты разорвись от крика.

— Служба войск СС нелегка и неблагодарна! — согласился Меклембург. — Но наши парни обязаны сжать зубы и делать свое дело. Зато когда преодолеем все трудности, нас никто не победит. Нордическая кровь — лучшая в мире, а Германия — превыше всего! Много трупов? Чингисхан осудил на смерть миллионы женщин и детей сознательно, с веселым сердцем, а история видит в нем только великого основателя огромной державы и выдающегося полководца. Кто сегодня вспомнит о миллионах его жертв?.. А кто вспомнит горы трупов, оставленные Наполеоном? Все знают гениального полководца и государственного деятеля, хоть он и проиграл последнюю битву. Сделали бы святым, если бы он ее выиграл! Святым — за новые горы трупов, ха-ха!

Фанатичный гитлеровец все больше распалялся:

— Поэтому вместе с трупами расстрелянных нужно закапывать для грядущих поколений немцев памятные золотые таблички с надписью: «Это сделали мы, нашедшие в себе мужество довести трудное историческое дело до конца!» Жалость к жертвам теперь — преступление!

Этими словами эсэсовец надеялся сломить арестован-

¹ Неполноценные люди (нем.).

ную. Он хотел внушить ей, что нет на свете силы, которая могла бы спасти ее, и ей остается только сдаться им на милость.

Наконец, Меклембург обратился к ней — приказал подвинуться ближе. Данусины коленки уперлись в стол. Между ней и эсэсовцем была только покрытая простыней посудина.

— Ну, панна Данута, как вы себя чувствуете? — спросил он с подчеркнутой вежливостью.

— Ничего, спасибо...

— А вы знаете, зачем мы вас сюда пригласили? — заговорил он уже холодно.

— Нет... — произнесла она, голос был хриплый, чужой.

Она кашлянула и поправилась:

— Понятия не имею, за что вы меня держите в этой гадкой тюрьме вот уже третий месяц.

Она хотя и знала гитлеровцев, но после вежливых слов Меклембурга у нее опять появилась надежда.

— И вам здесь, конечно, не нравится? — с издевательским сочувствием произнес эсэсовец, отчего надежда мгновенно погасла.

— Прошу надо мной не насмехаться! — возмутилась она, изображая невинность.

— Кто же над вами насмехается? Мы слишком занятые люди, чтоб тратить время на глупости! — рассердился эсэсовец.

Заговорил штурмбанфюрер:

— Давай договоримся сразу: будешь говорить по доброй воле или заставить? Сюда смотреть! Не отворачиваться!

Поддаваясь его властному голосу, Дануся сидела, как загипнотизированная. Меклембург резким движением сорвал ткань, и под ней оказался большой аквариум со спиртом. В жидкости плавала... голова Маруси, — той, что ходила в лес к партизанам и десантникам. Рот девушки залеплен гипсом. Синее лицо было страшным, все в подтеках, царапинах. Верхняя губа так распухла, что доходила до кончика носа, а вместо глаз — кончики ресниц на опухли.

— Что ты о ней можешь сказать? — не давал опомниться Меклембург, сверля арестованную взглядом. — Ты ее знаешь? Признавайся, знаешь?

Штурмбанфюрер подхватил:

— Будешь молчать, найдем банку и для твоей головы, не сомневайся!..

Дануся с трудом сдерживала приступ тошноты. Опытные палачи на сей раз не оценили эффекта на слабый организм. У бедной жертвы началась рвота, закружилась голова, Дануся стала терять сознание. Последнее, что она слышала, — стук собственного затылка об пол, а последнее, что видела, — злые глаза и зверский оскал овчарки. Потом наступил мрак и тишина.

Опомнилась она уже в своей камере. Вскоре ее увели на суд.

7

С грохотом открылись железные двери, и в камеру обер впахнул какую-то женщину. В униформе тюремной надзирательницы за обером Данута разглядела Просю.

Похлестывая себя плетью по голенищу, гитлеровец бросил:

— Besuch. Nur zwanzig Minuten¹.

— Вам понятно, что сказал обер? — отозвалась надзирательница. — На свидание вам — двадцать минут!

— Оля?! — слабо вскрикнула Данута.

Но обер говорить им не дал. Его вдруг заинтересовал рот арестантки.

— Öffnen!² — скомандовал немец, рукояткой плети расщепил бывшей студентке зубы и заглянул в рот. Не найдя ничего интересного, он хлестнул Ольгу плетью через плечо, гаркнул: — Lump, verfluchte!³

— Тоже мне — целый год при Советах была комиссаркой в Вильно, а не смогла себе вставить золотых! — накричала на нее и Прося.

Из карманчика у Ольги обер вынул маленькие часы и, радуясь, как ребенок, поднес к уху. Затем облапил надзирательницу, увел ее в коридор. С железным грохотом закрыл дверь на засов.

Данута бросилась в объятия к Оле:

— Я — после допросов, после суда, ты знаешь?

— Утром постучали друзья и передали морзянкой о твоих делах! — объясняла давняя знакомая. — Днем заходил в камеру офицер из СД и просил, чтобы тебя уговорила подписать воззвание к полякам. Я тогда и подумала, что, возможно, увидимся. Ну, а что ты расскажешь?

— Со мной, Олечка, нянчились, как никак — гене-

¹ Свидание. Только двадцать минут! (нем.)

² Открой! (нем.)

³ Дрянь! (нем.)

ральская дочь! Уже знаешь о приговоре! Объявили, что буду гильотинирована, и с того момента не могу вот отнять от шеи пальцев... О-ей, но я не о том хотела... Послушай, у Проси за браслет купила тебе свободу, чтобы осталась хоть ты!.. Конечно, если бы согласилась на их предложения, оставили бы меня, возможно, в живых... А тебя обязательно выпустят!

— И ты им веришь?

— Моя мамуся так вырвалась, Оля, это правда!

— Какая ты хорошая — даже в таком положении заботишься о других!.. Не знаю, сестричка, как тебя отблагодарить!.. Возможно, согласишься на их предложение? Для отвода глаз! Ты же столько киснешь в этой тюрьме — три месяца уже!..

Дануся очень обрадовалась:

— Я имею право на такое вознаграждение, правда, сестрица? — ее голос от жалости к себе вздрогнул. — Олечка, подтверди, я свое выстрадала, правда ведь?

— Конечно! Пусть уж мы, закаленные подпольщики, будем держаться до последнего!.. А ты и в наших глазах ничего не потеряешь!

— И чего стоит какая-то там подпись, правда? Зачем прикидываться святошей перед мерзавцами? Договор с дьяволом недействителен, а мне еще ведь жить!... Нет! Нет! Не-ет! — надрывно закричала вдруг Данута. — Они расклеят призывы с моим факсимиле на всех заборах и стенах, по радио передадут, напечатают в газетах!.. Даже Янек прочтет, ты понимаешь? Разве это не будет подлым предательством с моей стороны? — Дануся кинулась на подругу с кулаками. — Как ты такое могла подумывать? Не-ет, не перебивай меня! Почему право на элементарную порядочность оставляешь только для себя?!

— Будь же рассудительной! И без твоего согласия они могут все это сделать, фашисты сфабрикуют любую подпись!

— А всё ко мне пристают, выходит, не все равно?!

— Расстреляли моих родных, уничтожили друзей, разрушили мой город, как мне быть одной среди этой пустыни на свете? Я с удовольствием, Дана, поменялась бы с тобой!..

— Опять же — я столько сделала, имею право хотя бы на маленькую подлость? — не слушая, раздраемая сомнениями, говорила подруга. — Имею!

— Вполне, Дана...

— Не-е-ет! — закричала она опять. — Я знаю, что я — пылинка, ничто среди миллиардов человеческих существ, а мое имя — не зная, однако же оно и не такое, чтобы его кидать на глумление этим вандалам!

— Я уверена, какое бы решение ты не приняла, оно будет верным!.. А я в тебя когда-то не верила...

В этот момент в камеру ворвалась надзирательница.

— Паненки, салют! — беспечно кивнула она и начала хлестать себя по голенищу плеткой. — Ну, Янковская, ты ко мне когда-то была доброй, и я, как видишь, добрая — просьбу твою выполняю. Когда эту комиссарку поведут в город, дам ей возможность убежать, как тогда дала возможность драпануть твоему Любецкому, только прикажи ей, пусть не будет раззявой! Но про договор ты помнишь?

— Ольга сразу же пойдет к мачехе и принесет тебе браслет.

— Поклянись!

— Разве при выкупе Любецкого мы тебя обманули? Не обманем и теперь, свое получишь!

— Орднунг! — Прося повернулась к студентке. — Я знаю, это — ты большевистские листовки в белье корзинку насовала, и что? Немцы вас теперь проучат, они это умеют!

Пригладевшись к девушке, разозлилась:

— Постой, постой, как это ты, комиссарка, умудрилась его сохранить? — Прося сорвала с пальца арестантки колечко, попробовала на зуб, но с отвращением швырнула игрушку об стену и вытянула Ольгу плеткой. — Собираешь разную гадость, под спекулянтку маскируешься! — показала кольца на своих пальцах:

— Смотри, как надо, и учись!.. Но знай, — если не принесешь на квартиру ту вещь, найду под землей и сама расскажу немцам про листовки!.. А старой Янковской заодно передай: я не такая идиотка, какой она меня считала, и штрафы ее помню прекрасно! Пять лет службы у этой ведьмы меня тому-сему научили!.. С обером вскоре мы к ней наведаемся, так и скажи!.. Она нам за сахарин еще должна!..

— И Любецкий пусть что-нибудь добавит, если не хочет к нам попасть еще раз!.. Вильгельм — мой жених, скоро отсюда уезжаем!.. — Рукояткой плети подцепила Ольгу за подбородок. — Что, неудачница, завидуешь?

Прося перешла к Дануте:

— А тебя, паненка, мне жалко, что из-за глупой под-

писи на бумаге голову кладешь! Но сама виновата, баптистку из себя корчить нравится тебе!.. Эх, мне бы твою фактуру!.. Не отчаивайся — ЭТО происходит на рассвете, и наловчились они делать ЭТО мигом, я видела не раз, как на гильотине казнят! Когда палач голову за волосы поднимает вверх, чтобы посмотрел доктор, она еще жива — шевелится язык, а на полу дрыгают руки и ноги, то ты уже видеть этого не будешь!.. Честь!

Похлестывая себя все также плеткой по голенищу, Прося бодро пошла из камеры, затаив песню:

For der Kasernen, for allen grossen Tor!..

— Какое ничтожество! — ужаснулась Ольга, когда за надзирательницей закрылись двери. — И жили же среди нас такие?!

— Не в этом дело. У каждого народа, видимо, имеются дебилы и идиоты, но эти вандалы именно таким дали власть!.. Черт ее бери, исполни ее желание, чтобы не придирались к махехе, и не будем об этом больше. Знаешь, коридорный сегодня шепнул — фронт у Орши, освобожден Киев!.. Большевики ведут из-под Оки польскую армию, а в ней — тата!.. Говорят, выступал по радио из Москвы, поэтому гитлеровцам и понадобилась моя подпись под воззванием, чтобы в пику отцу выставить дочь. Трусиха, распустила юни, начала уже сомневаться!.. Я — песчинка из миллионов жертв!..

— Как вы любили друг друга!.. — перебила ее подруга. — Боже, я даже убить собиралась тебя из ревности!.. Уговорила сама себя, что ты доносица, раздобыла наган и стала подкарауливать. Не было удобного случая, вы всегда ходили с Янеком вдвоем!.. Как на исповеди прошу — прости!

— Какое теперь это имеет значение, Оля?! Сколько сцен ревности я из-за тебя устроила Янке?! О-ей, какими мы были наивными!.. Я счастлива, что судьба подарила мне дружбу с ним!.. До него я была взбалмошная паненка, и только...

— В то время никто ничего не знал! В самый ответственный момент Коминтерн распустил партию, хороших людей обвинил в предательстве. Польские заправилы думали, что уничтожение их стране несут большевики. Людям же казалось, если они выроют под своим окном ровик, купят мешок соли, то их не коснется военная беда!.. Все теперь поумнели!

— Что бы умереть? Парадокс!.. Одним словом, Оля,

меня, как видишь, ничего уже не спасет. Другое дело с тобой. Арестовали тебя как спекулянтку...

Ольга ее не слушала:

— Не знаю, не знаю, держалась бы я так, как держишься ты! Эх, я — сухарь, и в революцию пошла из какой-то женской неудовлетворенности, как иные идут в монастырь, что ли!.. Хлопцы терпеть не могли моего резонерства!.. Да и... революционеры революционерами, но баб и они любили красивых. Ты же стала борцом через любовь, ты — настоящая, завидую!..

Но тут с металлическим звоном разверзлись двери, и в камеру ворвался бешеный лай собак. Овер из коридора закричал:

— Na, Besuch ist zu!¹

8

Успокоившись немного, я направился в дом. Надо было как-то пристроить старуху. Я стал вспоминать своих знакомых, к кому можно было обратиться с просьбой помочь женщине. Бывший партизан Шимкус, некогда раздававший нам на аэродроме тюки, теперь работал в Совете Министров Литвы. Помнит ли он меня? Вспомнит, куда денется. Впрочем, литовцы — народ дружный и отзывчивый.

Я открыл дверь как раз в ту минуту, когда тетка Антося уже кончала раздавать котам мою колбасу. Старуха так увлеклась, что забыла обо всем на свете и, не замечая меня, приговаривала:

— Ешьте детки, пока он не пришел! Прендзей кушайте, милые!

Стало ясно, что ей уже ничем не поможешь.

— Скажите, пожалуйста, — обратился я к ней, — больше никто не читал этих писем?

Женщина даже содрогнулась вся.

— Ах, Езус Мария, да разве же я дам?

Были тут какие-то паны из Польши в шляпах... Очень хотели почитать! Из газеты их привели!.. Конфет мне нанесли, денег предлагали и все — покажите, пани, да покажите. Но разве ж я дам? Не маленькая, знаю: сказано только вам отдать.

¹ Свидание окончено! (нем.)

— А если б я умер до этого и к вам не явился, так бы и пропали все эти бумаги?

— Как это?!— старуха, должно быть, не допускала и мысли, что я мог почему-то не прийти.

И что мне с ней делать?!

— Тетка Антоси,— начал я как можно деликатнее,— едем ко мне в Гродно!

В глазах старухи отобразился испуг.

— И сегодня! Сейчас же!.. Будете жить с нами. Жена моя — учительница, все ее хвалят и уважают, с ней уживетесь — ручаюсь!

— Отсюда я уже никуда не поеду.

Уходил я от Антоси сам не свой. Что-то вдруг подступило к горлу, и только присутствие посторонних на улице сдерживало меня от того, чтобы не разрыдаться.

9

Через весь Вильнюс не спеша отправился я опять к генеральскому дому. Старался не думать о Дануте. Чтобы успокоить себя, стал размышлять о старом и о новом городе.

Что-то необычайно чарующее есть в старинной суровости и простоте этого города. Сколько через него перемывало народа. Стены домов, построенные с солидным запасом прочности, выглажены, кажется, не только дождями и бурями в течение столетий, а и миллионами глаз многих поколений. Как прожили те люди свою жизнь? Если судить по количеству церквей и костелов, то жители Вильнюса только и делали, что молились, а известно, что молятся не от хорошей жизни.

Или вот эти тротуары. Сколько тысяч ног должно было пройти по ним, чтобы протереть эти желобки в гранитных плитах?!

Я на минуту представил себе тех, кто ходил тут, представлял драматические события, памятные этим стенам.

Укутанные в шкуры зубров, брели воины буйного атamana Витовта. В шапках из медвежьего меха тащились из-под Москвы голодные и замерзшие гвардейцы Наполеона.

Может быть, вот здесь вели к виселице на Лукишской площади Кастуся Калиновского с десятком его братьев-поляков.

Этой дорогой, наверно, провели в газовую камеру не одну еврейскую красавицу после того, как целую ночь забавлялись ими гитлеровские выродки. Не здесь ли равнодушно

сопровождал Дануту в тюрьму тупой исполнитель людоедских идей фюрера?

Я вдруг снова ощутил ту любовь и привязанность к Вильнюсу, какую знает всякий, кто хоть недолго тут прожил; город мне показался знакомым до мелочей: недаром завидую каждый раз тем знакомым, кто отправляется сюда по делу, и мне тогда кажется, что только я мог бы быть здесь экскурсоводом.

Вот я осторожно поставил ногу, зная, что тут должна быть выбоина. Но, ощутив под ногой горбок, даже остановился от неожиданности. С удивлением глянул под ноги. Никакой это не горбок. Просто залили асфальтом все выбоины, заровняли...

Как ни старался не думать о Дануте, мысли все возвращались и возвращались к ней. Да и вся эта история: наша любовь, ссоры, обиды, события войны казались мне не лично пережитыми, а вычитанными в каком-то романе, увиденными во сне.

10

Я опять подался на свою старую квартиру, где когда-то жила прачка. Сюда я ведь уже заходил днем, и хозяйка меня знала.

— Очень спешу, извините!— сказала женщина.— Опаздываю на работу!

— Позвольте посидеть на крыльце, а то до вечера некуда деться...

— Пожалуйста, пожалуйста! Давайте сюда, в тени, под ясени! И дети при вас побудут во дворе!.. Миша!— крикнула она мальчику, сразу забыв обо мне.— Тебе, сынок, положу в карман ключ, а чтобы не утерять, заколю булавкой. Придет папа — отдашь! Захочешь есть — влезешь в окно, на крючок не закрыва...

— Ну, до свидания!— обратилась она ко мне.— Не увидимся, верно. Привет Гродно! Говорят, оно чем-то Вильнюс напоминает, это правда? Не бывала, к сожалению. Ждите в гости. Пока!

Я пристроился на крыльце. Глянул на Данусин двор. У меня, признаться, было хорошо на душе. Ведь я все время был верен Данусе, не выкинул ее из сердца и теперь с чистой совестью словно смотрел ей в глаза. Стал вспоминать все сначала.

Вспоминал до тех пор, пока душа моя стала, как тот лист бумаги, с которого резинкой стерли написанное, оста-

лись лишь неясные следы букв. Больше ничего не мог вспомнить и отвел глаза.

Еще до войны выяснил этимологию имени «Данута». Оно произошло от латинского слова «donata». В белорусском, к сожалению, эквивалентного слова нет. Из славянских языков ближе всего, видимо, подходит к нему по значению русское «одаренный» или польское «obdarzony».

«Ты соответствовала своему имени, — произнес я в душе, вздыхая. — Эх, Дануська, кем ты, одаренная, была бы теперь? Или высшая сила создает таких людей только для героической гибели, чтобы потрясти людские души? По крайней мере, я, вахлак, тебя был не достоин. «Памятник надо бы тебе поставить, или как? Но где твоя могила?.. Буду на Рижском взморье, разыщу какого-нибудь писателя, дам ему все твои бумажки, фотографии, попрошу, чтоб книжку о тебе написал, как ты когда-то хотела... Книжку о нас... Историю любви, борьбы и героизма... Неважно, что я в ней буду не самым привлекательным героем...»

11

Пока я сидел и думал, во дворе играли дети.

Когда-то, в юности, меня малыши раздражали. Казалось, что они слишком кричат, без причины дерутся и выясняют отношения, всюду лазают, и это от распушенности. Только теперь, когда сам стал отцом, понял, что это у них не от дурного воспитания, а — такая форма самовыражения. Они играют, и это для них так же важно, как для взрослых работа. Теперь мой отцовский слух и глаз приятно ласкало каждое детское слово, каждое движение.

Вон у того крыльца стоит Миша и, по обыкновению, как это делают и мои дети, трет ухо плечом да о чем-то сосредоточенно думает.

За забором на бревне сидит другой малыш, держит на коленях тарелку и измеряет концом ложки, сколько осталось супу.

Где-то за кустами сирени слышны взволнованные голоса:

— Юзас, а ты это кино видел?

— А про что там?

— Про войну! М-м-м, люксово ка-ак!.. Я четыре сеанса отсидел и еще пойду! Только не хватает трех копеек. У тебя нету?

— А что дашь?

318

— Каску поносить!

— Не обманешь?

— Честное пионерское!

— И под салютом? То на, бери!

— Ы-ы-ых, куда ты бросил?! Теперь сам ищи в траве!

По тротуару шла пара. Одно чувство сплело их руки, зажгло счастливые искорки в глазах. За ними шагала серьезная девушка. Она гулко стучала каблучками и щеки ее смешно вздрагивали в такт шагам.

Сквозь листву деревьев желтели стены какого-то большого здания без крыши. Лежали груды кирпича. Валялось свежеспиленное дерево. Молодой рабочий вез пустую тачку. Товарищ его ловко вскочил в тачку, крича:

— Но-о, кося-а, вези-и, прендзей!

— Очумел?!

Дама несла полную сетку покупок. Ища сочувствия, она мне усмехнулась, опустила сетку на тротуар, замахала руками и, точно так, как некогда Дануся на лестнице лица, пожаловалась:

— Уф-ф, тяжело-о!

Дальше шел симпатичный юноша, нес батон. Оглянувшись по сторонам, он — раз! — и вонзил зубы в горбушку. Я даже сам почувствовал во рту хруст корочки и вкус свежей душистой булки.

Какая-то девушка спряталась в ворота бывшего двора Залкиндов и протирала темные, солнечные очки. Сделать это просто на тротуаре не могла, видите ли: готовится к выходу на улицу, как артистка на сцену.

Усмехнувшись, я опять взглянул на Данусин дом.

На невысокой крыше парень и девушка устанавливали антенну. Сперва у них все шло как следует. Но вот они взялись за один конец антенны вдвоем, их руки спелелись и... Я отвернулся. Июльское солнце расплавленным золотом заливало улицу, дома, крыши. Летали скворцы, над ними черными молниями сновали стрижи. Кричали галки.

Мне было грустно и радостно. Грустно, что Дануся не может видеть этой красоты. А радостно потому, что я чувствовал ее здесь, рядом, в этой прекрасной и вечной жизни!

1957—1979

319

Карпюк А.

К26 Данута: Повесть: Для ст. шк. возраста /
Авториз. пер. с белорус. Н. Кислика; Худож.
Е. А. Игнатъев.— Мн.: Юнацтва, 1989.— 319 с.,
[9] л. цв. ил. портр.— (Б-ка юношества).

ISBN 5-7880-0192-7.

Повесть лауреата литературной премии им. И. Мележа белорусского писателя Алексея Карпюка рассказывает о любви сына белорусского крестьянина Янки Бартошевича и Дануты Янковской, дочери генерала, автор показывает всю сложность и противоречивость политической и социальной обстановки в буржуазной Польше конца 30-х годов, а затем в период фашистской оккупации Польши, Белоруссии и Литвы. Мятёжная юность героев, мужание их в борьбе, романтика первой любви — обо всем этом в повести рассказано ярко и психологически убедительно.

К 4803120201—108
М 307(03)—89 65—89

БКК 84 Бел 7

Издание для детей и юношества

КАРПЮК Алексей Никифорович

ДАНУТА

Повесть

Для старшего школьного возраста

Заведующий редакцией В. М. Новик

Редактор В. Б. Идельсон

Младший редактор Г. Д. Зинченко

Художественный редактор В. И. Клименко

Технический редактор Н. П. Досаева

Корректор А. К. Юшина.

ИБ № 1204

Сдано в набор 25.05.88. Подписано к печати 14.06.89. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 1. Гарнитура Литературная. Высокая печать с ФПФ. Усл. печ. л. 16,80 + 0,95 вкл. Усл. кр.-отт. 20,47. Уч.-изд. л. 18,15 + 0,50 вкл. Тираж 90 000 экз. Зак. 1456.

Цена 1 р.

Издательство «Юнацтва» Государственного комитета БССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 220600, Минск, проспект Машерова, 11.

Минский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат МППО им. Я. Коласа. 220005, Минск, Красная, 23.

